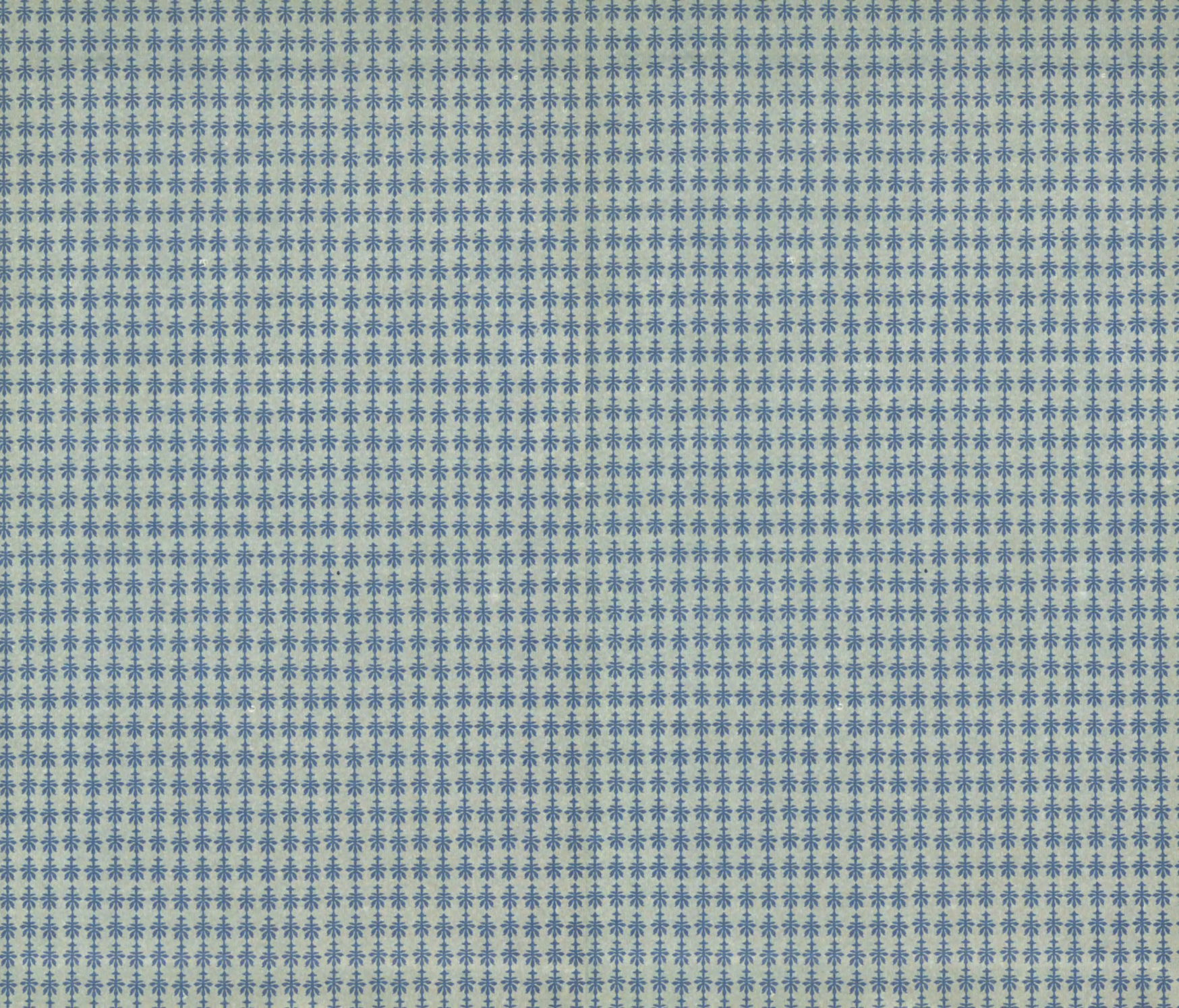


НОВИНКИ-СОВРЕМЕННОСТИ

Юрий
Старостин

ЗАПОВЕДЬ
РЕЧКИ
ДЫВЫ



Сканирование: nau

Обработка: krestik

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

Юрий
Старостин

**ЗАПОВЕДЬ
РЕЧКИ
ДЫБЫ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОСТЬ»
1987

Рецензент
А. ТКАЧЕНКО

Старостин Ю. А.

- С77 Заповедь речки Дыбы: Повести и рассказы/Предисл. Г. Бакланова.—М.: Современник, 1987.—223 с.— (Новинки «Современника»).

Человек на пределе его возможностей. в экстремальной ситуации, человек решающий — именно таков герой молодого московского прозаика Юрия Старостина.

Повести сборника остросюжетны, и это не случайно, ведь в них рассказывается о суровой жизни полевых экспедиций о сложных взаимоотношениях людей, надолго оторванных от родных мест от дома — геодезистов, топографов, альпинистов, работающих в напряженных условиях Якутии и Камчатки.

Юрий Старостин — участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей.

С $\frac{4702010200-256}{M106(03)-87}$ 83—87

84Р7
Р

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Цель этого вступления — познакомить вас с автором, прежде чем вы познакомитесь с его сборником.

Две вещи необходимы каждому писателю: знание жизни и способность рассказать о том, что знаешь ты, рассказать так, как только тебе дано. Умение можно совершенствовать. Но жизнь свою каждый должен прожить за себя сам, никто за нас этого не сделает. И обязанность свою — быть и оставаться человеком — тоже ни на чьи плечи не переложить. Эта обязанность — из самых главных для писателя.

Юрий Старостин успел в своей жизни и поучиться, и поработать немало. Два года был слесарем на машиностроительном заводе, потом, закончив Московский топографический политехникум, восемь лет работал геодезистом на Крайнем Севере — в Якутии, на Камчатке, а после Севера поработал еще и на строительстве, и в жилищных организациях, и литературным редактором.

За эти годы и повидал он и испытал многое, а в экспедициях, в местах малообжитых и не обжитых вовсе, не раз бывал в тех крайних ситуациях, когда от человека требуется и сила характера и подлинное, непоказное мужество. Все это в большой степени сделало его писателем. Разумеется, чтобы стать писателем, мало одного желания и добрых намерений.

Зрелым человеком заканчивает Юрий Старостин Литературный институт имени А. М. Горького. Наивно думать, что институт может сделать писателем того, кому это не дано от природы, но как справедливо сказал в свое время академик Обручев, способности, как мускулы, растут при тренировке. У одних они проявляются рано, у других в зрелом возрасте. Одни люди вспыхивают ярко и быстро гаснут, способности других выявляются не сразу. Я бы отнес Старостина ко вторым. В том, что он делает, есть основательность.

Уже в первых его рассказах «Балласт», «Рабочий цикл» и повести «Заповедь речки Дыбы» ощущалась способность по-своему видеть мир, тонко понимать психологию людей, рассказывать интересно, зримо и просто. Ему есть что рассказать, и он постоянно ищет форму, свою точную фразу. Те пять лет, которые он был в моем семинаре, я мог наблюдать, как серьезно, упорно работает он. Увидел я такую работу и в повестях «Самый первый снег», «Предел», написанных позже.

Одна главная мысль проходит через произведения этого сборника. Вернее, это даже не мысль, это мироощущение, в основе которого — опыт собственной жизни автора. Он пишет о том, что в самых трудных испытаниях человек должен быть и оставаться человеком, что зло всегда порождает новое зло, а спланирует людей, делает их лучше только добро, что именно добру открыта и созвучна душа человека.

Не сомневаюсь, что Юрию Старостину суждено сказать в литературе свое слово.

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ЗАПОВЕДЬ РЕЧКИ ДЫБЫ

Повесть

1

Свежие снега уже придавили северные гольцы Верхоянского хребта, а в южных предгорьях озноб холода только еще начал отряхивать лист в тайге. В редкие солнечные дни стояла она по распадкам, молчаливая и золотая.

Устойчивые заморозки и молодой снег в горах подобрали воды на склонах, инеем и ледком подсушили вершины ключей и ручьев — в низинах реки помелели, успокоились.

Давно осеклись крылья у паутов и слепней, отжил, наконец, самый живучий кровосос — комар, отзудел едучий мокрец и почти пропала поедом съедавшая все живое мошка-чесотка: зверь и птица без помехи насыщались урожаем осени, входили в тело, жирели, делались осторожными, невидимыми.

Угрюмый покой и предморозная благодать разлились по якутской земле.

Но обманчивы мягкие дни глубокой якутской осени. Хорошо, когда возьмется сразу легкий и бодрый, десяти—двадцати градусов, морозец — здоровому зверю, крепкому, добротному одетому человеку сухой холод не страшен. Другое же — худо. В любой час южные тучи с Охотского моря могут отдать земле обильный сыроватый снег, и тогда только в одном спасенье: или отыскать или сотворить закрытое сухое место, куда не достанет быстро тающий на теле снег и где возможно отсидеться. А не то как повернет ветер на северный, да ударит влажный, в пять—десять градусов холодок, не согреться тогда намокшему до самого смертного сна.

Потому рядом с убежищем работает промысловый охотник — запасает мясную и рыбную приваду, корм для собак, прочищает заросшие кустарником тропы-пути, готовит ловушки, капканы хвойным настоем обтирает, ремонтирует зимнюю экипировку.

И чувствуют шаткость погоды и звери и птицы от самого мала до самого велика: недалеко и осторожно отходят от теплого гнезда и ореховых запасов веселые бурундуки и белки; ночами сторожат чужие следы неширокими кругами вокруг первой берлоги медведи — а уследят если

что, усомнятся в своем зимнем покое — караулят время уйти на запасную схоронку, чтобы не оставить броского следа.

А больше всех угадать надо птице: рано поднимется на крыло — молодняк сил не успеет набраться на щедрых осенних харчах, поздно полетят — непогода прихлопнет и поморит в первые наитяжелейшие с непривычки дни.

Экспедиционный таежный люд на птичьих правах к осени прилаживается: старается до худой погоды убрать-ся. Закончила свою работу бригада топографов — норовит пешком ли, сплавом выбраться в жилуху; один ли, двое, больше человек освободится в партии у геологов — залетит вертолет с продуктами, разгрузится, захватит лишних людей; выполняется задание в геодезической экспедиции — по бригаде, по несколько вылетают с оказией из тайги, как птицы в теплые страны — в долгожданные поселки и города.

Неисповедимы пути, по которым люди приходят в тайгу и уходят из нее.

Игорь Злобин выходил из тайги уже много раз и поразному, и оставался в ней на зимовку однажды, и поработал в геодезической экспедиции не только руководителем бригады — прорабом, но и за начальника партии оставался, и на инспекторской скользкой должности побывал; да и, спасая план, рядовым в сборной бригаде инженеров и техников — в «офицерской», как ее называли, — дважды делал невозможное: работал так, как, казалось, нельзя было ни по каким человеческим силам. Теперь получил радиogramмой предписание выйти в точку, откуда будут вывозить всех сразу, но в дороге настиг порожним рейсом вертолет и забрал двоих рабочих, кое-что из снаряжения, и поплыл Злобин по реке с половиной груза и с одним своим кадровым рабочим, Михаилом Антипиным, до самого предписанного места.

До точки-зимовья доплыли они живые и здоровые и стали ожидать вывоза среди таких же куцых бригад обща, каждый по-своему.

В зимовье, где собрались остатки частично уже вывезенной экспедиции, бывало душно от жары и табака. Даже утрами, когда выставляла печка-каменка, не опадал в жилье усталый запах пота. Лесного покоя здесь нет. По

ночам рассудок людей кипит в нервном котле снов, и будят они друг друга мучительными стонами. А то еще прорвется в темноте дикий вскрик, как будто увидел человек во сне лицо неотвратимой и страшной смерти.

Днями дел почти нет, но, сохраняя инерцию экспедиционного летнего напряжения, люди сами ищут себе работу и делают ее с рывка, привычно быстро — безжалостно к себе. Готовят баню, суетятся возле обеденного варева, латают крышу корьем, расчищают вертолетную площадку. Самые мудрые, повинаясь инстинкту усталости, толкут голубицу и морошку для бражки-кваса. И все делается крепко, надолго, как будто и знать никто не желает, что, может, завтра застрекочет вертолет и придется улетать, ничем не попользовавшись.

Но нет-нет да бросит кто-нибудь дело и задумается. Сидит человек, курит, а в глазах его, в тумане усталости, загорается тихая и понятная всем тоска по дому. И его не тревожат. Просто, кто случится поближе, ухмыльнется, поскребет бороду и забирает себе дело, теперь уже хозяину не нужное.

Игорь Злобин вышел за дровами. Колот размеренно, сильно, с одного удара, и перед каждым набирал полные легкие плотного прохладного воздуха. Надышался его, напился, а когда собрал охапку поленьев, распрямился и глубоко вдохнул напоследок.

Он сбросил дрова перед печкой, ноздрями осторожно вобрал запах душного общежития, попробовал прислушаться к разговору, но не вник. Потянуло его в тайгу: непривычен был телу избыточный отдых. Напряженностью охоты, криком раненого зверя захотелось вытеснить тоску по настоящему жилью, по своей чистой якутской квартире. Прогнать из памяти запах морозных простыней и мягкость ситцевого халатика жены. Прогнать или сейчас же прижаться к нему лицом на ее груди.

Он снял с гвоздя свой карабин. Руки с холода ощутили металл мягким и легким. Безвредным показалось ему оружие. Злобин повернул винтовку магазином вниз и на месте затвора увидел пустоту.

«Вот почему ты легкий. И пятнышки ржавые... Позабыл я про тебя, друг мой, товарищ. Пойдем-ка, погуляем

в последний раз. Вот прилетим в Якутск, и придется тебя сдать на хранение до следующего сезона. А потом, как оно еще сложится?»

Злобин достал из-под изголовья своей постели полевую сумку. Там, завернутые в провощенную бумагу и серый замызганный носовой платок, лежали затвор и обоймы с патронами.

Далеко от жилухи зимовье. Тайга кругом не на одну сотню верст. И вроде бы глушь, да все не то, что при вольной экспедиционной жизни, когда не было твердых стен и крыши на прошлых стоянках, не будет их и впереди, когда предельно собран днем, не расслабляешься — начеку — и в темени.

А теперь надоест ходить, промокнут ноги или есть захочется — повернул обратно в тепло. Поэтому, что ли, без вражды смотрят на него густые распадки и даже Дыбаречка ворчит ласково?

Какое уж жилье-то они заняли — зимовьишко. Люди по-настоящему в нем лет пять огня не разводили, а все жилое место. Много отметин вокруг человек оставил. До сей поры пугается зверь и близко не ходит.

Часа два Злобин продвигался напрямик, помнил по карте — скоро снова выйдет к берегу.

Дыба крутым коленом преградила ему путь, и он пошел тихонько вдоль берега, то пересекая песчаные и галечные косы, то по-над обрывами, то поднимался на заросшие кедровым стлаником террасы — искал звериный след.

Что-то ударило Злобина в бок. Ему еще некогда было обдумать, что его ударило, но в те спрессованные таежным опытом и быстротой реакции секунды, когда он выбирал укрытие, когда помимо его мыслей и движений рука сама передергивала и запирала затвор — уже тогда мелькнуло в нем, как ужас, это слово — пуля. И это было непонятно, неожиданно, как выстрел, которого он не слышал, как тошная боль, которую он ощутил.

Машинально сдергивая с плеча ремень карабина, Злобин метнулся с косы к запутавшейся в кустах коряжине. Затаился. Не дышал даже, чтобы не слышать. Сердце билось испуганными частыми толчками, гулко отдавалось в висках.

Он долго не шевелился в укрытии: приоткрывши рот,

чтобы и дыхание не мешало, напряженно слушал тайгу. Но ниоткуда не пришло к нему чужого шороха. Слышал он только бормотание реки, вздохи полуголых лиственниц под невидимым ветром и временами стук собственной крови в голове.

Сердце успокоилось, и чувство опасности, мгновенно напрягшее тело, стало слабеть.

Игорь зашевелился, и от этого резко зажглась боль в боку, ближе к спине, там, где у него обычно висел нож.

Он оставил пуговицу затвора на взводе и осторожно пристроил карабин перед собой, чтобы можно было сразу поднять его и сделать прицельный выстрел.

Минут, наверное, прошло немало, но все звуки вокруг возникали пока привычные, понятные. Было, правда, в самом начале подозрительно, когда река на перекате вдруг зашумела со всплесками, ритмично, будто ногами ее буровили, но теперь Злобин думал, что скорее всего показалось. Такое и могло почудиться — если слишком напряженно вслушиваться в разговор горной воды — обязательно услышишь то, чего ждешь. И нигде за это время не шевельнулась неестественно ветка, не переместилась живая тень.

Он еще раз внимательно огляделся вокруг. «Нет, сюда не подкрадешься». Коса, где он укрылся в кустах тальника, далеко вдавалась в реку. Тальники не соединялись с заросшим лиственницей берегом, чтобы подойти, надо пересечь открытое место, хрусткий галечник — станет слышно.

Противоположный берег был далеко и хорошо просматривался: большие лиственницы с наполовину осыпавшейся желтой хвоей росли редко, кустов под ними не было — светлый мох.

Сейчас Злобин ясно чувствовал, что в том месте, куда его ударило, жжет и как-то там знобко-влажно.

Исподлобья неотрывно глядя на противоположный берег, он, кривясь от боли, отпустил поясной ремень и растегнул куртку. Задрал рубашку и ощупал бок. Саму ранку обнаружил с трудом, но крови таки высочилось много.

Злобин снял с шеи сетку накомарника, вытянул в длину. Прикинул: вместе со шнуром обвязаться хватит дважды. Кривясь от боли, стараясь не напрягаться и тянуть ровно, от подола рубахи углом оторвал верхнее полотно, но ткань была грязной, пропиталась потом, и он не решился приложить лоскут к ране.

Когда не шевелился, не болело, и он чувствовал в шее редкие зудящие укусы мошки. Здесь слегка продувало, но между порывами слабого ветра мошка набрасывалась на него жадно.

«На тебе! — думал Злобин. — Прогулялся... Отдохнул в одиночестве. Как же так? Кто пальнул? Зачем, за что? Вокруг никого. Кроме своих в зимовье — никого. Что же это за гадство за такое? Ну, погоди... Что ж делать-то? Так, стоп, давай спокойно. Спокойно надо разбираться. Сейчас разберемся», — уговаривал он себя.

Игорь забылся и резко повернулся в сторону зимовья: в боку взорвалась боль. Он застыл и обмяк. От беспомощности, от жалости к себе защемило в горле, защипало глаза, как бывает, когда человек ищет облегчения в пролитой слезе.

Игорь мучительно хотел курить, но боялся выдать себя. Теперь решил — с большого расстояния ни шороха, ни сигаретного дыма не угадать; и потом, если он и обнаружит себя, то тот, кто следит за ним, тоже зашевелится: а так и концу ближе. Не до ночи же здесь сидеть.

Злобин затягивался дымом жадно, глубоко. Он еще прислушивался, хотя уже почти уверился, чувствовал, что нет никого близко; и не думал теперь ни о чем, лишь иногда мелькало: «Кто, ну кто? Зачем?»

Не полегчало от табака, загорчило только в пересохшей гортани. То ли от слабости, то ли от того, что сегодня почти не курил, закружилась голова и противно затошнило. Стиснув зубы от боли и злости, он, забыв осторожность, пошел к воде. Затвор на предохранитель не ставил, а приклад зажал под мышкой и поддерживал ложе левой рукой.

У воды присел на корточки, положил винтовку на колени и еще раз внимательно оглядел все вокруг. Сигарета дымилась в уголке губ. Дым мешал, и Злобин, не отрывая взгляда от кромки тайги за рекой, наслюнил прилипшую бумагу языком и, помогая губами, вытолкнул окурок в воду.

Тут он подумал, что перевязываться в этом месте нельзя: «В кусты надо. Потом на базу...» Мысли неясно возвращались к зимовью, потому что никаких врагов там не было. Их и вообще-то всерьез у Злобина не было. Ни за какое имя не цеплялось его подозрение.

Он как следует прополоскал лоскут и, не отжимая, приложил к ране. Но боль не отошла. Даже на ощупь он

понял, что стреляли из малокалиберной винтовки — «тозовки» — и пуля, видимо, была на излете, а это с километр надо пролететь. Ему даже показалось, что ощутил ее твердость под кожей. Значит, не глубоко вошла, и ничего страшного нет.

«Везет мне,— подумал Злобин.— Всегда мне везет. Чуть бы левей, чуть глубже — и в печень. И все...»

Он подтянул брюки и осторожно стал затягивать поясной ремень. Ремень не мешал — не давил на рану. Нож решил он передвинуть вперед, чтобы не задеть рукоятью больное место ненароком. Взялся было за ножны, но что-то острое царапнуло палец.

Игорь напрягся. Снова только что пережитое холодной дрожью тронуло спину. Не совсем на излете шла к нему смерть. Верхний металлический ободок ножен был смят, остро загнулся — пуля скользнула по металлу. Рядом, в нескольких сотнях метров был тот, другой человек. Не пуста тайга вокруг — враждебна, скрытна.

Но настоящий страх пришел к нему, когда он вышел из укрытия и галечник на каждый полушаг закрипел пронзительно: «Мишень, мишень». Что-то упругое, физически ошутимое толкало его в спину, поворачивало голову назад. И он оглядывался.

Злобин решил: «В зимовье идти успеется. Надо здесь пошарить. Пойду тихо,— соображал он,— тот, видимо, после выстрела сразу убежал. Иначе добил бы. Пойду тихо. И если услышу... У него малопулька, а у меня карабин. Ему и сто метров до меня не близко, а я и за триста, как нечего делать, сниму. Посмотрим...»

С косы он прямо в лоб поднялся на коренной берег — благо кусты здесь не сплошь росли: и укрывали, и не мешали подниматься — круто взял в тайгу. Отойдя с километр, нашел удобное место: повыше, в развале крупных камней, где легко спрятаться и ходить возможно совсем бесшумно. Ему надо было заварить чай — устал, сил идти больше не оставалось.

В тайге было сыро, но место он выбрал сухое и костерок мог бы запалить бездымный, однако нарочно только сухие ветки не выбирал. Запалил костеришко на плоском камне — дым ровным столбиком ушел вверх, как сигнал, — а сам, по дуге к своему только что проложенному следу, осторожно вернулся с пустой консервной банкой к дожде-

вой прозрачной луже метров за двести и опять затаился на десяток минут. И опять в тишине привычных шорохов ничего тревожного для себя не услышал — никто не пошел на его дымок.

Мелкими глотками Злобин жадно выпил четверть литра крепкого горячего сладкого чая, и силы понемногу вернулись к нему. Он задумал сделать широкий круг, чтобы наверняка подрезать чужой след.

Со следом ему не повезло. На соседней косе, к террасе ближе — чистый песок: он прочел сразу — ничего. У воды, на сухом галечнике, увидел несколько свежесдвинутых камней, поначалу понять не мог, пока не вспомнил, что сам же здесь и шел.

Нигде больше: ни на обрыве террасы, ни выше на ягеле — Злобин ничего не разглядел. Перейти реку и поискать еще как следует на другой стороне не рискнул. Подходящий перекат найти было можно, но Игорь уже чувствовал в себе большую вялость и сомневался: сумеет ли вернуться — перебрести широкую и быструю воду обратно.

Некоторое время петлял он еще по дороге к зимовью, но кроме ночного оленьего следа ничего не обнаружил и на террасе. И бросил искать. Обходя открытые места, где его издали могло быть видно, чутко покрался к жилью.

Мысли беспорядочно, мстительно суетились в его голове, но чего-либо конкретного, ясного из них не складывалось.

Сейчас, по следам, Злобин знал — на этой стороне реки близко никого нет, и обдумывал, что если стрелял свой, то прямо против зимовья он бы через Дыбу не переправился — глубоко. По этой стороне за ним бы шел. Где-то позади, чтобы не нагнать ненароком. Но если так, то этот след Злобин бы сейчас нашел. И тут до него дошло, что все просто. Он придет и сразу узнает — уходил кто из зимовья или нет. «С чего это своим-то за мной красться? — думал он. — Все там миром. А может, у них что случилось или узнали что-нибудь подозрительное?»

Но окончательно решил: «Чужая душа — потемки».

Двигался Игорь все медленнее: уставал и успокаивался, а когда часа через четыре сел покурить, и вовсе ослабился.

Он сидел спиной к плоскому вывернутому корневищу, и хотя теперь знал, что сзади, откуда он пришел, быть никого не может — ловил звуки только оттуда. А впереди, сквозь редкие деревья, просматривалось далеко и надежно.

Очень хотелось спать, даже глаза резало, как от мелкой песчаной пыли, и он с усилием сощуривал и размыкал отяжелевшие веки.

Сейчас, на этом месте, надо было решать: что делать дальше?

«Так. Кто там в зимовье? Давай спокойно. Чудес не бывает. Пуля-то, вот она. Надо разбираться,— думал он.— Так. Михаил. Это уже хорошо, уже не один. Здесь без вариантов: как я, так и он. Эх, незаметно бы его отозвать... Рассказать.

Так. Никита... Чепуха. Какие у меня с ним дела? Ни хорошего, ни плохого. Здесь только и познакомились. Да, Никита, он и... Нет. Это ерунда.

Кешка-радист? Старый наш кадр экспедиционный. Его вроде знаю как облупленного. Вот то-то и оно, что знаю: ему и заикаться об этом не стоит, раззвонит раньше времени, а толку ни на грош — заполошный. Нет, не то.

Так. Дальше. Зыбков Валерка? А-а, пацан... А Николай? А Николай — дело темное. Всегда и во всем сам по себе. Хотя... С ним не один котелок когда-то каши съели...

Стоп. Как же я сразу-то? Сушкин! — И ожгло Злобина. И стал он прежним, собранным, напряженным.— Сушкин! Ах ты, бог ты мой. Как я забыл-то? Ну же, гнида. Ну, погоди. Хотя нет — что это я? Не может быть, чтобы из-за такого разлада... Это уж всему конец. Не может? — Игорь усмехнулся.— А выходит — может. Так. Спокойно. Тут надо без осечки».

Игорь старался вспомнить сейчас, как было с самого начала, как он увидел Сушкина в первый раз. С первого раза почти всегда главное видится: привычка не мешает. Но вот интересно, тогда, в первую встречу, он его просто не заметил. А потом?

Потом узнал, что прилетел Сушкин с запада и привез с собой двух знакомых ребят. Рабочих. Тоже с запада. Через кого он получил вызов, кто его порекомендовал — этим Злобин не интересовался. Ни к чему было.

Вспомнил Игорь, как в городе собрались на базе экспедиции. По случаю, кажется, новогодние праздники по традиции вместе отмечали. И Сушкин был. Доказывал,

что неразбавленный спирт для здоровья полезней — язву, мол, залечивает. Целую кружку выпил тогда для показухи и два дня потом отплевывался — гортань и пищевод сжег. Но и здесь оказался хитрым: пьяненьким на глаза никому не попался, спать ушел.

А может быть, тогда уже, по скользким взглядам, по оброненному в сторону слову, стало доходить до него, что не по этой лихости принимали здесь людей. Наоборот, такое пижонство, баловство со спиртным крепко не одобряли. Осенью, после сезона полевого, прикидывали: кто есть кто. Мера одна была — высшая — работа.

У них, геодезистов, совесть на работе — дело не последнее. Первое, пожалуй, дело. Некому присматривать в тайге. И все же не только потому, что проверить трудно. В конце концов, любой брак рано или поздно всплывал. Но вот расплачиваться за него опять приходилось всем. Своим. Опять кто-то мыкался в тайге и переделывал работу, за которую было уже заплачено и часто ценой дорогою. Поэтому кто со своим делом управлялся раньше, попадал в неприятное положение инспектора.

И Злобину приходилось проверять работу других, и знал, что его проверяли. А как же: польза от этого была: соблазна схалтурить меньше, слабым подстежка. И акты писались, подписывались и с материалами потом в отчеты шли.

Но разве не сами они писали эти бумаги. Не один ли и тот же гнус кормили своей кровью. Не с одних ли и тех же лабазов брали проплесневевшую муку для лепешек и на ней одной, да еще на надежде добыть зверя, худые от недоедания и черные от секущих ветров, заканчивали работу. Поэтому не торопились с актами — семь раз примерь, один раз отрежь. Мало ли что бывает? Случай — не зло.

Игорь под осень радиограмму получил: «Вам надлежит принять в натуре выборочно десять процентов работы техника Сушкина». Это значит, прийти надо на пункт, осмотреть, решить: можно ли производить с него высокоточные измерения, — и составить подробный акт. Если же, не дай бог, что-то не так — любой ценой исправить. Любой, потому как нужен он в этом году, в работе он у геодезистов-наблюдателей, этот самый пункт триангуляции¹.

¹ Геодезическая пирамида, служит для наблюдений; подземный центр закрепляет геодезические координаты на местности. Качество работы должно обеспечивать сохранность центра на сто лет.

А уж Злобин домой собирался. Хотел каюра с оленями отпускать. Да и надо было. Не то что из оленей, из людей за лето все силы выжал. На износ последние недели работали — всем теперь домой хотелось. Ему самому особенно. Она ждала его в тот год, а он боялся — не дождется. Первый год ждала, а была такая красивая, жгучая, так в глаза и бросалась в скудном на женскую красоту северном городе. И добра, доверчива она была, пожалуй, слишком. Да и не верил Злобин в долгие ожидания.

Но полевик не рассуждает: радиограмма — приказ. Ну а здесь и подавно все ясней ясного. Кому идти-то еще? Его бригада к участку Сушкина ближней оказалась. И опытом, и образованием, и должностью Злобин выше. Надо.

На первом сушкинском пункте обнаружил брачок. Показалась беда небольшой. Конь о четырех ногах, да спотыкается. Сам исправил — и дело с концом, но тут надежды на то, что быстро все сможет посмотреть, не стало. Злило это Игоря. До бешенства злило. Первый исправил — мелочь. Зимой потихоньку разобрались бы меж собой, но пришел на второй геодезический знак, он от тропы подальше был, тяжелее добраться — еще хуже сделан. И пошло, и поехало. Центр — марку чугунную, которую по инструкции положено в монолитную скалу забетонировать, они в камень заложили, цементным раствором лишь слегка примазали. Медведь, по следу видно было, личинки жуков искал, есть у него такая привычка, перевернул камень и в сторону откатил. Это марку-то, которая координаты на поверхности земного сфероида имеет с точностью до одного сантиметра.

Пришла беда, отворяй ворота. Раз не повезло — дальше только жди. Еще по теплу напала на злобинских оленей копытка. Тощие были. Заморил их на работе Злобин так, что любая болезнь могла прилипнуть.

Страшная это на оленей напасть. Таинственная и жуткая для эвенков. Каждый день какой-нибудь бедолага-рогач не возвращался к дымокуру и заваливался в стланнике. Только таежный могильщик — ворон находил его. Когда половина оленей пала, пришлось переносить лагерь — до того смердило вокруг. Можно было отказаться от работы тогда? Бросить? Не-е-т! Только отложить до лучших времен, а их в тайге еще никто не дождался.

И тогда не стал сообщать ничего Злобин. Пункты за

ним оставались переделанными. Это главное. Остальное зимой. А сообщи он сразу, наобещали бы транспорт, людей в помощь — надо же отреагировать. Значит, пришлось бы ждать и все равно идти на контроль, только уже глубокой осенью, с риском, что где-то на гольцах застанет бригаду зима. А это дело с летним-то снаряжением вовсе неверное — бывало, обмораживались, а бывало... А бывало, и не возвращались.

Отчего сушкинцы делали брак, Игорь понимал: тяжело им было. Это никого не миновало. Усталость или страх найдет — поскорее хочется с вершины уйти. Сделать кое-как и с гольца вниз: отогреться, поесть, чтобы больше шансов было выжить. Всем этого хотелось, а уходил кто?

Это сушкинский брак уложил тогда Злобина в больницу. Нельзя было выючить оленей — ходили налегке. Не то что лишнего, а необходимого брали половину. Ни запасной одежды на смену, ни спальных мешков, палаточку — редко, продуктов — в обрез. В маршрутах не ели досыта, а только чтоб силы хватало двигаться. Злобин всегда сам впереди ходил — так надежней, но тяжелей. И устал... Как его олени за лето. Истощился. Он и не помнил теперь, как спустились с последнего гольца, как добрались до реки. Через великую силу заставлял себя шевелиться: искали, рубили и подносили сухой топольник к берегу, вязали по пояс в воде плот. Вода и летом в этой реке не успевала прогреваться, а осенью через минуту в ней ноги ныли. Прогнал его Михаил на берег вицы вить. Дело нехитрое, но самое надежное для сплава по каменистым породам. Злобин умел это — от звенков научился. Находил длинные тальниковые прутья, очищал от листьев, заострял толстый конец, втыкал в расщеп ствола, а дальше — дай бог силушки: надо было закручивать прут так, чтобы он лопался по волокнам. Такую «веревку» не резало на камнях, да и чем дольше была она в воде, тем мочалистей, гибче, прочнее становилась.

Выгнал его Михаил из воды, но поздно — застудился Игорь. Как в бреду мелькали перед ним скалистые прижимы, пенились перекаты. Сто раз могли разбить плот и утонуть, но Игорю было не страшно — болезнь одолела, он уже с трудом поднимал голову на каждый шум воды, сулящий опасность, и глядел вокруг равнодушно. Только и следил за тем, чтобы не поскользнуться да сколоть лед с бревен и сапог — под утро занлески воды уже замерзали.

Без радости встретил он костер каюра у своей палатки, равнодушно позволил завалить себя в надувную лодку и сплавить в поселок. В больницу принесли в полузабытьи — воспаление легких и гепатит — далеко и надолго ушел он в своих бредовых снах от суетливых сушкинских дел.

К началу зимы Злобин слегка поправился и казалось ему, что разошлись они с сушкинцами по-хорошему: сам Сушкин и в больницу зашел, когда на прииск в этот поселок выходил из тайги за продуктами, и знал уже, что под суд его не отдадут — брак-то почти ликвидирован.

В середине зимы, когда заварилось «дело о браке», Злобин первым вступился и громче всех доказывал, что простить можно и нужно, что жена у Сушкина на западе, пацанов двое — на что жить будут? И оставили Сушкина в экспедиции — малым отделался.

Злобин поежился, взглянул на быстро темнеющее небо: надо было подниматься и идти. Он закурил последнюю — так решил — на этом месте папиросу и горько усмехнулся: «Сделал хорошее дело, вытащил человека из... Эх, дурак я, дурак». Вспомнил, что именно тогда и возникло между ними настоящее непримиримое отчуждение, что таит теперь на него недоброе бригадир строителей, рабочие его косятся дружно. Много им денег не доплатили.

«Нет,— покачал головой Злобин,— это еще не край. Конечно, после всего радости нам друг от друга мало, но из-за недоплаченных денег нельзя на такую крайность идти. По полгода в тайге живем — деньги здесь не сила, здесь всему другая цена. Не мог он на такое пойти». Но тут Злобин и спохватился, что просто успокаивает себя, уговаривает забыть про беду, не хочет, боится действовать.

«А что гадать,— думал Игорь,— мог, не мог? Узнаю. Главное, раньше времени шум не поднять».

С этим уже было идти собрался, встать себя заставлял, да засомневался и, оправдываясь болью, опять задумался: «Ну, узнаю. Ну, допустим, мог. И что? Раз он умел год таиться, значит, просто это дело не решить. Как докажу? Розыскная собака и следовательно отсюда далеко. Пока заявишь, дозовешься да прилетят: какой тут след.

А докажут они, закон, что ему тогда? Год, два, три? Не-э-т, раз он на такое пошел, года через три освободится — точно скараулит и... А если ребятам сказать, да вме-

сте? Нет. Бесполезно. Не поверят, да и следа нет. Бесповоротно его не припру. Я же и окажусь... Клевета. Да на своего.

А он опять, гад, затаится, и когда все забудется, поспособствует где-нибудь, потихоньку, шею свернуть. На нашей работе это дело простое: с обрыва в спину толкнул и... Начеку все время не будешь.

Один у меня выход. Самому убедиться. Себе доказать. Если он, убью гада. Я-то не смажу. В убойное место, сразу. Не прыгнет...»

Злобин издали увидел дымок зимовья. Подошел поближе и затаился. Рядом на листовенницу села кедровка. Она несколько раз повернула голову набок, разглядывая человека, как будто сомневалась, да Злобин ли это? Потом, словно догадавшись, что это он, издала пронзительный сварливый крик.

«Проклятая птица,— подумал Игорь,— никому от нее покоя нет. Ни человеку, ни зверю».

Прячась за деревьями, подошел поближе, а кедровка во все птичье горло кричала, что видит, видит, как он прячется. Пришлось присесть и закурить, притворяясь равнодушным, пока она не улетела.

В наступившей тишине услышал жилье. За избушкой рассыпались удары по металлу; открылась дверь — смех изнутри; дверь закрылась — голоса, невнятные... вышли и разговаривают двое.

«Не знают они. Конечно. Не могут они знать. Откуда? Сейчас выйти и рассказать. И все решится. Сразу. Нет, однако. Чуть обожду. Выйду перед сумерками».

Он затаился. Бездумно, но цепко, инстинктом выслушивал и высматривал пространство перед собой.

3

Днем, чтобы не топить каменку, запалили на тропе, широко и твердо вытоптанной против зимовья, костер. И в сумрак, походя, кто-то подвинул рыжий сухой листовенничный корень на подмигивающую рубиновыми глазами кучу пепла. Корень погрелся, подымил. Порыв ветра выдул снизу частые мелкие искры, и на их месте возник густой коптящий язык пламени. Полизал смолье и взялся по нему растекаться, светлеть.

Когда желтоватый свет костра пробился в мутное, забитое по щелям зелеными моховыми тычками оконце и в деревянные сквозняки неподогнанных дверных горбылей, ахнули в зимовье — пожар. Но разобравшись, потянулись смурные бродяжки души на свет, к привычному теплу, пить чай, вглядываться в тревожную плотную тьму за костром и кто послушать, что другие толкуют, а кто и сам выплеснуть хотел свое немудреное самодельное слово.

Злобин вышел из-под лиственниц, но оставался в тени так, что видел всех хорошо и сразу в куче, а его выглядывали: вытягивали шеи и щурили в полусвет глаза.

— Ну, что убил, охотник? — весело и звонко в заморозочной тишине спросил Кешка-радист.

Злобин чуть было не срезал веселость эту: сказать хотел, что не он, а на него охотились, но сдержался и проворчал обычное в таких случаях — убил, мол, время и ноги.

— Ну, давай, охотник, садись, покуда чай свежий.

— Да... неохота, — переминался Игорь и мучительно не мог сообразить, что и как ему делать — тянуло сразу забиться в пустую темень зимовья.

Все еще вглядывались в его сторону, а он забыл, что виден смутно в переменчивой игре тени и оранжево-красных отсветов огня.

Но длилось это минуту. Интерес к Злобину пропал, как только рассеялась тревога, которую вызывает все приходящее к костру из неверной таежной тьмы.

— Ну, давай, давай. Затравил, вали дальше, — подал с земли сиплый остуженный голос Никита-конюх.

— Лежи ты, давай! Давай у нас знаешь чем подавился?

— Знаю, знаю, — вяло успокоил его здоровый и наглый, но миролюбивый сегодня Никита.

Рассказывал Колька Теряк. Младший техник-геодезист, забулдыга-строитель и охотник лихой, азартный.

— Так что, это кто как. За папиросу не то еще бывает.

— Да слышали мы, слышали. Ты, ежели знаешь — выдай, а трепаться может каждый, — легонько, чтоб не спугнуть, вел его к делу Никита.

— Трепаться... Он у меня работал, если хочешь знать, Валерка-то. Ну, короче... В прошлом году мы с Росомехи улетали с поля. До Теплового Ключа, а там спецрейсом на «Ли-2» в Якутск. На Росомехе собрались, как сейчас,

в эту пору. Только вертолета долго не ждали. Да-а, хорошая база — Росомаха. Борт сразу пришел. За два рейса всех взял. Остались: радист Степа, черный такой, сугорбый. Ну, этот, здоровый, прошлой зимой уволился. И Валерка. Хороший тоже парень. Спокойный. Работал здорово.

Злобин подошел к костру, горизонтально держа карабин усталыми, свисающими к коленям руками: Сушкина не было. Он остановился возле Михаила. Кешка-радист и Михаил, не глядя на Игоря, привстали и чуть подвинулись, освобождая нагретое место на бревне. Михаил, заинтересованно поглядывая на говорившего Теряка, нашарил свободную кружку, налил черного, дымящего на холоде чаю и вместе с большим куском сахара двинул ее по брезенту Злобину.

— Лепешки вон, бери,— скосив глаза на Игоря, шепнул он,— теплые еще, кажись.

Игорь решил посидеть. Он чувствовал — сейчас все должно случиться, должен ведь откуда-нибудь появиться Сушкин.

Колька Теряк, поддавшись общему вниманию, повел рассказ тише и неторопливей.

— Продуктов на Росомахе оставалось — завал, целый склад. Вывозить надо было. Их двоих и придержали, чтоб весь этот шуешь-муешь к вертолету подтащить. А борт на форму, на профилактику ушел. Сказали: ждите. После формы пилоты свою норму вылетали, надо экипаж менять — погода и блынула.

Степа на связь вышел: опять — ждите, борт через неделю, мол, будет. Ну, им чего не сидеть? Там на этом складе на двоих одних консервов года на два бы хватило. Ешь — не хочу.

Потом, думали, погода надолго установилась, и еще бригаду пошли бортом вытаскивать с верховьев Хандыги. От дошли там мужики. Оголодали, одежонку порвали. Ну, места там. Ох, и места.

Ладно. Вывезли бригаду, а погода опять — хлоп и накрылась. Снег пошел. Тут срок аренды вертолета кончился. Кукуй, ребята. Короче... Досиделись они — заоктябрило. Продуктов у них завал, это точно, а курева — ни грамма. Которое было, кончилось.

Помыкались, помыкались... Степа в тех местах второй год — на лыжи и говорит Валерке: «Сиди, не рыпайся, я на метеостанцию. Девяносто верст. Четыре дня туда, че-

тыре обратно. Через неделю прибегу».— Колька сильно затынулся и с отвращением бросил окуроч в костер — до гильзы выкурил папиросу.

— По-о-пи-лял,— откашлявшись, продолжал он.— Через день пурга. Он, не будь дурным, своим следом, пока не замело, и вернулся. Приходит в зимовье, а Валерки-то и нет. На столе записка штыком от карабина приколотая: «Ушел на зимник за куревом». Видать, не выдержал и до прихода Степы решил пачкой-другой разжиться. А до того зимника два, а то и все три дня ходу.

Злобин напряженно вглядывался в темень, в сторону зимовья. Ждал. Рассказ Теряка шел для него стороной, но последние слова он схватил. К чему это? Тайный для Игоря был в них смысл. Тяжелый. Он незаметно взглянул на Кольку Теряка и как теперь только увидел. Черные прямые брови красиво и хищно летели от самой переносицы приплюснутого с завислым изгибом носа, цепкие, с прищуром глаза глядели бегло и дерзко.

«Может, он знает? Они ведь с Сушкиным, кажется, друзья»,— мелькнуло у Злобина, и он стал ждать напряженнее: не выпуская из поля зрения темноту, внимательно теперь прислушивался к разговору и думал.

— С дури, бывает, не то ломают. Я на этом зимнике шоферил,— веско заговорил Никита,— при мне вон один дуროлом пропал. Жись обмануть торопился. В январе один на «ГАЗ-63» поехал. Наледи уже шли. За Белой речкой, ключ там есть такой. Фокстрот называется...

— Эт што за фокстрот такой,— с недоверчивой ухмылкой спросил Теряк.

— Фокстрот натуральный. Поворо-оты-ы... Я извиняюсь... Танцует машина. Дак вот,— невозмутимо уже и ровно продолжал Никита,— футорку у него сорвало. Поддомкратил, да чегой-то руки под скат сунул, а задний мост с домкрата и соскочи. Мороз — полста и пять. Кисти себе бедолага перегрызать начал, да где-э...

«А может, Сушкин случайно выстрелил — не хотел. Прибегал, повинился. Сейчас все видят: я сам пришел. Думают — Сушкин, так... шутил или ошибся. Молчат. Ждут»,— спасительно мелькнуло у Злобина, но он тут же спохватился и понял окончательно, что ничего они не знают.

— Там по одному никто не ездит. Зимник есть зимник. Бывает, за неделю, за две колонна пройдет и амба,— продолжал Никита.

— А поди ты все врешь, Никита? Я слышал, что на другом зимнике было,—ревниво осадил его Теряк, чтобы вновь овладеть заинтересованным слушателем.

— Врешь?! Пошоферил бы с мое...—недовольно, но и не очень круто взбунтовался было теперешний конюх Никита.

— Да ладно вам. Будет. Ну, и что этот Валерка? Ты сам-то что про это знаешь?—остановил Кеша Никиту и насмешливо посмотрел на Теряка.

— Валерка-то? А, до сих пор за куревом ходит,—вроде бы с издевкой сказал Теряк.

— Не-а, не ходит,—жестко бросил Кешка-радист и резко завожился рядом со Злобиным, задевая его с бокового бока. Он замолчал, и все повернулись к нему, а Злобину показалось, что это предлог и разглядывают-то больше его, Злобина.

— Отходи-и-лся,—успокоившись, степенно, со вздохом тянул Кешка, доставая папиросы. Он привалился к Злобину, освобождая полу телогрейки с карманом, где у него лежала пачка. Каждое его движение болезненно отдавалось у Игоря в боку.

— Я его нашел по весне,—задумчиво выдыхая дым, вспоминал Кешка.—Верней, не по весне, а в начале лета. Росомаху не бросили сразу-то. Браку малость нашли. На доделки кинули бригаду. Сводную, большую. Радиостанцию мощную дали, чтоб с базой напрямую работать. А я там на связи был. Меня первым и бросили. Сезон только начался, а бригада еще не развернулась—вот я один и покейфовал. Лафа была. Рыбалил, охотился.—Кеша замолк ненадолго, видно, спохватился, что вспомнил приятное не к месту, и перестраивался.

— Как-то ходил,—продолжал он уже не торопко и грустно,—собачка на одном месте завывала. Подошел. Ну, и... Лежит...

Злобин чувствовал рядом говорившего Кешку и напряженно вслушивался в оттенки его голоса, вспоминал его поступки, все, что слышал о нем от других. И хотя не было у них с Кешей ни тяги друг к другу, ни сокровенного короткого знакомства, уверялся Злобин, что радисту можно довериться. Он союзник.

— Да-а, жись наша,—растяжисто, с сомнением закивал головой Никита.—Путявые люди дома сидят, а мы все в тайге фарт ищем. Ну, чего он, как лежал-то? Пропал от чего, известно?

— Как лежал! Как лежат в тайге-то? Известно... — пожал плечами Кеша. — Кости колонки да горностаи начисто обглодали. Бушлат, шапка целые. Подраны чуток. Закружился, видать, в тайге, сел, уснул и от мороза пропал.

— Э, так еще известно ли: он ли, нет? — засомневался Никита.

Злобин глянул на него впервые за все время, как пошел к костру, хотя слова его давно уже ловил внимательно: «Дуролом... Вот ты-то и есть дуролом рыжий», — без неприязни подумал он.

— Известно. Все теперь известно, — вздохнул с левого злобинского бока Михаил. — Следователь шустрый оказался парнишка, упорный. Он его по пломбам зубным опознал. В горбольнице якутской медицинскую карту откопал. Ему, Валерке-то, пломбы ставили. Ринген делали. Сопоставил и... Он. Верное дело. А вещи, а ружьишко рядом? Его.

Злобин вдруг поймал себя на том, что невольно успокаивается. История всплыла вроде бы ни к чему. Он знал ее. Ему тоже пришлось хлебнуть горя с этим Валеркой.

Степа, вернувшись в зимовье, сразу же сообщил на базу: пропал человек. Дело было темное, но записка убеждала, что Степан ни в чем не виноват. Зима. Столбик термометра опустился ниже пятидесяти. Пурга начисто присыпала всякие следы. Но, правда, хотя с вертолета или с самолета искать почти бесполезно — летали. На лыжах? На это не хватило бы не только их экспедиции, но и всех людей поселка — Хандыги. Просторное в тех местах безлюдье. Этот кусочек возможных поисков, в десять тысяч квадратных километров, обшарить — дела большие.

Подали заявление в милицию. Злобин сам относил. А там все просто и трезво.

— Он тебе кто? Родственник? — спросил усталый капитан жестоко простуженным голосом.

— Нет. Мы — организация.

— Украл что-нибудь? Должен?

— Нет. Наоборот. Мы ему должны. Заработанные деньги вернуть.

— Тогда что вы волнуетесь, нужны будут, сам придет.

— А если не придет? Как нам закрыть все это? И потом, он у нас на работе числится.

— Помочь ничем не можем. Вы же лучше нас знаете, какие нужны силы, чтобы организовать поиски там. Скорее всего, вышел на трассу да и махнул куда-нибудь в по-

село. Не захотел зимой на вашей базе в тайге сидеть. Так часто бывает, поверьте мне. А мы тут с вами переживаем. Вы понимаете меня? — как можно мягче сказал капитан.

Тут, как на грех, мать его, старуха, в экспедицию пришла. Говорит, что сын, мол, у нас работал, так нельзя ли его деньги ей получить?

Бухгалтер ей, мол, конечно, нельзя. Я, говорит, сегодня вам их отдам, а завтра он сам явится. Потребуется. Да и не явится — ревизор, мол, мне эту сумму, если без доверенности, в начет поставит.

Старуха, как мышка, возле глаз платочком суетится. Молчит. И, похоже, плачет.

Пригласили ее к начальнику экспедиции. Злобина тоже вызвали как председателя местного комитета. Объяснили ей, что должна принести доверенность, а деньги не пропадут.

Молчит старуха, руки на колени опустила, большие, все в морщинах и трещинах, с крепкими мужицкими ногтями, а слеза как по одной щеке прокатилась, так мокрый след и не сохнет, добавляется.

— Где же, — старуха говорит, — я возьму эту доверенность-то?

Начальник — так, мол, и так, найти его надо. Подайте заявление в милицию. Вы — мать. Вам не откажут. Будут искать. Через несколько дней она приходит опять. Просит деньги.

Бухгалтер спрашивает: «Подали заявление, ищут его?»

— Нет, — говорит, — не подала. А ну как найдут?

Удивились. Как так? Что значит?

Она, оказывается, и хотела, и не хотела, чтобы Валерку искали. Жалко сына, а с другой стороны — «тихий» Валерка, как освободился после отбытия наказания, шибко пил и поколачивал ее. Деньги отбирал. Пенсию.

Но убедили все-таки ее написать на розыск. Через месяц из милиции сообщили, что разыскиваемый опознан по приметам работниками аэропорта Хандыга и что он вылетел в направлении Охотского побережья.

Деньги ей из бухгалтерии не отдали, но раз уж такой он негодный сын, то скинулись в экспедиции сами и набрали матери на дрова да на мясо-рыбу в зиму.

Ну, а уж потом Кеша останки нашел. Следовательно и вправду оказался упорным. Копал недаром. После его

заклучения о смерти и о личности покойного депонент матери до копеечки выдали.

— Вот так, за курево-то люди страдают,— значительно сказал Теряк.— От курева одно зло,— добавил он, выкапывая уголек из костра для своей папиросы.

— Однако спать пора,— с рыком вызвнул Никита,— дела наши кончились, пошли делишки. Навоевались. Теперьча спи — не хочу. Скоро в Якутск барда¹: пиво пить, девок любить за все полгода. Я — хорош, больше в такую экспедицию не полезу. У геологов лучше. На одном месте дольше держатся. Там и поешь и поспишь по-нормальному. А здесь все лето как сумасшедшие бегаем. А-а-ха-ха,— зевнул он снова,— утуй барда, спать пошел.

Вслед за Никитой поднялся и Кешка. Николай, тот еще прямо в кружке подогрел на углях чай и допил его. Но уже молчали все. Наговорились.

За Николаем поднялся и Михаил, но взглянул нерешительно на Злобина, а тот стрельнул глазами, мол, тихо сядь.

Михаил терпеливо проводил Колькину спину осторожным взглядом и, когда тот скрылся в зимовье, вполголоса спросил Игоря:

— Да ты чо, паря, как не в себе? Случилось чево? Я приметил, ты и подошел нынче как-то не так.

— Дела такие,— шевельнулся и сморщился от боли Злобин,— дела... Где Сушкин? Знаешь?

— Ушли они на реку с Зыбковым с Валеркою рыбу лудить. А чево?

— Когда ушли? Днем? — словно отказываясь верить, спросил Злобин.

— Дак не шибко и давно. Вместе чай вот пили, сидели, а сумеркаться начало — пошли.

— А днем ходили куда? Часа на два, на три?

— Да ты ладом объясни, чево случилось-то? Про кого знать хо-чешь? Кто уходил-то? Зачем?

— Да Сушкин же, Сушкин, уходил днем? — сердясь на непонятливость Михаила, чуть не сорвавшись на полный голос, прошипел Злобин.

— Не-а. Здеся колотился все время. Я с ним на завтра баню начал ладить. Ну, помогали нам. За дровами отходили. Вместе.

— Так. Дело ясное, что дело темное. Ты пока молчи. В меня пальнул кто-то из «тозовки».

¹ Барда — идти (якутск.).

— Как пальнул, ты чево? Мимо?

— Да нет. Не мимо. Зацепило.

— Дак чево молчишь. Как я сразу-то не понял. Надо посмотреть. Пошли. Перевязать надо. Сильно?

— Нет. На излете. Совсем, видимо, легко.

— Куда, однако? — с затаенным испугом спросил Михаил.

— В бок, — не сразу, но коротко, на одном вдохе ответил Злобин.

— Ну, и што делать будем? — как мог спокойно прошептал Михаил.

— А ничего пока не будем. Завтра, говоришь, баню... Вот там и посмотрим. Ты никому. Пойдем мыться последними, ранку осмотрим, перевяжем. А думать после будем.

— Оно конешно, утро-то вечера мудренее. Гляди. Дело твое, а не было бы худа. Как еще попало, а то заражение и...

— Завтра. Чего уж теперь. Да, и где ты сейчас посмотришь, темень. Знать бы — кто?

— Это не наши.

— Не наши... А кто ж тогда? Нет никого кругом. Похоже, до самой ближней жилухи людей нету. Пусто.

— Ан, значит, есть.

— Пошли потихоньку. Лягу как-нибудь. Неможется. Я там на месте перевязался сам.

— Спать-то спать, а может, сейчас сказать ребятам, да все ж таки ранку посмотреть? Беды не было бы.

— Сказал — перевязался. До утра терпимо. Чего сейчас толку народ полощить.

— Слышь, а пошто ты на Сушкина думаешь?

— Ну, а кто еще? Кому надо? А он... Ты помнишь, было дело с браком?

— Не-эт. Думай, как хошь, а из этого... Да и не такой он человек. Я после сезона того с его ребятами говорил. И с ним. Переживают они. Што думаешь, им не понятно? Эти на чужом горбу в рай не поедут. Не. Ты горячку не пори. Из своих не может никто. Либо случай это. Либо из чужих кто-то.

— Если из чужих — не таился бы, потому как не знал, что человек напротив. Ну, случайно выстрелил, стал бы глядеть, что да как. А я там крутился, оглядывался, след искал.

— Ну? — с затаенной надеждой спросил Михаил.

— Баранки гну. И не видел никого, и следа не нашел никакого.

— Вот дела,— участливо вздохнул Михаил.— Один мог ошибиться. Надо это место всем осмотреть. Ребят надо поднимать на это дело.

— Нет, Михайло. Никому,— обиженно, с упреком говорил Злобин.— Я смотрел как следует. Внимательно смотрел. Сначала подумать надо. Никому, смотри. Я ж чувствую — тут не дуриком, а с умом кто-то.

Горестно и несогласно закивал головой Михаил. Вглядываясь в злобинское лицо — не считал разговор законченным, в чем-то убедить хотел. Но даже в полутьме, в бликах костра понял по его глазам, усталым и отрешенным, что нужен Игорю отдых. Он сгорбился спиной и медленно, трудно, молча сделал десяток шагов к двери зимовья.

Михаил вошел первым, но Игорь за ним сразу же. В зимовье царствовал ненарушимый полумрак, такой привычный вечером, что нелепым казалось осветить вдруг все углы этого дремучего жилья. Сами, изжелта в чернь, лиственничные бревна стен, копченный многими годами потолок, темно-коричневые обтертые до гладкости жердины нар — приглушали любой свет.

Все уже задремали, и только у торцевой стенки, на вклиненной в паз дощечке, мигал желтоватым парафиновым светом фитиль. Со свечками было туго — пожгли за лето, и самодельный фитиль держался в обрезанной коротко консервной банке, заправленной огарками.

У площадки, держа книгу на полувытянутых руках, вдохновенно читал Кешка-радист. Он только повел нездешними глазами на дверь и снова, напрягши зрение, устался в страницу, где, ведомая только ему да затейнику-автору, происходила иная, далекая от скучных повседневных дел, интересная жизнь.

Злобин давно решил про себя: лечь сразу, незаметно и, главное, не раздеваясь, чтобы не бередить ранку. Но теперь, когда все почти спали и дела до него никому не было, не надо было сторожиться. В тепле зимовья усталость, как наркоз, ударила в голову — только одно пульсировало в отуманившихся мыслях: спать, спать.

Он привычной полуошупью набрел на свои нары и, вначале подсев на них со здорового бока, осторожно пристроился поверх спального мешка, чуть завалился на спину.

Заныл весь бок, стянула присохшая кровью тряпица, горячее болезненное жжение поползло внутрь, борясь со сном и затухая.

4

Вечерним зыбучим туманом Злобин шел по тайге. Легкое тело удивительно слушалось его. Он даже не шел, а, раздвигая ветки, плыл, едва касаясь мягких кочек и сухой травы ногами.

Он стремился вперед по чащобе, а видел город как будто изнутри, с улиц.

Огни мелькнули за деревьями, стали туманиться. Страх, что он потеряет эти огни, стегал, торопил. Быстрее, еще быстрее устремился он вперед и готов был уже испугаться, что не успеет чего-то. Впереди засветилось бледно-оранжевое смутное пятно. Стало расти. Злобин как-то сразу увидел окошко и в нем жену. Она стояла в глубине вполоборота, кажется, у плиты. Лицо скрывала прядь волос. Он и видел-то только чистые, блестящие волосы да нечеткий силуэт, но почему-то знал, это — жена.

Она стала поворачиваться, и Игорь заторопился, потому что был еще очень далеко, совсем где-то и не в городе. Он раздвигал ветки руками, и они, как невесомые водоросли, мягко расступались перед самыми глазами.

Заросшее русло ручья загородило дорогу. Он заметался в хламе буреломного сушняка, искал, где бы выбраться и снова увидеть ее, дом. Пояснее увидеть, поближе. Вдруг вспомнил — такой ручей на Юдомо-Майском нагорье. Давно. Силился проникнуть в это мучительно непонятное: только что видел город с ленских, вроде бы, террас и вдруг — ручей за полторы тысячи километров. Сознание настолько не хотело с этим мириться, что даже усомнился — не во сне ли это все происходит? И спасительная мысль такая мелькнула: зимовье, костер, чай, Михаил... И успокоился Злобин.

Ручей был тот самый, далекий. Игорь стал обходить крутой, обозначенный резко бугор. К ручью бугор обрывался срубом из замшелой лиственницы. Внизу темнел квадратный вход, такой узкий, что могли пролезть только голова и плечи человека.

Что-то Злобин про это знал, что-то такое всплыло мельком. В тайнике давно никого нет. во время войны там прятался дезертир или старатель-хищник. Страшно так жить, нельзя, не нужна такая жизнь — озвереть можно.

Теперь пуст бугорок внутри. Некого спросить: правда ли, что до Якутска полторы тысячи километров?

Он напряг локти, прижатые к бокам, напряг все тело и поверил, что прямо сейчас может подняться и лететь. Ветер загудел вокруг, набился в открытый рот, и Злобин стал задыхаться, хотел кричать.

Что-то скользкое подвернулось под ногой, и он упал и открыл глаза от боли.

Жесткая рука трясла его за плечо. «Эй, паря, ты чо мычишь? Сохатый приснился, бодает, што ли?» — сквозь забытие услышал Злобин и, не проснувшись как следует, снова задремал.

Податливо колыхался под ногами мох аласа. Впереди белели кости не то Валерки, не то старателя-хищника из замшелого тайника. В чем-то была связь между этими костями и тем, что Злобин споткнулся. Тронул носком сапога улыбающийся череп. Из сапога торчала портянка. «Худой,— подумал Игорь,— не доносил до дому». Из пулевой дырочки над глазницей мелькнула стружкой золотая змейка и — в дыру сапога. Всосалась между пальцами и потекла по телу металлическим холодом, извиваясь, толкнула изнутри в больной бок, в самую ранку. Ойкнул Игорь, а змейка вернулась и дальше, и выше, и холодной живой ртутью подползла к сердцу. Ткнулась в него — заныло сердце тянучей сладкой болью; рассосалась, улеглась там змейка инородной тяжестью.

Злобин силился крикнуть, исправить, выгнать ее вон.

— Да чего ты, на самом-то деле? Дай людям спать! Мычишь, кричишь, стонешь! — Теряк сильно и больно тряс Злобина за плечо, и тот проснулся.

— Сон, должно, увидал. Эй, Игорек, медведь тебя во сне, што ли, драл? — полуучастливо, полунасмешливо спросил Никита. — Иди вон, чайку шваркни. Проветришься.

— Лег небось неудобно, отдавил чево не то во сне, вот и мстится, — подал голос с соседних нар Михаил.

Никто ему не ответил — ушли спросонья в свои далекие глубинные думы.

— Чего снилось-то? — погода немного, приглушенно спросил Игоря Никита.

— Так, — неопределенно выцедил он сквозь обметанные сухим жаром губы.

— А мне баба снилась. Хорошо-о... — мечтательно, сам себе сказал Никита, — да ты вот некстати разбудил. Те-

перь навряд ее до дела доведу. В Якутск прилетим, с тебя за ущерб — бутылка. Ставишь?

— Да. Пиво получишь,— засыпая ответил Игорь.

Теперь он никуда не торопился. То ли наяву, то ли во сне, шел по тайге тяжело, грузно приминая мох.

Неориентированно двигался Злобин и думал, почему не торопится домой?

Вот почему. Та желтая змейка холодным расчетливым злом спряталась внутри него. Подобрал-таки он чужое. А она, женщина, которая его любит, теперь увидит его сразу другим и сразу поймет — с чем он пришел. И не нужен ей будет такой. И себе, себе тоже не нужен, потому что внутри холодная, тяжелая змейка спряталась. Не пробиться теперь через нее открытому людям взгляду — всегда вовнутрь себя, спохватившись, будут мысли возвращаться.

И вот, когда Игорь понял это, стало так страшно, что он вспотел и проснулся по-настоящему.

5

Медленно будился цепенелый таежный лес, будто угрелся в холодной ночи и до полуденного тепла не хотел расправляться. И летом в этой тайге редко птиц слышно, а тут вовсе притихло, как в брошенном доме. Только далеко где-то — туп, туп-туп, туп, туп-туп-туп — кормился на сухостоине большой черный дятел.

С утра на зимовье одна забота — баня. И то, пора. Если бы не так густо просмолилась за полгода одежда дымом костерков, давно бы в ней завелась бо́льшая вошь. Давно и забыли все, как дышит мытое тело. Привыкли. Но люди, однако, не звери. Надо им мыло и чистое белье.

Готово все было с вечера, и за едой не засиживались. Хлебнули по кружкежигающего, до горькоты крепкого чаю да за дело.

Две кучи речных голышей, которые валиками вчера укладывали, уже дровинами толстыми обложены. От костра, где чаевали, головни в ход пошли. Ими и запалили жаркий, трескучий, без дыма кострище.

Злобин к чаю не вставал. Отлеживался. Это после охоты со всяким могло быть. Попросил Михаила, и тот прямо на нары принес ему кружку с чаем, здоровый кусок отварной белой рыбыны-ленка и тройку галет.

— Откуда рыба-то? — нелюбопытно спросил Злобин. — Хороша.

— Сушкин с Валеркой поднесли. Добычливая у них была ночь. Пяток вовсе крупных закололи, а по килу которые, дак и не знаю. Десятка с три, однако. Думал, и мы с тобой сходим. К зиме в город запасем.— Обстоятельно рассказывал Михаил и старался проникнуть в настроение Игоря.

— Сходим еще. Бортом-то и не пахнет. Когда-а придет. Время будет,— раздумчиво ответил Злобин, и Михаил успокоился за него.

— Все-то где?

— Дак эти-то спят. Сушкин-то с Валеркой Зыбковым. Тут, неподалеку. В пологах. Мошка-а нынче — страсть. А остальные баню ладят.

— Ну, добро,— как свое что-то утвердил Злобин.

— Сам-то как, Трофимыч? — внимательно вглядываясь в лицо, спросил Михаил.

— Да ничего вроде. Терпимо,— медленно, успокоительно выговорил Злобин.

— Анти-и-па,— ввинтился через дверь окрик снаружи.

— Пойду помогу им,— поднялся Михаил.— Потом с тобой попаримся, последние.

Стены глушат внешние шумы: слабые почти не долетают, а посильнее — как издалека.

Игорь услышал шуршащий топоток под столом. На пересохшем бумажном лоскуте, изогнув длинненькую спинку, застыл проницательный темно-рыжий горностай. Внимательно блеснул выпуклыми глазенками на Игоря и, прикинув что никак тот его не перехватит, цапнул зубами окрошенный подвялившийся ломтик мяса и сверкнул в щель.

«Смотри-ка. Обнаглел,— усмехнулся Игорь,— прямо как понимает, что до зимы его шкура ни на что не годная».

Пошарил рукой на столе и кинул соседу свежий кусок.

Вздребезжав, стукнула дверь. Игорь вышел из полудремы, но глаз не открывал: так-то меньше будут беспокоить.

Кто-то залез под нары и возился, пыхтел там, а потом потряхнул его за плечо. Но не больно. Да и утихло совсем уж в бок.

— Трофимыч. Спишь, што ль?

— Ну, чего, чего тебе? — узнал Злобин по голосу Никиту и открыл глаза.

— Да вот, шашку сигнальную дымовую хотел найти.

Не попадаете... у тебя-то, может, остались? — почему-то смущенно спрашивал Никита.

— Зачем тебе? Осталось всего пять. Мало ли... Понадобиться еще могут. Вон, борт придет, так направление ветра ему показать.

— Дай одну. Пороюсь потом как следует — отдам. У меня есть где-то припасенные, — мялся, юлил глазами Никита.

— Возьми. Вон рюкзак на стенке висит. В широком кармане. Чего случилось-то? — бодрее прежнего старался говорить Злобин.

— Нет. Чего случилось? Ничего не случилось. Не понимаешь, што ль? По надобности выйти. Ветра на дворе нету. Мошка-а! Осатанела. Штаны только скинешь, так враз облепят. Живот у меня крутит чего-то. Сожрал, што ли, што-нито, наверное.

— Так что ж ты, дурило, под задницей ее задымишь? Задохнешься ведь, черт тебя подери.

— Не-э-а. Мы летом делали так от комаров. Десятка четыре на складе брали. Ну, ты дай. Дай, однако!

— Да бери же, сказал! — не замечая, что улыбается, в сердцах проговорил Злобин.

— Как же я сам-то? В чужой карман полезу? Ну, встань, Трофимыч.

— Да пропади ты пропадом со своим поносом! Бери сам, тебе говорят!

Дрогнул от крепкого злобинского голоса Никита-коных: тоже знал за ним резкость; и, держась левой рукой за живот, напряженно переминаясь с ноги на ногу, шибко страдая, правой шарил в рюкзаке, а сам виновато смотрел в подбородок Злобину, ибо давно, с самой юности, не лазал в чужой карман, а в присутствии хозяина и вовсе никогда этого не делал.

Дверь хлопнула, Игорь закрыл глаза. Он представил здоровенного нагловатого Никиту, напряженно сидящего сейчас в кустах, кашляющего, отмахивающегося от мошки, от ядовитого дыма, и расхохотался.

Смех отозвался в боку приглушенной, забытой болью и напомнил Игорю его настоящее положение. Он тоскливо, жалобно выругал многострадальную человеческую мать и снова затих.

Недолго дремалось Злобину. По гоготу, по диким счастливым крикам снаружи всплыл он из нездорового днев-

ного сна и сообразил, что к концу идет общая баня. Пора готовиться ему.

Ох, как не хотелось поднимать Игорю привыкшее к занемелому покою тело, как не хотелось перешагивать еще раз через боль, уже столько часов забытую. Но не вылезать ее, не на кого, кроме себя, надеяться. Хорошо бы поверить, что у людей рядом нет до него злого дела. Но пуля-то в боку сидит, и послал ее человек, который здесь где-то ходит — не за тысячу верст.

Он встал. Только первые минуты муторно было. И то не понять: от долгого ли неподвижного лежания, от вчерашней ли усталости или потери крови.

Заранее Игорь не думал, как да что будет делать со своей раной, но сразу, как не впервой, стал готовить все нужное. Из фанерного обтертого за лето грубыми брезентовыми выючными суминами ящика походной аптеки достал пинцет, йод, вату и бинт — широкий, большой, надежно упакованный в пергаментную бумагу.

Еще поколебался — не взять ли скальпель, но решил — не надо. Свой нож к руке привычной да и острей. Если глубоко вошла пуля и надрезать придется, то уж лучше нож прокалить и йодом помазать.

И еще, чтобы посмотреть рану, взял Кешкино круглое, с проволочной подставкой зеркало в никелированной оправе. С одной стороны чуть выпуклое — увеличивает, с другой плоское — что есть, то и увидишь. Не больше, но и не меньше.

Все сложил в полотенце, концом перестелил — не брякает, не видно, что в нем запрятано.

Дверь открылась широко и откинулась совсем нараспашку. Прокаленный паром, голый и от этого неузнаваемо могучий, шагнул через порожек к ведру с холодной чистой водой Никита. Пил долго, осторожно, как наработавшаяся горячая лошадь. Напившись, крикнул и боком вышел.

Только за ним Злобин, а в дверях, загородив свет дневной, Сушкин. Уступил он дорогу, но смотрел внимательно. Глаза серьезно приузил. И показалось Игорю, что ничего для него хорошего не пробилось из сушкинской души через этот взгляд. Они с тех памятных пор всегда тяжело встречаются, почти никогда не разговаривают, но сейчас у Злобина конкретная мысль мелькнула: «Мог он, мог».

Задумчиво пошел Игорь к темной от сырости банной

палатке, мимо сыто покуривавших бородачей: распушившихся, чистых, незнакомых даже. В тон их неспешному делу поздравил всех с легким паром, задал традиционный вопрос, как, мол, чувствуют себя после бани, и сам не торопясь выслушал ожидаемый экспедиционный ответ, что первые полгода чувствуют себя ничего. Стараясь не морщиться от боли, пригнулся во вход банной палатки. Вслед ему глядели, видимо, потому как Никита крикнул: «Заспался, начальник? Кваску-бражки не оставим. Понимай сам: год не пей, два не пей, а опосля бани — штаны продай, да выпей». — И здорово, с жеребьячим табунным гулом, захохотал.

А Злобин понял — без него они сегодня обедать не станут.

6

Михаил ждал. Попуро сидел он на корточках спиной к прокаленной каменной гряде. Грелся. Пара почти не было, сэкономил он жар до Игорева прихода.

— Ну-к, чо, начальник? Рассупонивайся. Помочь? — не вставая, сказал он и взглянул на Игоря из-под обсыпанного бисеринами пота лба.

— Сам я, — ответил тот негромко, опасаясь, как бы от костра не услышали его сломленный смирный голос. Но только начал раздеваться — сморщился от боли, и Михаил спохватился, встал помогать.

Осторожно, стараясь не нагибаться, снял с себя Игорь все. Тряпица присохла. Не отставала. Злобин взял зеркало, отвел его рукой в сторону и за спину. Посмотрел. Ничего особо ужасного вокруг лоскутка не было — будто чиряк зрелый сковырнулся.

— Слышь-ка, Михаил, ты пару поддай. Знобит меня. Да и это отмокнет, с паром отойдет.

— Точно. Распаришь, и посмотрим, — успокаивающе поддакнул Михаил.

Он черпанул кружкой горячей воды из ведра, стоящего обочь пышущей жаром печки-грудки, и длинно плеснул на камни: вдоль и сверху. Пар ударил белый, резкий и сухой, а когда рассеялся, стало сразу приятно жарко. Вялым пареным огурцом пахнула из-под ног хвоя кедрового стланика. Занежилось в легком пару усталое тело, почти полгода — весь полевой сезон — не знавшее такого отдыха. Чтобы не нагибаться, Игорь опустился на колени, зажму-

рился и стал думать, что вот бы на этом месте, на боку, действительно был чирей простудный. Сейчас бы погрелся, обмыл его да привязал черную пахучую мазь, и конец всему.

— Ну, как? — спросил Михаил. — Парок не жжет?

— Нормально, погреюсь, — ответил Игорь вяло. — Плесни еще. Да сам-то не жди, парься.

И Михаил плеснул. Встал, угнутой вниз от жара головой повел в сторону Злобина — как он там, и, отдышавшись, поддал еще парку.

Заплясал, заахал, а как стал пар уходить через брезент, черпанул полную кружку, поддал еще и уже без опаски за Злобина, позабывшись, жмурясь и стирая набегавший со лба пот, нашарил веник из мелколистой березы-ярника и пошел, пошел нахлестывать себе бока и спину, плечи. И ниже, и ниже, а потом снова по плечам, по груди. Он охал, поднимал то одну, то другую ногу, распрямлялся и расправлялся и снова угибал голову вниз и наклонялся всем телом.

Позавидовал ему Злобин, и Михаил как почувствовал это — стал торопливо обмываться.

Не поднялся Злобин с колен, а разогнулся твердо, будто пружина стальная внутри сработала. Опять закипела в нем обида и злость. Решил безотлагательно пройти через предстоящее. Думал, коли попал в такую переделку, скорее надо ему становиться на ноги. До дрожи в каждом мускуле захотелось снова быть здоровым, готовым ко всему, могущим, если надо, и десятерым за себя горло перерезать.

Начал было осторожно лоскут отклеивать. Напряг руку и медленно отдирает. Тряпица шла. Он туго прижимал кожу левой рукой, так туго, что не различал уже боли от воспаленных краев ранки, а как почувствовал, что натянулась кожа на краешке, осторожно потянул с другой стороны и рванул напроочь.

Не на гору под рюкзаком шел, а отдышаться пришлось с минуту. Сбить напряжение.

— Слышь, Михаил, посмотри, глубоко она там, собака? — Хриплым, севшим голосом попросил Злобин и повел в его сторону глазами понизу, чтобы не спугнуть острым взглядом — не отошел еще от боли и злости на самого себя.

— Сукровица сочтится помаленьку, и не видать, — ответил Михаил, опасливо заходя ему за спину.

— Ты пинцетом пощупай по центру. Если близко — вынь. Ну?

— Нет, Трофимыч, не могу. Грех на душу брать... Не доктор ведь я. Надо тебе к врачу, к хирургу. А если заражение будет, как я потом? Грех на мне останется. Давай завяжем... И надо борт просить. Санрейс. В больницу тебе надо. Чую.

— Эх ты, еще, говоришь, охотник киренгский. Держи зеркало. Держи, держи, я сам попробую. Йод дай и этот... пинцет. Вон, в полотенце. Эх-ха. А говоришь, воевал. Говоришь, на Хингане не то бывало.

Михаил, подчинившись нацеленной злобинской твердости, покорно подал открытый пузырек. Рука его заметно дрожала.

Злобин макнул никелированные хоботки инструмента в пахнущую гнилым морем буро-красную жидкость и, сдвинув их, завернул лицо назад.

Он стиснул зубы так, что челюстные кости под деснами заныли, и стал думать, что боль, которая сейчас будет, не такая уж сильная, а главное — она недолгая.

Он ткнет пинцетом и заденет пулю — это секунды. Ожог и все. Вот потом похуже — ухватить и достать. Вот тут — терпеть, но тоже недолго. Стерпимо должно быть. Зато потом рана станет чистая. Она на нем, как на волке, затянется, и уж тогда его голой рукой не возьмешь. Тогда он снова в тайге хозяин.

Он завел пинцет в рану. В боку защипало сильно и остро кольнуло. «Ерунда», — упорно думал Злобин. Чуть заглубил, и в животе тошным холодом натянулась боль — вот она, свинчатка. «Х-ха», — вынул он пинцет, выдохнул и тыльной стороной ладони вытер пот со лба.

— Рядом, под кожей, сучара. А ты говоришь — в больницу. Нет. Врешь. Сам колупну. Зажги папиросу, затянусь разок.

Злобин затянулся и не понял дыма, только головокружение прошло и резче видеть стал.

— Держи, — подал Михаилу папиросу и, передавая, еще дважды жадно затянулся. — Ну, давай, направь зеркало, — тихо произнес он и твердо кивнул головой.

Напрягся весь, мускулы до боли, до дрожи напрягил, и, чуть разведя указательным пальцем хищные хоботки пинцета, подвел его к ране. Чутко уперся в пулю, переждал боль и еще несколько секунд не мог заставить себя приготовиться к главному. Уже решил, что не сможет

больше мучиться, осатанел от ярости на нерешительную руку свою. И, когда готов был ее отдернуть, бешенством воли толкнул пинцет вглубь.

Зная, что сил больше не хватит надолго, дернул из тела раскаленную болью тугую пробку свинца.

Его сильно затошнило, и он хотел вытолкнуть из желудка непужный ком, но Михаил расторопно поднес к его безвольно раскрытым губам кружку с холодной прозрачной горной водой.

«Ну все, все,—мысленно успокаивал себя Злобин.— Все»,—думал он и, стуча зубами, давась, выцедил два глотка невкусной пресной воды.

Чудно даже было Злобину: как это внутри его тела металл схватился за металл.

7

На следующее утро с главной базы сообщили, что «борта» в ближайшую неделю для зимовья не будет. Кеша на тревожную немоту барака прямо в сеансе связи успокоительно махнул рукой.

И хотя все в эфире было таинственно, непонятно непосвященному человеку: и говорилось, и отстукивалось ключом «кодировано», да и только то, что им знать необходимо, он, щелкнув выключателем, объяснил:

— На севере от нас летают. Чья-то бригада замолчала. Четвертый день на связь не выходят. К ним пошли «бортом». Да-а-а, ничо. У них питание село. Я знаю. Точно. Неделю назад еще еле пробивались.

— И как это, Кеша, ты все чувствуешь? — наивно удивился Колька Теряк. Что-то он задумал, и надо ему было вызнать обстановку до корней.

— Соображать надо,—солидно ответил ему Кеша.— Я их давно слушаю. Как включатся — норма, слышно, а потом резко — затухание. Вопрос: почему? Ответ: напряжение падает. Понял? Батарей слабые. Так что никаких чепе. Дней через десять за нами придут.

— Тьфу, тьфу, тьфу,—суеверно испугался Никита.

— А-а, тогда нам што горевать? — весело потрогал всех глазами Теряк.— Искать не пошлют, ребята целы. Надо с пользой время провести. Гусь-утка летит. Думаю сходить. Тут километров двадцать. Озеро горное есть...

Говорил он в сторону Злобина, но на него упорно не смотрел. Злобин деликатность Теряка принял. Игорю за все дела здесь отвечать, если что... Он здесь по должности

оказался старшим. Конечно, все лето Колька был сам себе в тайге хозяин, тоже бригадой руководил, только строительной. И сейчас ни он, ни кто другой ни под каким приказом не подписывался, но старший должен быть — это закон, закон неписаный. Колька понимал и смирал гордыню. И все понимали. Злобин, похоже, приболел: с простудой лежит. Если бы он толковал об этом с Сушкиным, то ясно — устранился сам и пусть, значит, у другого об их житье-бытье голова болит. Сушкин следующий за Злобиным по рангу. Разговора такого не было, да и Сушкин, заметили, в зимовье тоже сидеть не расположен.

— Слышь, Коля, ты один не ходи,— Игорь приподнялся на локте,— мало ли... Береженного бог бережет.

— Ну дак ясно. Толкуй... Сезон-то кончился. Это весной: не до жиру — быть бы живу, а теперь в полной целости свою арматуру домой привезти охота.

— А-а, была не была! Пойдем, Теряк. Может, лебедей увидим,— с восторженным потягом повел плечами назад Никита.

— Пойдем,— вздохнул Теряк: какой уж Никита по охоте напарник. Да, видно, и Николай не гусятину хотел, а тишины.

— Ну, вы токо вот что,— остановил против них строгий палец Кеша,— когда вас ждать и без баловства. Сказано, в срок придете — слово свято.

Сушкин дождался наконец — решили дело без него. Прихватил на плечо рюкзачишко — вольному воля — и кивнул:

— Я на берег, против зимовья. Ты пойдешь? — выжидающе спросил он Зыбкова.

— Да, да. Пойду. Только к вечеру. Материалы доформилю,— вздохнул Валерка.

И наступила в зимовье размеренная тишина.

Михаил молчаливо согласился готовить еду: зашуршал мешочками с крупой, задвигал консервными банками — начальник в зимовье, а он при начальнике; впрочем, не поэтому, по делу так выходило — без приказов, вольно.

Кеша, как и всегда на таежной базе, неукоснительно на час, на два засел усовершенствовать радиостанцию. И тут его не трогай, не подходи.

Зыбков, шевеля губами, обсчитывал результаты полевых наблюдений, изредка в муке наморщивая лоб иводя глаза к воображаемому небу.

Злобин лежал и думал. Не сводились у него концы с

концами. Он не то чтобы умом все в своей жизни додумывал до ясности, но чувствовал истину всегда. Видимо, за это его и уважали: он часто знал, что и как надо делать, без сомнений, без вариантов. Четко. И, наверное, за это же его иногда не любили.

А в эти дни растерялся Злобин. И решил он начать все сначала. Думать и взвешивать. Решение должно быть.

Михаил собрал продукты и вышел наружу к костру. «Пойти к нему, еще поговорить? — спросил себя Игорь. — А что он нового скажет?»

И тут скользкая мысль всплыла. Не нужно Михаила больше тревожить. Пока... Он ведь не верит в то, что Сушкин мог... Значит, если что подозрительное, но, на его взгляд, несущественное и знает — не сказал с целью. Нет, не со зла, конечно, наоборот, от добра к Злобину. Чтобы не натворил он непоправимых дел.

— Слышь, Валера, все спросить тебя хочу. Ты, извини, оторвись на минуту. Что, рыбы-то много в речке?

— А? Рыбы? Есть маленько, — сдержанно засмеялся Валерка. — Ты чего это все лежишь? Айда с нами. Сегодня опять лучить будем.

— Да-а, что-то, Валера, застудился я, и чирьи некстати пошли. А где ж вы колете? Далеко позавчера сплывали-то?

— Охота была далеко-то спускаться. Тащи потом на себе и лодку и все. Против зимовья почти, — любовно вырисовывая столбики уже послушных, проверенных цифр, ответил Валера.

— Интересно. Я вот видел, несколько крупных вы добыли, — вкрадчиво понизил голос Злобин. — Секрет не откроешь? Видел вашу острогу: прямые жала. Почти что без крючков. Как же вы рыбу достаете? Небось на мелководье выводите и из малопульки добываете?

— Не-а. Я сам так и хотел. Да нету у меня «тозовки».

— А сушкинская?

— Не берем ее. Я... — Валера смущенно склонился над столом. — Пуля там в стволе застряла.

— Как это? — равнодушным тоном постарался спросить Злобин.

— Да я утку-каменушку стрелял, — поднял Валера голову и мимо Игоря в стену смотрит. — Патрон, что ли, бракованный попался? Пах потихоньку, и пуля не вылетела. Ну, Вася расстроился, забрал. Так теперь и лежит, вон, под нарами. Не-э. Мы по-другому придумали — ба-

горчику сделали. К дну ее прижимаем острогой, а потом багорчиком цепляем за жабры. Нормально, ни одна не убежала,— подмигнул черным узким глазом Валерка.

— Эх ты, голова,— осудил его Злобин.— Давай винтовку, сейчас наладим.

— Брось ты, не надо. Я сам. Вот освобожусь, шомпол сделаю и выбью.

— Не вздумай. Сушкин голову тебе тогда свинтит. Выбивать станешь — ствол раздуешь или царапин наделаешь. Эх-хо, охотник. Давай, давай,— равнодушным притворился Игорь, а сам ой как хотел подержать в руках эту винтовку.

Злобин вытащил затвор и заглянул в ствол.

— Кеша, дай-ка проволочку.

Кеша повернулся к ним отсутствующим лицом, посообразовал с минуту над чем-то своим и молча протянул крупными мотками смотанный провод — тонкий гибкий медный тросик.

Злобин еще сомневался, но несколько раз заведя в канал ствола распрямленную медную проволоку, по звуку понял, что не грязь там набилась: точно, пуля.

— Давай патрон,— впервые взглянув на Зыбкова прямо и ясно, сказал Игорь. Легко ему стало, и весело он сказал.

Валерка подал коробочку: «Спортивно-охотничьи. Опасны на расстоянии тысяча пятьсот метров», останавливающим четким шрифтом было напечатано на синеватом картоне.

Злобин раскачал и извлек пулю, осторожно, держа ствол вертикально, вставил гильзу с порохом в патронник и закрыл затвор.

Выстрел в зимовье прозвучал глухо. Пуля, предназначенная несколько дней назад черной утке, сбила с потолка труху и запорошила Злобину лицо.

Для пушного разгона чуть ослабил свое дыхание ветер с Ледовитого океана — пришло невиданное, редкое для этого времени тепло.

В последние дни осени одаривало скупое солнце таежные долины. Золотистыми искрами летели с лиственниц иглы. Терялись под кустарничками багульника и голубицы. Просеивались на землю сквозь белый мох-ягель, но видимым ковром устилали береговые россыпи камней. Пали на голубую с изумрудным просветом воду и, не ко-

лышась, тонким слоем самородного золота лежали на ней в языках речных заливов у самого берега. Подальше разбивался золотой ковер на лоскутки, рассеивался в круговоротах. Местами целые ковровые дорожки тянулись к стрежню и пропадали в бесконечном смещении вод.

Редкими головешками проносились по перекатам утки-каменушки. Остановившимися торпедами таились по глубоким вымоинам черно-голубые сверху хариусы, дожидавшиеся легкой придонной добычи. Без веселых верхних рыбьих всплесков неслась плотная осенняя вода так далеко, что сомнительно было докатиться ей до устья к скорому ледоставу.

За несколько дней вылежался Злобин в зимовьишке. Редкими словами, но до того истово рассказал он про свою болячку в боку, что и сам поверил, как выдавил чиряк и как целый куст мелких у него там теперь зазудился. И вот уже пятый день он на берегу с Михаилом: мирно, покойно, как и мечтали все лето.

Михайло обловил нижние и верхние ямки. Только рядом не трогал. То ли оставил напоследок, то ли ждал, когда Игорь удилище сможет держать и потешиться.

Разделанные, присоленные рыбины покачивались на шнурах — вялились. На ободранной от мха и торфяных корневищ земле, на самой вечной, не нарушаемой солнцем мерзлоте лежали свежие, еще не обработанные: готовили закоптить домой.

Хорошо после сумасшедшего напряжения нервов, нацеленного в одну точку: сделать плановое задание; после ежечасного подчинения своего «я» и своеволия зависимых от тебя, начальника, людей, вдруг услышать тишину; понять, что все окончилось и можно, когда сам захочешь, проснуться, поесть, идти или лежать. Хорошо не гнать свои мысли по прямым тропам к цели, а пустить их на вольный выпас памяти и, не напрягаясь, следить, как бродят они там, где им вздумается. Ничто не мешает тогда слышать боязливые шорохи пищухи за камнем, следить мрачный полет вещего таежного ворона, наблюдать за озорным бурундуком, удивляться совершенству приспособленности растущей в нескольких сантиметрах от обтаявшей наледи пушицы-черноголовника. И любить все это. Хорошо! И, наверное, только тогда, если совсем нет людей вокруг, может забыть обиженный человек и людское зло.

Над тлеющим очажком бездымного жара, умелом костерке, взбулькивает полуведерная кастрюля. Третьи ха-

риусы довариваются в помутневшей жирной воде. Сладким запахом бросается оттуда парок.

Михаил не тревожил Игоря в эти дни. И не пытался, и не наставлял. Да и не за одно экспедиционное, на риске прожитое лето узнал он характер своего начальника, его правило разбираться во всем самому и несворачивающую с самостоятельного русла волю.

— Ну, паря, через полчаса и есть будем. Эх, люблю повеселиться, особенно пожрать,— колдовал над кастрюлей Михаил.— Вот и квитуюсь я за лето. То ты все мясо добывал, теперичь моей рыбки покушаем. Хороша-а. Мне рыба не надоедает. Бывало, на Киренге неделями ел, а думал... и еще бы ел. А теперь нам сам бог велел — шибко отошали за лето.

Злобин ладил муху. На хорошем окуневом крючке уже насажена была черная головка — обточенный бруском кроха-кусочек резины от каблука; и войлочное тельце — от стельки отрезал. Вырезаны из полиэтиленовой пленки крылышки. Выдернул он из брезентового лоскута нитку. Примотал их. Не забыл и три волоска из бороды пополам согнуть и под брюшко сунуть — ножки.

— Гляди, Михаил, живая,— подбросил Игорь муху на ладони.— Живой слепень.

— Ловко. Однако течение здесь тихое, да и осень. Паут-овод давно осекся, пропал, в воду не падает. Навряд обманешь,— засомневался было Михаил.

— А вот давай сейчас и попробуем,— азартно поднялся Злобин.

— Спробуй, не долго только. Доварю, шумну.

Чуть ниже широкого места, где вода вырывалась из глубокого покоя и, закручиваясь, бурлила от придонных высоких камней, начал Игорь высматривать подходящую струю. Встал на вдающуюся в воду глыбу и пустил муху. Сухая, еще легкая, запрыгала она по бурунчикам и, выбрав леску, нырнула вглубь. Прошла минута... Ничего.

Игорь косо повел удилищем вверх, муха всплыла. Он потянул ее на себя и опять пустил вниз, только на этот раз вытянул руку дальше, чтобы насадка могла нырнуть меж двух больших камней, темневших в полуметре от поверхности воды. Когда леска распрямилась, ему ясно почудилось — дернуло. Он даже про себя суеверно-безнадежно подумал: «Укололась, теперь не возьмет».

— Э-ге-эй, давай. Иди-и,— раздался от костерка голос

Михаила, но Злобиным уже овладел азарт рыбалки. «Сейчас, сейчас»,—шептал он, а глазами выискивал, где бы стать еще на метр, на два ниже.

Второй раз дернуло слабее, но он ощутил это явно, потому что ждал. Только засечь не успел опять. Игорь слышал, что подошел Михаил — хрустели на берегу под сапогами камешки; неприятно тянуло и покалывало в зажимающем боку; а сам раз за разом лихорадочно и впустую проводил и проводил муху меж камней. Когда в последний раз только начал плавно потягивать на себя, снова рвануло, сильно, но он уже приловчился и одновременно с рывком подсек.

— Ну, што? — Прерывисто спросил за спиной Михаил.

— Зацепило, кажется,—недоуменно ответил Игорь. Он удилищем пытался поднять муху на поверхность, и в этот момент уловил, как что-то живое, несдвигаемо-тяжелое, повело леску в сторону.

— Тащи, тащи. Уйдет,—скороговоркой запричитал Михаил.

— Не гуди под руку. Не мешай, не мешай. Вот здоровый! Оборвет все к чертям. Надо, чтоб устал.

Первые секунды Игорь даже не мог сдвинуть рыбу с места, но потом она подалась, и он повел, повел ее к берегу. Михаил, не говоря ни слова, забежал в воду. Рыба, испугавшись, резко повернула и пошла к середине в глубину. Злобин едва успел повернуть удилище перпендикулярно леске и смягчить рывок.

— Ты что же делаешь... твою в душу, в гробину мать. Выйди! Не пугай. Не пугай, выйди. Дубина,—шипел змеей Злобин.

Михаил медленно вышел из воды, он обиделся здорово, тут же забыл обиду и, закуривая наспех, снова засуетился на берегу.

Наконец, Злобину удалось поднять рыбью голову к поверхности — дать ей глотнуть воздуха. И еще раз, и еще. Осторожно, чтобы не ошалела она от боли, но и леску постоянно держа в натяг, повел добычу к берегу в заливчик, на мелководье. И увидел.

Это был большой, чуть не в три четверти метра, ленок: и думать нечего было вытащить его на лесе. Тогда попытался перетянуть рыбину через мель в спокойную воду. Положив удилище, заперебирал пальцами леску; выбрал, оставил ее в левой и покрался к рыбине с хвоста, потягивая из-за спины нож правой рукой.

— Давай двоим, двоим давай,— направился было к нему Михаил.

— Сбоку, прямо не иди. Увидит,— сквозь зубы тихо, напряженно бросал ему Злобин.— Отсеки дорогу. От воды, от речки заходи.

Грудные плавники ленка упирались в камешки дна, и поэтому, обессиленный, он стоял на месте, загнанно взмахивая жабрами, и, даже видно было, поводил глазами.

В тот момент, когда рыба, казалось, набралась сил для нового рывка, Злобин плавным быстрым движением, для Михаила-то и неуловимым,— приходилось ему так вот быстро и точно орудовать ножом, когда выючные олени запутывались в густом стланике поводками, бились и смертно хрипели,— сунул ей острие ножа сверху и сбоку в голову. Вода взмутилась, леска оборвалась, и уже Михаил, как дети брызгаются в зной на речке, выплескивал добычу на берег.

— У-ух. Да-а,— перевел дух Михаил.— Взяли. Вот это взяли. Смотри какой. Как эт мы его, а? Мне все харюзы попадались. Здоровый. Острожку надо будет принесть, на случай. Еще небось добудем. Быть того не может, чтобы он один такой здесь проживал.

— А ты боялся. Не возьмет. Возьмет! Муха-то живая. Ты прости меня, дурака, что я на тебя зашумел,— мальчишеским радостным голосом выговаривал Игорь, просовывая ленку под жабы пальцы. Тот лежал, расшеперив спинной, шириной в ладонь, плавник, по которому семицветной радугой, тускнея, бежали и навсегда пропадали цвета. Судорожно давясь, хватал он ртом воздух. Пятнистое тело вздрагивало, извивалось, затихало, и только не густела разбавленная водой кровь над плавником.

— Ну, садись.— Михаил дымящейся грудой выложил в миску вторую закладку рыбы. Горячую сверху. Через край, наклонив кастрюлю, быстро плеснул в первую кружку и потом медленно, чтоб не замутить, нацедил по самый верх вторую.

— Юшку надо горячую пить, чтоб сердце жгло,— сглотнул слюну Михаил.

— Ага, а квас, значит, холодный, чтоб зубы ныли,— весело поддакнул Злобин.

— Ах, духовитая,— приговаривал Михаил, суетясь руками над кружками, сухарями и рыбой.— Вот ведь ничего нет. Рыба только, соль да щепоть перца, а куда там. Она,

уха настоящая, и должна быть из рыбы одной. Это, что добавляют шуешь-муешь всякую, приправы там, крупу — от бедности. Хорошей рыбы поболее, да в одну юшку два, три раза заложить... И ничего не надо.

— Слышь-ко, Трофимыч, не год мы с тобой в тайге нужду хлебали, а вот не пойму, как ты мог такое надумать. С Сушкиным-то... Что он это мог. Ну, и его тоже надо...— Подкараулил-таки своим вопросом Михаил Злобина: мучило его темное дело — боялся за начальника.

Игорь долго поворачивался и нырнул взглядом Михаила прямо в глаза, в душу, в самую глубину.

— А как еще с ним можно? Пулю ему, гаду, если он,— без сомнения ответил, твердо.

— Вот,— обрадовался даже Михаил,— про то и разговор. Сам пойми, добра тебе хочу, потому сам от тебя добро помню. Да ты все знаешь. Речь не про то. Ведь не судья ты ему. К примеру это я, што ему или там кому другому. Чую, знаешь, не он это.

— А кто ж ему судья-то? — склонив голову набок, с прищуром взглянул Злобин.— А-а, кто?

— Да ты пойми. Ты не злися, не злися. Судья, конечно, каждый. И ты по-своему, и я по-своему, и любой. А над жизнью его никто не судья. Как такое дело на себя взять? Как с этим жить бы стал? Ну?

— А-а, ты вот про что. Ну да, слышал я. Слышал. Помню, как-то в Рязанской области в колхозе, учился когда, на картошку посылали... Так помню, там бабку одну зонник ограбил. Мразь. Там избы-то не закрывают на замок, а он забрался и двести рублей взял копейками. Тряпки. Хотя, не пойму, какие у старухи могли быть тряпки, чего там брать-то с пенсии в двадцать рублей? Так она, бедная, горевала, горевала и утешилась: мол, пусть лучше у нас украдут, чем мы украдем. Мудро. Как считаешь? Му-у-дро. Мудро, да не хлопотно. А он еще украдет и еще,— безжалостно и твердо вбивал слова Злобин.

— Ну-у, на то люди специально есть,— спокойно возразил Михаил.— Милиция, суд народный.

— Да. Понимаю. Им за это деньги платят. Ладно. Там,— Игорь неопределенно повел рукой на запад,— может быть. Здесь-то другое дело, Михаил Степанович. Здесь-то их нет, людей, которые специально. Здесь... вот она — мать родна — тайга-а. А ты знаешь, как по науке, по геоморфологии, ее определяют? Ты подожди. Понятно, ты и без меня и без всякой науки лучше знаешь, что она

есть такое, тайга-то. А я тебе все равно скажу. Тайга — не листвяки по распадам. Тайга — это необжитая или малообжитая труднодоступная, да еще местами — горная, местность в районах Сибири, Дальнего Востока или Севера. Вот так-то вот, — успокаиваясь и переходя на ровный почти тон, выговаривал Злобин, — тайга здесь и мы. Ты да я, да такие как мы с тобой. Если я не судья, да другой тоже увидит, а грех на душу не возьмет — и пойдет, и поедет. Дале-э-ко-о заедем. Люди без совести что хошь делать будут. Остановить-то некому.

Вот ты недавно рассказывал, как в перестрелку попали. Я понял, к чему ты это. Мол, пострадали, ну, или пострадать могли, — движением руки остановил Михаила Злобин, — все могли, ан разобрались — виноват один. Ты думаешь, и вывод только один — разбираться всегда надо прежде всего. Это точно. Не спорю. А вот скажи, нашелся бы такой, как я, и взял бы грех на себя. Один бы увидел да шлепнул гада, который на лабазе барахолил, а тень на всех бросил. Шлепнуть бы, да концы в воду. И все?! Кончилось. Нет больше зла никому. Я тех, кто на вас засаду устроил, не осуждаю. По таежному закону они правы. Да ты ведь понимаешь все. Как люди в последней надежде на лабаз приходят? Для них это последний шанс выжить, не погибнуть от холода и голода. Мы же с тобой сами... А-а-а. Что говорить... Вот и выходит: они правы, закон таежный справедлив, а из этой правоты могли невинные люди пострадать. Из-за одного гада.

— Ну, тебя, видать, не переспоришь, — примирительно вздохнул Михаил, осторожно разминая подсушенную у костра папиросу. — Только скажу тебе, сделал бы ты так с Сушкиным или там с кем, беда была бы. Потому как ты один судом быть хошь, а в народе говорят: ум — хорошо, два — лучше. Один ошибешься. А и не ошибешься... Вроде добро другим сделаешь, да про то никто и не знает. А ну как не надо им такого добра? Насильно ты им, выходит, хорошее дело сделал. Радости от этого не бывает никому. Потом еще. Человек — он разный бывает. Сегодня — злое сделал, а бывает — завтра доброе сделает. Как жизнь повернет. Ну, не все, не все. Я понимаю. Хорошо, однако, что все обошлось. Он, он, гля, плисочка. Как комаров его за ловит. Это надо, совсем людей не боится. Не, не он стрелял и не он. Случайность какая-то. Зарастет и забудется. И слава богу. И хорошо.

— Может быть, и хорошо, — тихо и задумчиво произ-

нес Злобин.— Как ты сказал, плисочка? На западе трясогузкой называют. Да, доверчивая к человеку птица, я тоже замечал. Ты никому не говори про эти дела, а то, случится что с Сушкиным... Наплетут и на меня телегу покажут.— И Злобин неприступно замолчал.

Костер притух. Задернулся серым чешуйчатым пеплом, и только одна, тальникового комля головня, тонко дымила вкусным дымком.

Тепло уже было, но комары, прибитые к земле предутренними заморозками, так и не поднялись, не досаждали.

Поели сытно, клонило задремать, но непривычно было дремать с утра, не намаявшись от работы, и потому мирно курили легкий для тайги табак «Беломорканала» и думали всяк о своем.

Злобин еще мысленно спорил с Михаилом и не соглашался с ним никак. Но ловил себя, что перебрал, и проверил всех, и все ни при чем, что надоело ему напряжение, страх; рад, что не нашел того человека.

Михаил недоволен был собой, понимал, что не смог доказать Игорю, что хотел. И думал, какими же словами можно сделать такое, где и у кого есть такие слова.

8

На противоположной стороне реки заколыхались верхушки кустов, и Злобин, резко выбросив руку к карабину, напряженно охватил пальцами цевье. Михаил, с недалежней думкой о свежем мясе, смотрел туда же: «Гля, не зверь ли какой?»

В естественный переливчатый шум воды странно вплелся чуждый звук жестяного ботала. Между кустами показался маленького роста человек и вывел за собой четырех навьюченных оленей, поводками связанных цугом. Он привязал передовика к кусту и спокойно сел, издали, через реку, поглядывая на Михаила с Игорем. И тут же, догоняя его, вышли с оленями еще двое.

Видно было сразу — это свои. Не вдруг разглядели их застиранные костюмы «хэбэ» и сапоги с потертой на сгибах до белесых ниток кирзой; но по тому, как сидела на них одежда, нисколько не мешая ходьбе, по брезентовым крупным заплаткам, а главное по усталому, но от привычки широкому точному шагу, узнал Злобин свою экспеди-

цию — землемеров-геодезистов. И уж потом дошло до Игоря, по неуловимому знакомому движению в походке, что это Юлька, его бригада.

— Михайло! Давай костер пали! Рыбу давай, чай! Я им плавиться помогу. Это Юлька Чунаев. Свой. Наши вы-ползли. Последние. Черт их дери! — засуетился Игорь, отыскивая топор.

— Юля! Мы плот вязать будем. Укладывайте шмутки. Развьючивайтесь, — крикнул Злобин на ту сторону.

— Стой. Не надо. У нас лодка есть. Сейчас надует, — отвечали ему.

— Ага. Понял, понял. Вот, Михаил, встретились. Это Чунаев. Я ж с ним учился вместе. Помнишь, рассказывал?

— Кто с ним еще-то? — вглядывался против солнца Михаил.

— Каюр. Эвенк. Незнакомый. Ну, я дровишек принесу, — торопясь, отвечал Игорь.

— А третий кто? Работяга-то? — шурился Михаил. Наморщив лоб и приоткрыв рот, он напряженно и трудно высматривал из-под руки.

— Третьего не разглядел. Кажется, тоже незнакомый.

Юльке Игорь был рад: и встретились в тайге, и был он свой, такой свой, с которым связывала не только теперешняя жизнь, эта работа, но и все, что осталось на западе. Там еще, в последний год учебы, сошлись они на коротке. С ним даже о трудностях можно было говорить то, что другому открыть и неловко, и унижительно.

Восторг встречи захватил Игоря. Не дожидаясь, пока Юлька причалит плотней, он шагнул в воду и не заметил, как перелилась она через голенища сапог в нагретое, в уютное, в сухое.

— Ну! Ха-ха. Живой? — Внимательно, тепло вникал Игорь в Юлькино лицо.

— Живой, — отвечал тот, смущаясь и отворачиваясь слегка.

— Ну, как ты? Работу сделали? — тревожно, приглушенно задал Игорь главный вопрос.

— Сделали, — облегченно и гордо отвечал Чунаев. — Ты как? Давно здесь?

Все это коротко, пока Игорь лодку хватал и поворачивал ее бортом к берегу, а потом обнялись и, похлопывая друг друга по спинам, похихотали еще, повсматрива-

лись. Но странными они сделались людьми — сразу вспомнили, что не одни. Застеснялись, посерьезнели.

— Вы где стоите? — спросил Игоря Юлька, поворачиваясь одновременно к подходившему Михаилу и улыбаясь еще широко, но руку протянул ему уже сдержанно. — Здорово. Жив? О, здоров и уже мало-мало откормился. Так где вы тут обосновались...

— Километра три ниже. Зимовьишко там. Борта ждем. А ты как сейчас думаешь? Оленей, груз — куда? — Игорь протянул Юльке папиросы.

— Вот хорошо, вот спасибо. У нас курево вчера кончилось. Как думаю? Каюра отпущу с оленями. Срок аренды кончился. К семье он торопится. Груз к зимовью на лодке сплавим.

— А, давай сначала все сюда. Груз, каюра, работягу. Чайку попьем, рыба есть, а потом разберемся, — быстро предложил Игорь, но проследив за взглядом друга, осекся.

В суете встречи один оставался невозмутимым и неподвижным — на другом берегу против них с пустой трубкой в зубах сидел на корточках маленький человек в летней камлейке. Злобин чуть не вздрогнул от его неподвижности и отрешенности — казалось, старик-эвенк не случайно сидит так, а знает, что уже было с ними со всеми и что будет впереди. И Злобин даже представил его каменное лицо и чуть насмешливые глаза, представил, хотя не мог видеть черты его лица сейчас и, вероятно, никогда не видел его раньше.

— Не-э-т. Каюр сюда через речку не пойдет. Он оленей не оставит. А мы чаевали недавно. Чуть только не дошли к вам вчера — ночевали рядом, — объяснил Юлька.

— Давайте тогда вот как, — солидно встрял в разговор Михаил, — вы издеся оставайтесь, — кивнул он Чунаеву, — а я на тую сторону и с грузом вниз.

— Вот добро, Михайло, вот спасибо. Вот так правильно будет, — искренне обрадовался Игорь, — только как ты один на той стороне погрузишься? Неловко и лодку держать и грузиться.

— А чего один? Не один. Пока там еще двое. Погрузимся. А каюр уйдет, двоим и сплывем и разгрузимся. Мне все едино туда надо. Лепешек принесть, острожку. Вон какую рыбину взяли. Гля. Еще попытать надо. Порыбачим здесь с начальником. Да? — уставил на Злобина проницательный настойчивый взгляд Михаил. — Ну, пока.

Чаю на базе оставалось немного, но Игорь не пожалел заварки. Когда вода закипела, он отломил от плитки кусок чуть не вполовину рукоятки ножа, и прессованный чай забурлил, набухая и распадаясь. Пока он запаривался, Михаил был уже на той стороне.

— Все же зови рабочего-то, бригадника. Неудобно как-то. Пусть перекусит маленько,— кивнул Игорь Юльке.

— Ефим,— крикнул тот, вставая,— плыви чай пить.

— Нет. Не хочу. Я там. На месте,— ответил с другого берега низкий хриловатый голос, Злобину чем-то очень знакомый.

— Погоди-ка. Это какой же Ефим? Он у нас работал уже? — давя в себе еще неясное волнение, спросил Игорь.

— Ну да. Этой весной опять пришел. Я в поле вылетал поздно. Никого уже на базе не было, вот его и взял,— вяло ответил Юлька.

— Ты вроде как жалеешь, что взял? — с усмешкой спросил Игорь.— Ну, и как он у тебя поработал?

— Да не очень. Поначалу совсем без интереса, потом получше. Не подарок, в общем. Это не то, что твой Михаил. Характер у него...— неопределенно повертел пальцами Юлька,— а что он тебе? Знаешь его, что ли?

— Нет. Так я. Ничего,— потихоньку соврал зачем-то Злобин. Неясное еще что-то, но дремучее, нехорошее услужливо доставала его память, заставляла возвращаться к этому имени — Ефим.

Он знал его.

— Чего задумался? Чаю обещал. Давай. Я мяса вареного захватил,— и виновато, и испытующе, и дружелюбно сказал Юлька.

— Да, да. Садись. Извини,— предложил Игорь,— вот рыба, чай. Бери. Отъедайся. Отдыхай, твой сезон кончился,— грустно добавил Злобин.

Последние Юлькины дни, видно, были тяжелы. Он был худ с лица. Его прищуренные немигающие глаза лихорадочно блестели. Такой малоподвижный от усталости взгляд был Игорю знаком слишком хорошо; и шевельнулось в Злобине нежное сочувствие к товарищу, щедро и честно выложившему сейчас в тайге столько сил, что не осталось их как следует порадоваться встрече. Злобину думалось, что осенью лучше приходить вот так, как сейчас пришел Юлька, не сразу к жене или родственникам, потому что они не поймут. Эту усталую опустошенность

примут за холодность отчуждения, неохоту говорить, за нежелание, а таких вот глаз — тревожных, напряженно прищуренных — будут просто пугаться.

Бывало такое с Игорем, и он понимал — что-то похожее в Юльке происходит. Больше его не спрашивал. Так и беседовали они некоторое время — молча, но это было худо для Злобина, потому, что он опять споткнулся о знакомый голос и начал вспоминать свою встречу с Ефимом Курхановым.

Несколько лет назад, когда Игорь только окончил институт и, хотя перед учебой успел поработать порядком, прилетел на Север молодым специалистом, жил он в странном романтически-радостном тумане новизны и суеты. Перед первой своей экспедицией большие для него, непривычные события совершались в часы, в дни. Он не успевал их осмыслить, успевал только участвовать, как подсказывали старшие товарищи, его собственный опыт, чутье, и мечтал скорее попасть в тайгу — начать работать.

В сложной мешанине людей и грузов, которыми забит был маленький деревянный аэровокзал из-за нелетной погоды, он один, пожалуй, так активно не мирился с ожиданием. Если откуда-либо прорывался «борт» или куда-нибудь самолет выпускали, он бежал узнавать, прикидывал, когда можно будет лететь его бригаде.

Он был занят, но Ефима увидел и запомнил сразу. Среди колоритных фигур старателей-отпускников, среди «экспедишников», похмельных бичей, буйноватых освободившихся из заключения мужичков, на которых Злобин по молодости смотрел сурово, потому что были при нем полевая сумка с секретными документами и оружие — Ефим его внимание остановил.

Был он подвижно и бодро здоров; хотя и узкоплеч, но на вид очень силен; с черной большой, в крупных цыганских кольцах бородой с редкими яркими искрами сединок; был он уверенный в себе и в других. Из-под низковатого порезанного продольными морщинами лба глядели в упор такие пронзительно-веселые, отчаянные до жути синие глаза, что становилось страшно, уйти хотелось от этого человека, хотя глаза вроде бы и не пугали, только посмеивались. И на Злобина он взглянул так же. Игорь даже холодок ощутил. «С чего это я?» — задал он себе было вопрос, но тут Ефим подошел к нему.

«Здравствуй, начальник, — сказал он, ничуть не стесня-

ясь своего громкого низкого голоса,—летите в тайгу, а мыло или порошок стиральный захватить забыли? А? Стирать нечем будет—вши заедят,—ошарашил он Игоря вопросом.—Мы было так и улетели. Хэ, тоже. Хорошо, у нас начальник умный. Отпустил. Понял. Да ваш я, ваш. Тоже до Жиганска полечу. К твоим пока прибьюсь, как, против не имеешь?»

Игорь, польщенный тем, что может оказать покровительство, милостиво кивнул и тут же забыл про него, ибо неинтересен стал ему этот жуткий на вид дядя: мелка была забота, одолевавшая его.

Они не улетели в тот день, а Злобину не хотелось поступать как всем. Из застрывших экспедиционников большинство увозило свой груз в город, и только единицы оставались дежурить возле тюков и ящиков на всю зябкую ночь, рискуя быть завтра вялыми конкурентами в очереди.

Выход нашел его рабочий. Коренной якутский, из казачков, парень — Тимка. Дежурная в камере хранения, чернявая, со вкусными губами, лет двадцати пяти тетка, была подругой, как он сказал, его жены. Помещение хранилища было маленьким, и вещи принимали только у транзитных пассажиров, но Тимка обнадеживающе мигнул и буром ввинтился в толпу к хлипкому прилавку. О чем он беседовал со своей знакомой, Игорь догадывался: не серьезный вился там разговор — они всего-то раз и взглянули в сторону злобинской бригады, и то рикошетом; но Тимка явился гордый и сказал, что деваха согласна.

Когда сдавали они свои ящики, мешки, выючные оленьи сумины, набитые, обтерханные уже до них перекочевками рюкзаки, Игорь видел, как возле похаживал Ефим. Потом он с глаз пропал.

К Тимке-казачку ехали на такси. Дед, второй злобинский рабочий, с опаской показал в заднее окно машины и шепнул, что следом едет Ефим.

В сенцах он придержал Игоря за рукав и захлебывающимся шепотом в одну длинную очередь выдал, что видел, как Ефим украл из камеры хранения рюкзак, что за этим он специально прилетал — сделать, мол, дело, никто не знает, что он сейчас в городе.

— Почему там не сказал никому? — бросил ему Злобин.

— Боялся,— просто и обезоруживающе ответил дед.

Тимкин домишко из выбеленных до серебристости времен бревен, как и все в этом старом районе Якутска,

прятался за глухими заборами и сараями. Разбойное безлюдье было здесь, но Злобин не особенно переживал, потому что, хотя и не доверял до конца Тимке и не особенно надеялся на деда, был с документами и большими казенными деньгами не один. Утром еще в общежитии экспедиции присоединился к его бригаде студент-практикант, казавшийся Злобину парнем бывалым. Тем более было ему надежнее, что был практикант с ним в одних правах: ответственностью обложен — летел к своей бригаде пачальником.

Они еще только осматривались, привыкали в комнате. Тимка хозяйским жестом утвердил за ними две смежные комнатухи; объяснил, мол, жена с детьми уехала к старикам и переспать здесь до утра будет отлично.

Ефим постучал и дверь открыл сразу — уверенно, спокойно вошел: бросил к стенке рюкзак, на который никто, кроме Злобина, внимания не обратил.

Дед суетливо вытащил из своего мешка и выставил на стол добротную тяжелую серебряногорлую бутылку шампанского. Он жалко улыбался поджатым от испуга лицом, блудил глазами по щербатым беленым стенам.

Ефим осмотрел всех цепко и весело. Он вытянул из пиджака поллитровку спирта с тихого синего цвета надписью на этикетке — «питьевой» и со стуком приставил к шампанскому; также продолжая оглядывать всех, закурил дешевую куцую папироску. Злобин не мог потом понять, почему натянулась тогда тишина: знали ведь только дед и он?

Ефим враз бросил окурок, на середину комнаты пихнул рюкзак и, вынув из кармана маленький складень, резанул завязки. «Посмотрим, чево тут есть», — мигнул он Злобину.

Понял ли Игорь, что Ефим хочет повязать их круговой порукой, или что другое ему пришло в голову — вспомнить потом не мог. Скорее всего, думал, что с таким вот рюкзаком прилетел из отпуска с запада человек, заработавший трудные таежные деньги прошлым летом. Ярость, как дурной хмель, шибанула ему в голову и потопила там все ненужное сейчас: страх, осторожность, рассудок. Он теперь мог все.

Злобин напрягся, поставил ногу на рюкзак и, проталкивая слова сквозь стиснутые насмерть зубы, вцепился в Ефима побелевшими глазами: «Завязывай. И пошел... Назад отдай». Злоба корежила всего, ломала, и, чтобы хоть

немного успокоиться, он двинул в соседнюю комнату, рвя папиросы, закурил.

Сквозь тряскую дрожь бешенства пробились в сознание голоса — до Тимки первого дошло, и он спокойно требовал: «Ну, давай, вали! Шмутки для верности оставь. Я сам отнесу». Потом топот, сопение. Игорь было подумал, что Ефима выталкивают, но что-то было не так, и он прыгнул в комнату.

Курханов прижал Тимку в углу. Руки их были где-то у животов, зажаты плотно между ними обоими, на полу набухали под их ногами жирные вишневые капли. Дед стоял с открытым ртом, опустив плечи, а Славка-практикант хватался за узкий охотничий нож на боку.

Злобин опешил и на какие-то секунды остолбенел, пока не дошло до него,— как в лоб стукнуло,— какая неправимая беда может произойти. Он бросился к Ефиму и попытался оттащить его, но не мог даже с места сдвинуть. И тогда, в страхе, в ярости, не сознавая себя, сцепив железной хваткой ладони вместе, коротко и резко обрушил их ниже пуговицы восьмиклинной Ефимовой кепки, в место, где срастается шея с затылком.

Испугался он до тянущей боли под грудью, когда увидел неподвижного Ефима на полу. От стены отшатнулся Тимка, зажимая до кости, видимо, располосованную руку: «В живот хотел, падлюга» — прошелестел он белыми губами и тоже смолк, уставившись на недвижимое тело.

«Уби-и-ил! — И очень жалко стало ему своей, до сих пор такой простой и понятной жизни.— Все!» — сразу как-то опустошенно подумал он.

Дед первым снялся с места. Торопко просеменил к выходу во двор — никто и не попытался его остановить. Но он тут же вернулся и выплеснул на Ефима полное оцинкованное ведро ледяной колодезной воды. Тот зашевелился, мотая головой, привстал и, схватив рюкзак, ослепшим бугаем пошел на дверь. Отлегло у Игоря. Куда уж тут было его держать: шут с ним, пусть уходит.

До-о-лго потом все молчали. Даже по целой папиросе выкурили, и то молча.

Утром на аэровокзале Ефим подошел к Игорю как ни в чем не бывало. А Игорь бросил ему только одно слово: «Отдал?» И по тому, как тот на мгновение изменил выражение лица и утвердительно уронил: «Ну», Игорь по-

нял, что рюкзак вернулся к хозяину и что Курханов Ефим теперь враг ему смертельный.

Злобин взглянул на реку и отвернулся, так ярко она блестела. В костре неприятно-сладковато чадил рыба кости. Тайга вокруг звенела от тепла и тишины. «Ему ничего не скажу,— подумал о Юльке,— пусть меньше знает, пусть крепче спит».

— Мясо хорошее добыли. Жирный олень и не старый. Где это ты его? — вроде бы рассеянно спросил Игорь.

Юлька, расслабленно вытянув к костру погудывающие наработавшиеся ноги, блаженствовал после еды, глубоко затягивался папиросой. Отдыхал.

— Нет, это не я. Ефим убил.

— Неужто ты ему карабин доверяешь? — настороженно, вкрадчиво принизил голос Злобин.

— Малопулька у него. Своя. Промысловка. Хорошо-обьет, — мечтательно глядя в наивную голубизну просветлевшего неба и сладко выдыхая табачный дым, неторопливо выкладывал слова Юлька.

— Где же это ему повезло? В маршруте, что ли, на олешку-то наскочили? — Злобин отвернулся и прятал, приглушал в голосе тревогу.

— Наскочишь осенью, как же. Они сейчас откормились, осторожные. Я Фиму отпускал поохотиться. Там, ниже,— Юлька вяло махнул рукой вниз по Дыбе.— Мы подходили к речке, недели две, что ли, назад... Может, раньше. Нет, дней десять, двенадцать.

9

И проводив Юльку — один, и потом при Михаиле, Злобин лихорадочно ворошил прошлые и настоящие факты. Всегда загоняли они в тупик — нет дальше спокойной жизни, пока есть Курханов.

Но вскоре Игорь успокоился. Он устал. Устал и решил — будь все как будет.

Пора пришла возвращаться в зимовье: отсчитало торопливое время десятков дней. Скоро придет вертолет.

Переменной делалась погода. Устойчивая ясность горизонта нарушилась. Вдруг неожиданно насупливались Верхоянские гольцы темным отсветом надоблачного солнца. Чаше бродили по склонам и долинам резкие тени непропицаемых серых туч. Маятно томилась природа — осень умирала окончательно.

В зимовье жизнь вроде бы шла своим чередом, по тревожная печать временности уже скрепила все. Груз, снаряжение, личные вещи были положены так, что и пользоваться можно было самым необходимым, а сняться — в считанные минуты.

Михаил с Игорем задумали было у костерка чайку попить, но, переглянувшись, присели, перекурили только и, враз поднявшись, тоже стали укладываться.

Злобин работал сосредоточенно: со стороны — в свое ушел, в глубокое, заповедное, но так было наполовину. Он уже и убеждал себя, что не будет у него времени разобратся с Ефимом, и с охотой принимал эту отсрочку; но и приглядывался, прислушивался: понять хотел, что здесь без него было, что происходит сейчас.

Где-то на подходе к зимовью Теряк и Никита, а Ефим, наоборот, ушел вверх и в сторону по речке — сбежал мяса добыть, как будто не собирается со всеми стронуться, зимовать собрался.

Вникчиво Игорь словно процеживал движения, взгляды — до души докапывался, и иными минутами незнакомыми казались эти ясные, простые люди. Разобщила их дорога к дому: каждый уже там, переживает встречу. Михаилу, и тому до Злобина сейчас вроде бы дела нет, как забыл про него.

Злобин остановился, даже присел: «Вот сейчас надо сделать. Такого случая больше не будет. Не подставлять же лоб второй раз! А у Ефима, похоже, не задержится. Он-то бы возможность не упустил. Тут третьего нет».

Еще блуждало где-то за гранью реальности его решение, а руки привычно быстро и деловито снарядили магазин патронами, большой палец правой утопил под затвор последний патрон; и Злобин воровато оглянулся: никто не видел. Он прикрыл карабин лоскутом брезента и зашел в кусты. Метрах в сотне замаскировал оружие в густом стланнике и вернулся не замеченный никем.

Так, как задумал сделать Злобин, было единственно возможным. Идти все время за Ефимом нельзя. Если бы только раз Злобин увидел его между деревьями, только бы один раз прожег его спину взглядом, почувствовал бы тот опасность, насторожилось бы его тело. И в этом случае Игорь мог проиграть.

Он уже все решил. У него хватит ярости на это, а после он забудет те несколько минут, которые свяжет его

жизнь с этим человеком. И будет это справедливо. И никто не узнает. И потом он снова сможет стать прежним.

Еще Злобин думал, что все-таки трудно сделать то, что он решил. Вот если бы он защищал кого-то и все это не для себя... Теперь в его нездоровом уже, нервном мозгу возникали картины, когда сделать это было проще.

Сам он смерти не боялся сейчас, потому что внушил себе, если произойдет что-то иначе, то умрет он, Злобин, и умрет спокойно. Он думал, что умирать ему будет не страшно. Сначала сделается больно и, чтобы погасить боль, усилием воли он расслабится. Не будет биться, когда поймет, что спастись уже нельзя. Останется потерпеть до того момента, когда потеряется сознание, из которого перейдет он в сон без пробуждения.

Но нет, не так все должно кончиться. Не может он не вернуться: жена ждет. Разве после стольких мук не заслужила она, чтобы он был не только жив, но и спокоен, чтобы мог любить ее и думать только о ней.

Отношения с женой у Игоря складывались странно. Он, видимо, любил ее сильно с самого начала, только этого не понимал. Судьба ему легко подарила ее, и, наверное, поэтому он не признавался себе, что это подарок. У нее уже был ребенок, когда они познакомились. Злобин был молод, полон надежды, что настоящее и лучшее еще впереди. Нет, не потому, что боялся обременить себя, чаще думал он о другом. Он всегда ревновал ее к прошлому: к отцу ее ребенка, к самой девочке; к вещам даже, которые были свидетелями прошлых ее отношений, казавшихся Злобину низменными, оскорбляющими его любовь.

Жил он поэтому свободно, не связывал себя конечными обязательствами и ждал, когда охладает, когда сможет без нее обойтись. Вот тогда и надо решать трезво, только тогда это и возможно безошибочно.

Но решилось все не так, как он предполагал. Два года назад они поссорились, и Злобин улетел в экспедицию, не оставив надежды, что вернется. И она не дождалась. Только сам Игорь знает, как он об этом догадался. Спросил. Она призналась. После мук ревности и сомнений первым его ощущением было облегчение, мысль, что освобожден и не связан больше, но тут же понял, что любит ее безнадежно и совершившую, по его понятию, самое страшное предательство. Тут все и переменялось.

В том, казавшемся последним, разговоре она, до сих

пор молчаливо-робкая в выяснении их отношений, вдруг высказалась до конца. Игорь принял откровение. Открылась ему другая сторона ее жизни: ее неумелая, жалкая первая любовь, искромсанные обстоятельства чувства и испуганная, виноватая перед всеми жизнь позже.

Решил он, как всегда, твердо и бесповоротно. Они зарегистрировали брак, и он удочерил ее девочку. Игорь не знал еще, сумеет ли насовсем забыть ее прошлое, ее настоящую измену, но знал уже точно, что без этой женщины не сможет быть никогда.

Он принял самый простой, но и самый верный вариант: сам уйдет, чтобы все это видели, в другую сторону и вроде бы без оружия, а главное, появится потом еще несколько раз, будто и вовсе никуда не уходил. Потом заберет карабин и...

Злобин отпустил Ефима километра на четыре и поднялся на отдельно стоящий невысокий голец — «лоскут-гору». Отсюда не то что на четыре-пять, на все десять километров просматривалось вокруг.

Наверху он не ходил, а сразу лег, чтобы не видно было его снизу.

Первый злобинский каюр-эвенк, старый осторожный Иннокентий, преподавал науку, которая потом не раз спасала от голода. Главным в этой науке было терпение. Вторым — разум. Не превосходством оружия добывает эвенк зверя в тайге, а главным своим преимуществом — логикой мышления, чего у самого матерого зверя все-таки нет.

Перво-наперво он просмотрел через бинокль все мари: красноватую ровную тундру долин с отдельными желтыми колками лиственниц и яриковых кустов. Тревожного чувства не возникло — нигде не было чуждого тундре движения. Она была пуста.

Потом принялся за полоски кустов, которые местами тянулись по заболоченным, едва заметным ложбинам. Ручьи не ручьи, но и не болотца, а вот поди ж ты, как в пустыне в тундре — где скапливается текучая вода, собираются и деревца, и кустарники.

Склоны увалов были нещедро покрыты сочными зелеными пятнами кедрового стланика. Они, как узор маскировочного халата, несли в своем рисунке неожиданность и разнообразие. Между зеленью белели пятна мха-ягеля. Но и там, в этом хаотическом узоре, был свой порядок. По самым твердым и сухим местам пробивались ниточки

троп, которые веками выбивали копыта и лапы зверя. Тянулись они не как попало, а были кратчайшими расстояниями между пастбищами и водопоями, засадами и отстойными — где ветер сдувает гнус — местами.

Особенно в эти ниточки вглядывался Злобин: туда, где рвались они в пятнах кустарников.

Он увидел Ефима. Неожиданно далеко. Черный столбик. Даже не поверил себе — слишком маленький. Не евразка ли это замер, выслушивая свою сусличью опасность? Но нет. Это — человек. Сердце у Злобина вдруг сильно забилося — он сразу почувствовал, откуда погнало оно тугую кровь. Оно пульсировало. Мешало смотреть. Они были уже связаны, хотя Ефим этого еще не знал.

Вот теперь надо было не только смотреть, но и думать. Проще было бы, если бы это был зверь — медведь или сохатый. У них на уме вода, пища да гнус. Но и человека можно понять: что задумал, где его конечная цель.

Ефим шел по звериной тропе. Он хорошо, умно охотился. Ищет оленя, а олень сейчас скорее всего по тундровой мари за грибами бегают. Идет Фима над марями по вдоль увала, где больше чистых мест. Двигается к большой каменной плешине. Оттуда ему далеко будет вниз видно, а если оленя не найдет, он и это учел наверняка, дорогой куропаток поднимет. Погодя, выше, пойдет сокжой¹ караулить из засады у обширного ягельника.

Идет Ефим неторопко, часто останавливается, наверное, прислушивается. Осторожен.

Если сейчас Злобину с лоскут-горы вниз сбежать, то за полосой кустов его не видно будет. Потом по краю полосы можно быстро пойти, без опаски. Как раз успеть на увал подняться в том месте, где Ефим его никак не миует. По-умному получится: на ловца и зверь набегит.

Весь, до предела, напряжен сейчас Злобин. Кажется, видит он и слышит, как и где Ефим. Но это не половина даже дела. Еще следит он за временем и вспоминает, что видел сверху: где сейчас он сам — не заметно ли его откуда; сколько между ним и Ефимом времени, для кого-то из них последнего осталось. Но и это не все: как на охоте ни прикидывай, а всего не разочтешь — выиграет тот, кто первый увидит.

Наследить Игорю тоже нельзя. Это в городе след недолго держится, а здесь — на годы. Хитрость эту Злобин знает. Никто не докажет, где он ходил: ступает по твер-

¹ Сокжой — дикий олень.

дым выступам камней, по сырому красноватому мху с сухими травинками, по лапам стланика, а больше старается — по безлистым узловатым стволикам березки-ярника.

Движения Игоря правильны, он не рыщет, не останавливается, но мысли далеко. Он силится выкопать, намыть из глубин памяти веские литые крупницы истины, а если бы знал еще какой — нашел бы сразу. И временами удивляется на себя, усмехается горько и недобро: что ведет его так необратимо и точно? Страх за свою жизнь, месть, справедливость восстановить он хочет, зло похоронить; а может, автоматизм, привычка самоподчиняться решениям: решил — надо делать?

«Ну, вот и все,— приглядывается он,— здесь ждать». И опять кривится в усмешке только рот — глаза трезво и безжалостно фотографируют контуры кустов, ложбины и бугорки. «Что же все-таки ведет? — Отстраненно думает Злобин. — Жестокость. И все остальное вместе. Все правильно. Кому-то и жестоким приходится быть в этой жизни. Она такая. Ну, хватит», — оборвал себя Злобин и собрался, нацелился — лишнее всякое придавил.

Нёбо у него пересохло: шел и дышал открытым ртом, чтобы ничего не мешало слушать шорохи. И сейчас еще напряженнее смотрел и слушал.

Выиграл Злобин. Он первым увидел Ефима. Далеко увидел. Дыхание совсем затаил. Вскинул карабин и прицелился, как обычно, хотя так не стрелял еще никогда. Смотрел на цель, а видел, как палец плавно давит спусковую скобу. И не верил, что это все происходит с ним.

Ефим шел не сторожко, а совсем свободно: по сторонам не оглядывается, не прислушивается. Ближе и ближе он. Смотрит под ноги. След, что ли, выискал? Нет, не похоже. Под ногами Ефим не видел ничего: за камни задевал, наступал не туда — на хрусткое сапог часто ставил. Задумался. В себя ушел. И был он какой-то не такой, непривычный, мягкий какой-то.

«Что? Как? Улыбнулся?» — разглядел вдруг Злобин. Никогда он не видел его таким. Не мог он для Злобина быть мягким.

Игорь пропустил самый выгодный для выстрела момент. Руки устали держать карабин. Он опустил его безбоязненно: снова вскинуть и прицельно выстрелить — полторы секунды, больше не надо. «Пусть уж теперь совсем подойдет», — лизнул сухие губы Злобин.

Ефим был близко. Поднял голову. Страх — по нему,

как током дернуло — смысл улыбку. У куста — Злобин с карабином в руках. Палец на скобе спусковой, а глаза узкие, пустые, на него смотрят, а им, Ефимом Курхановым, совсем не интересуются. Своя малопулька у Ефима за плечом. Не достать. Горько он скривился. Безнадежно. Не для Злобина — своему чему-то.

Остановился Ефим... Еще лицо не расправилось от кривой улыбки, а страх, который его внезапно передернул, уже густой, цепенящий во всем теле потек. Но не видно, дошло до него, нет ли, что будет он сейчас слова говорить — последние.

— Ты чево, охотишься? Или меня ждешь? Потолковать желаешь? — как всегда, вроде бы полувесело-полупрезрительно говорит Ефим, и глаза уже отчаянную веселость, силу набирать стали, и голос. Но не тот. Не тот. — Ты што? С ума спятил? Чего молчишь? — сорвался Ефим — выдал страх свой.

Не слышит будто Злобин. Тяжелые руки свои поднять хочет. И трудно поднять, и знает, что сможет, не раздумывая, их вскинуть, засуетись сейчас Ефим «тозовку» с плеча сдергивать — навскидку в лоб его пулей повалит.

Застыл Ефим тоже, лицо неметь начало, бледнеет, доходит до него, что Злобин разговаривать не хочет, и глаза безнадежные — хотя и прищуренные, но прозрачные, бездумные глаза.

Все, сломался Ефим. Нечего ему говорить и незачем. Просто так он, не сознавая что, бормочет, чтобы молчание разрушить, оттянуть момент, когда вскинется винтовка. Старается спокойнее стоять, чтоб не спугнуть неподвижность злобинскую, а сам ищет: «Есть же выход... В кусты? Далеко. Винтовку из-за плеча? Не успеть...»

— Ты чего чудной какой-то? Чего надумал? Стрелять, что ли, в меня собрался? Эт за што же? За старое не с меня, а с тебя вроде должок, — настороженно и зло выговаривает он.

Игорь не слушает. Умом понимает, что надо было тогда, издавека... А теперь ждет чего-то. Руки-то готовы и сейчас, но в голове жар, бред больной, разброд: не похоже, что стрелял в него Ефим. Не может же Игорь не верить своим глазам: вот он стоит перед ним — другой, не опасный. Вертится в Игоревой голове какая-то золотая змейка. Назойливо вертится.

— Стой. Погоди. Понял я, чего ты хочешь, — голос

Ефима набирает полную силу. Может, вспомнил, каким он был, Ефим Курханов, прежде? Вот подобрался и готов ко всему. Или кажется это Злобину.

— Дело прошлое. Рюкзак тот отдал я. Понял? Кто старое помянет...—с надеждой вглядываясь в Злобина, сказал Ефим, но ничего на лице Игоря не отметил. И зло уже, неожиданно выплеснул рискованные слова:

— А стрелял в тебя не я! Сейчас бы я...

Не хотел отвечать Злобин, но усмехнулся недобро:

— Не ты? Откуда ж знаешь?

— Догадался. По тебе, по разговорам всяким,—на минуту сбился, забормотал униженно Ефим. Но не пошел он по этой скользкой дороге вранья:— Ну, я! Слышь, ты, я!— зло и легко, как самому себе открывался, выкрикнул Ефим.— Случайно. Вот щас только дошло. Окончательно. Ну? Выходил я на Дыбу. Охотился.— Сбавляя тон, грустнее, успокоенней выкладывал слова Ефим, не заботясь даже— дано ли ему договорить.— Думал — олень. Мелькнуло похоже так в кустах. Наугад и выстрелил через речку. Далеко стрелял-то. Померещилось потом — вроде человек мелькнул. Да людей-то кругом никаких нету — я знал, нету. А-а, чево говорить-то. Да пойми ты: ни к чему мне было в тебя... Пацан у меня объявился. Весной этой узнал... Шестой год ему пошел. Зажить хотел. Угломониться. Попробовать. Охотился когда, на том месте, о них думал. А как пальнул, ну нехорошо мне стало. Еще, помню, подумал — не судьба... Ну, гад буду, зачем мне.

Сбился, замолчал Ефим. Похоже, слов у него не было больше. А может, не умел сказать словами. Но глазами, обмякшим лицом он говорил еще — без жалости к себе, без надежды разжалобить Злобина. Вроде как рукой на все махнул, как не про себя.

Игорь все так же стоял — неподвижно, напряженно, караулил его движения. И отчужденность в нем осталась прежней, и пустота в глазах. Но он уже слушал. Давно. Не слова — интонацию, голос слушал. А потом молчание Ефима: смотрел и слушал уже внимательно. В молчании была суть — в терпении и отрешенности.

— Поворачивайся. Иди,— властно, в лицо прямо вбил Злобин ему последнее.

Ссутулившись, притянув голову к напряженным плечам, но без видимого страха повернулся Ефим. Постоял. И начал медленно уходить. Выстрела ждал. Ждал момента прыгнуть в кусты, чтобы и со смертельной раной по-

слать ответную пулю — и надеялся так ответить, и знал, что не успеет.

Всплыл в воспаленном злобинском мозгу сон, хотя тогда, проснувшись, он его не понимал. «Значит, за прошлое я ему мстить собрался. Так выходит. За себя только, за свою шкуру. Эдак не его — себя угроблю. Забыть-то я бы как раз и не сумел».

— Михаилу спасибо скажи. Ты его должник, — прошептал он деревянными бескровными губами широкой удалявшейся спине. — И я его должник по гроб. Тоже.

Не выдержал Ефим, оглянулся и как будто понял последние злобинские слова, а может, выражение лица уловил — побрел увереннее вниз, напрямик к спасительному зимовью, к людям, каждого из которых он раньше не очень-то рядом с собой ставил, да что там — большинство презирал, держал за низших, существующих для того, чтобы он жил как хотел. Но, оказывается, эти люди все вместе, как чувствовал он теперь, были его единственной защитой.

Игорь перекинул карабин в левую руку: приклад — под мышку, ложе на кисть наперевес и стал шарить папиросы. Несколько штук он испортил — пальцы дрожали.

Покурил Злобин, повел сумрачным взглядом по кустам вниз — Ефима видно не было; и, освободившись от напряжения, от нечеловеческой заботы, распрямился, вдохнул полной грудью и посмотрел выше.

Гольцы за распадком поднимались круто. По крутизне легко, без наклона вперед шагали матового самородного золота лиственницы. Вверх, вверх — волна за волной. И совсем высоко, перед линией снегов, редели.

По ложбинам еще пробивались вверх желтые клинья их строя, но на ровной крутизне, словно познав предел своей жизни в недоступной выси, стекали краснолиственными ручейками навстречу им кустарниковые березки ярника.

И казалось, там-то в этой буро-красно-желтой полосе и происходило самое сущее: лиственницы не отступали и настойчиво гибли, но выше подняться не могли.

А еще выше — холодно и прозрачно — то ли небо, то ли снега.

БОЛЬШАЯ НОЧЕВКА

Рассказ

Улахан Бом

Сумрачно смотрит многоголовый Улахан Бом в долину. Двенадцать навьюченных оленей, две собаки и четверо людей, то есть несколько почти невидимых точек ползут там, внизу.

Зачем? Куда? Разве весной можно подползать к Улахан Бому?

Все живое бежит сейчас отсюда. Да и летом редкий зверь взберется по ребру-отрогу на его острую хребтину, но, взглядевшись в темные, без мхов камни, в острые безжизненные пики, в леденящие душу стылые зрачки горных озер, уходит зверь в другие гольцы. Крут Улахан Бом, суров, неприступен, чужд легкой беззаботной жизни.

Люди же — полевая бригада геодезистов: начальник, двое рабочих, каюр — карабкались по плечам Большого Бома на его вершины, копошились там целыми днями и только на ночь суетливо сбегали вниз.

Караван

Река вздулась. Сверху, с отрога, на белом фоне наледи она кажется темной набухшей веной на усталой натруженной руке. Солнце из-за спины подсвечивает даль. Утро, и видится четко. Километрах в полутора выше спуска с отрога набухшее русло разветвляется на множество расходящихся и сходящихся ниточек. И не высматривая больше кругом, без особых раздумий всем понятно, что реку можно переходить только там. И опять, как уже много дней, не нужны слова, и опять караван молча продвигается к цели — с террасы вниз к реке.

В нескольких десятках метров впереди река облизывает высокую скалу — прижим, не пройти. Сухонький, в торбасах и с якутским узким ножом на опояске человечек, который тянул за повод передовика — первого в связке, самого умного и сильного оленя, стал забирать вправо, в сторону от реки. Надо обходить сопочку, которая выдвинувшейся скалой обрывается в реку.

Вон, только чуть больше километра, на широкой нале-

ди дробится река — рукой подать, а глазами, кажется, и совсем уже там, но справа вода одним мощным руслом бьет в скользкий камень, и караван уходит в противоположную от цели сторону. Рев воды отстает, и в безмолвии горного распадка становятся слышны неуместные здесь звуки жизни: жестяно брякает ботало на шее передовика, загнанно дышат олени, на пятнах теней ломко хрустит неоттаявший наст.

Выспалось за зиму якутское солнце и жарко греет теперь мокрые от пота спины людей и оленей. Уже заметно опустилось оно с зенита, но до сумерек еще далеко, а темной ночи и совсем не будет — чуть только утонет веселое светило за горизонтом и снова всплывет посмотреть, что творится на Улахан Боме. Но до этого у людей еще пройдет много быстротечных и остановившихся, спрессованных работой часов.

Трудно перебирая ногами, месят олени друг за другом тяжелый снег и уминают его в тропу. Связаны они не все сразу, а по четыре — чтобы можно было уставших впереди пропускать назад — и каждую связку ведет человек. Передовика направляет каюр-эвенк: даже в оседающем под тяжестью снега шагает он легко и пружинисто.

Вторую связку тянет, надежно намотав веревочный повод на руку, пожилой чернобородый мужчина с тяжелым и даже угрюмым взглядом.

Последним идет нехотя вразвалочку парень лет двадцати пяти. Он небрежно держит набухший от влаги узел на конце веревки.

В стороне и сзади — четвертый, прячет карту в полевую сумку, поправляет винтовку на плече и усталым шагом нагоняет приостановившийся караван.

На пути, под спуск с сопочки, старая завальная гарь. Обгорелые стволы лиственниц лежат как попало. Сверху казалось, что они реденько торчат из-под снега, но вблизи становится ясно — с оленями не пройти. Проваливаясь в рыхлом, подтаявшем снегу, караван сбивается в кучу. Люди молча отвязывают притороченные к выюкам топоры, снимают с них чехлы, и густая северная тишина резко вздрагивает от первых ударов.

Напряженно, расставив тонкие ноги, стоят под выюками олени. Их не пугают, не тревожат ни резкие взмахи, ни то глухие и вязкие, то звенящие сталью удары топоров — они устали. В их напряженности равнодушные ко всему, кроме тяжести на спине.

А люди рубят и рубят. Продвинутся на несколько шагов вперед и рубят снова. После первых ударов под обугленной поверхностью обнажается розоватая, блестящая на срезе, твердая древесина, и полуповаленный высохший ствол лиственницы начинает звенеть под ударами топора. Брызжут из-под отточенного лезвия острые сухие осколки дерева. Потом удары снова делаются глухими, потом и вовсе дребезжащими, слышится треск, и обрубленный ствол мягко ложится в снег или со стуком падает на другие листвяки. Чья-нибудь набрякшая красная рука сгоняет тыльной стороной ладони пот со лба и бровей, чтобы не заливало глаза, и все начинается сначала.

Замерло время. Тяжело дышат люди. Проходит век, в котором только топоры, гарь, лиственничные щепки и свинцовые руки с саднящими ладонями. Кажется, что кроме этого ничего не было раньше и ничего не будет впереди.

— Перекур,— хрипло выдавливает долгожданное слово начальник. С его лба тоже катится пот, рыжеватая борода потемнела от соленой влаги. Он облизывает губы сухим, шуршащим по небу языком.

Говорить никому не хочется.

Папиросы кончились несколько дней назад, и по кругу пошла старая газета, которую припас чернобородый.

Старик-каюр достает маленький, расшитый цветными лоскутиками и бисером мешочек из мягко выделанной оленьей кожи-ровдуги и осторожно сыплет махорку на бумажку, прикидывает и добавляет еще.

Чернобородый достает недавно сшитый из палаточного брезента кисетик и насыпает табак привычной экономной щепотью, враз, самую норму.

Парень вынимает из кармана махорку прямо в бумажной непрочной пачке, рассыпая крупички, долго свертывает сигарету.

Четвертый, он начальник, уже раскурил и в ладонях протягивает горящую спичку чернобородому. Потом оба они отворачиваются от парня, чтобы не видеть рассыпанную на снегу махорку, которой завтра, если они не найдут лабаз, может уже и не хватить.

— Прорубимся, перейдем реку, о-он там примерно должен быть лабаз. Продукты брать будем. Может, и папиросы там найдутся. Если, конечно, медведь не нашкодил. Там большую ночевку сделаем: отдохнем, подкормимся, одежду починим... Сутки на все — больше нельзя. Дней че-

рез десять сюда наши придут, строительная бригада. Один их каюр обратно пойдет, на базу. Сможет письма отнести.

Окончив говорить, рыжебородый внимательно оглядел своих людей, словно хотел убедиться — все ли его слушали и все ли поняли то, что он сказал; он глубоко затаился напоследок и первым выдернул из пенька свой топор.

Снова застыло время, только пот, топоры, щепы.

Люди с утра не ели, усталость сковывает их. И минутное, кажется, дело: развести костер, набить снегом чайник, выпить по кружке горячего, крепкого, сладкого чаю; да заметно, из последних сил уже стоят под выюками олени, устают без корма и они, а развьючить и завьючить их снова, это уже работа — многие десятки минут на нее уйдут. И не успеть тогда до сумерек перебрести реку, и нельзя остаться с оленями здесь: оголодают животные.

Большая ночевка

Перед сумерками караван выходит к наледи и все, не сговариваясь, садятся перекурить, чтобы набраться сил и решимости для переправы.

Старик сидит понуро, чем-то он похож на старую уставшую лошадь. Цigarка погасла в его руке — кажется, что он спит.

— О чем думаешь, старик? — на всякий случай спрашивает его рыжебородый.

— Моя сопсем, однако, старый — огонер. Шипка устал. Огонер думай нету... Моя отдыхать нада.

Конечно, утром воды должно быть меньше — ночью не тают снега и не питают реку, но здесь, на этой стороне, мох выгорел, кормить оленей нечем; и караван, ведомый верховым оленем, на котором цепко сидит каюр, устало бредет в сумеречную жуткую воду, которая, промыв лед, стремительно быстро расширяет и полирует свое ложе. Оставшиеся трое молча, как делали это уже множество раз этой весной, становятся в цепочку лицом к воде, кладут друг другу на плечи руки, насмерть впиваются пальцами в одежду и, ощупывая ногами скользкое дно, бредут через первый, самый трудный рукав.

На южном склоне террасы, куда с наледи поднялся караван, снег почти полностью стоял и обнажились глянце-
вый брусничник с темно-красными крупными прошлогодни-
ми ягодами — спасением для оголодавших в берлогах мед-
ведей, нежившие еще кустики багульника и белый пухлый
ягель — олений хлеб. Усталым олешкам не надо будет ко-
пытить, разгребать снег, добираясь до корма, — они быстро
наедятся.

Одного за другим их освобождали от вьюков и, на вся-
кий случай, привязывали; они коротко встряхивались, при-
слушивались к усталым мышцам, не верили, что освободи-
лись от груза, и встряхивались снова.

Когда привязали за повод короткий обрубок сырой ли-
ственницы последнему оленю и он, задрав голову, оторвал
этот чангай от земли и, стуча по нему ногами, ушел в мяг-
кий сумрак, зажгли костер.

Костер получился большой и не дымный, а жаркий, поч-
ти невидимый в белой ночи. Подвластный человеку огонь
многое менял вокруг: дикий зверь за несколько километ-
ров почуял его и знал — место занято смертельно опасным
конкурентом — надо обходить; олени отошли дальше и на-
чали кормиться вовсе безбоязненно; собаки мгновенно по-
няли — сегодня дом у людей здесь, охранять надо вокруг,
и прынули они от огня, чтобы не сбивать зрение и нюх.

Люди отогрелись, слегка обсушились, и для них нача-
лось самое быстротечное время в тайге — счастливое. Из
вьюка вытащили вторую — большую — палатку. Ее не ста-
вили уже много дней потому, что редко ночевали вместе:
всегда почти только двое шли с караваном, а двое других
работали в маршрутах налегке; и еще потому, что уставали
настолько, что все равно, как и где было спать, лишь бы
улечься, и к холодным коротким полубессонным ночевкам
уже привыкли. Достали и большой — на всех четверых —
котелок, припасенную оленью лопатку, которую теперь мож-
но будет не спеша сварить и неторопливо поесть сочного
горячего мяса. Старик в несколько минут вырубил подхо-
дящую жердь, воткнул толстый конец под камень, припод-
нял тонкий конец двумя рогатульками и повесил на этот
таган котелок с чистой сладкой ледниковой водой. И стал
костер очагом.

Теперь у них впереди целые сутки оседлой — теплой,
сытной, безопасной жизни. И будут они целые сутки, не
сознавая этого сами, счастливы, ибо счастье и бывает толь-
ко тогда, когда человек имеет мало, но когда это малое

и есть все необходимое; но счастья нет, когда человек имеет много, ибо тогда ему хочется еще чего-то, и мучится он, и теряет удовлетворенность, душевный покой, свободу. В других местах, в «жилухе», и через многие годы с тоской будут вспоминать они сухую палатку, мягкий спальный мешок, кружку дымного чая, горячего всегда, даже в промозглую стукотню дождя по брезенту; будут вспоминать тишину и чистоту вокруг, ясность и космический холод неба. И только тогда станет им понятно, что были они счастливы по-настоящему, и было им дано это судьбой потому, что они за счастье платили сполна. И тем, кому «повезло» с комфортом, кто имел много и жил чаще в долг, непонятна будет радость, что осветит глаза бывших таежных бродяг.

Пусть сумерки кончатся скоро: через час-два снова придет настоящий день — завтра не надо вставать рано. В белой якутской ночи зыбко плывет палатка, освещенная изнутри свечой. А в палатке заскорузлыми непослушными пальцами пишутся письма, которые потом, неведь когда, попадут в почтовый самолет. Самолет, дождавшись летной погоды, привезет надежды, отчаяние, радости: то есть самую сокровенную часть души этих усталых людей в город, в иную, совсем не похожую на их теперешнюю жизнь, где эти письма или начали ждать еще до того, как их написали, или, наоборот, терпеливо отложив до удобного места и свободного времени, станут равнодушно разрывать конверт.

Но до этого пройдет еще много бесконечных длинных суток. В этой бесконечности будет только тайга, работа и ожидание ответных писем.

Быстро отсчитало время короткие сутки отдыха: погас на южной террасе очаг, ветер разметал пепел кострища, и только стойкий запах дыма держался на земле и кустах. Четыре конверта, связанные в пакет на видном месте под ошкуренными листовенничными жердями лабаза, терпеливо ждали человека, который опустит их в ближайший голубой почтовый ящик за полторы сотни немереных каменных троп отсюда.

Недавние свежие и резкие запахи людей уберегли лабаз от разбойного медведя и шкодливой росомахи, но любопытный бурундук, не добравшись до сухарей и крупы, изгрыз вкусную пахучую бумагу и свалил пакет на землю. А че-

рез несколько суток бригадир геодезистов-строителей нашел эти письма. Они вымокли от талой земли, потом их, видимо, сушило солнце, а теперь снова окропил ледяной крупой весенний северный дождь. Конверты и во многих местах сами листки были прогрызены мелкими острыми зубами, и, перебрав их грубыми нечувствительными пальцами, бригадир решил взять еще один грех на свою многогрешную душу: поправить прогрызенные и полуразмытые места, переложить листки в новые конверты.

Письмо начальника

Здравствуй, Василий Кирилыч. Извини, что долго не писал — не было времени. В этом году подготовка к экспедиции была большой и суетливой, потом еще летели со всякими приключениями до полевой базы. Сейчас, слава богу, добрался до своего участка и начал работать. По весне, как всегда, тяжелей: еще не втянулись мои орлы в работу, не привыкли, да и я за зиму разнежился, а сроки самые жесткие. Я в этом году работаю на рекогносцировке — выбираю места для постройки геодезических знаков. Строители буквально наступают на пятки, приходится топиться.

В остальном все нормально. Рабочие, как и всякий год, подобрались разные, ведь кадровых у нас почти нет — сезонники. Один ничего, а второй так себе. В тайге человек — случайный. Обычная история. Я вижу, что он все прикидывает: кто да чего да сколько наработал, чтобы самому не перетрудиться. Ну, и сам понимаешь, что из этого выходит. Здесь так нельзя. Если он чего-нибудь не сделает, то обязательно это должен кто-нибудь из нас. Все вроде бы ясно, да что же поделаешь. Прогнать его? А куда он? Ведь пропадет. Я за ним потихонечку дорабатываю. Может, поймет постепенно. Хотя это вряд ли, но хоть что-то, хоть что-то да в нем может и перемениться. В общем, как-нибудь, а гнать жалко. Это, помнишь, моя старая теория: некуда его гнать. Попадет к таким же людям, и ничего не изменится, только вместо меня будет кто-то другой маяться.

Да, еще весной я узнал, что он недавно отбыл наказание. Сам ли виноват, или слабость проявил, и судьба так распорядилась, какое теперь это имеет значение. Важно, что сейчас он людей сторонится, ждет от них только плохого и видит только плохое. Замкнулся, и самому ему не

выбраться из этого круга. Жалко ведь. Зимой в городе станет бичом, пропнется и погибнет человек.

Терпение мое ты знаешь — удержу парня. Я его взял в тайгу, я за его судьбу и отвечаю. Должен же он понять в конце концов, на чем самостоятельная жизнь держится, должен привыкнуть к труду. Осенью, если все окончится благополучно, пристрою его на базе экспедиции возле себя. Ты не думай, он самостоятельно будет кормиться: с нами до осени хорошо заработает. Может, еще и станет на здоровые ноги человек.

Это я уже решил. Но сказать откровенно, меня удивляют такие люди. Как не поймут, что здесь надо жить по совести, со светлой открытой душой, работать со всеми наравне, даже помогать другому. Как не понимают...

Ведь даже без больших обид, без злодейского умысла — бывают такие моменты — здесь в горах руку вовремя не протяни... И нет человека. И толкать не надо, и камень на голову сваливать, а только руку не протянуть над пропастью. Или в маршруте: отошел я тихонько на десять шагов в сторону, нырнул в стланик и все. Он без меня в жилищу не выйдет. Заблудится и пропадет без всякого следа. Костей-то никогда не найдут. Так же и мне не помогут в трудную минуту, ежели я сволочь — тоже ведь пропасть могу.

Конечно, в конце концов, в любой жизни так, но здесь-то особенно видно: со злом в душе — людям гибель.

Ну, хватит об этом, однако.

Крепко мне повезло с каюром. Старик работающий, предельно честный. А уж сколько знает — тайге у него учусь.

Я здоров, только немного побаливают ноги в суставах. В прошлом году застудил, была такая история.

Красота кругом неопишутая. Вот уже сколько работаю, а наглядеться не могу. Каждую осень готов все бросить и уехать, но весной, когда возвращаются сюда птицы, снова тянет в тайгу. Снова хочется подышать запахом молодых лиственниц, половить в прозрачной воде хариусов и ленков, когда выдается свободный час, да и медвежатинки поесть — хотя, тебе сознаюсь, встречаться с этим зверем всегда боюсь — тоже очень хочется. Хочется, одним словом, пережить все это еще раз, всю тяжесть и прелесть и остро-ту.

Сейчас работаю в гольцах, на небольшом и мало кому известном хребте. Хребет очень мрачный и строгий, иногда, я бы сказал, даже угрюмый, но есть в этом какая-то при-

тягательная красота. Ты, если бы увидел все это, то перестал бы спрашивать, зачем я здесь торчу и гроблю свое здоровье.

Дело не только в деньгах... Тянет, в общем. Да и ребята, наша геодезическая полевая братия, мне очень нравятся. С некоторыми из них я учился еще на западе, но здесь они стали совсем другими. Осенью мы встречаемся в своем итээровском общежитии, как солдаты-ветераны после боев.

Может, поэтому я и не еду на туманный дымный запад-материк.

Этой осенью собираюсь в отпуск — надо провести жену. Она здесь не прижилась и в прошлом году улетела в Москву. Об этом расскажу при встрече. Как-то не люблю я все-таки писать письма.

Конечно, если буду на западе, то к тебе непременно заеду, и мы выпьем твоего кваску-медку — в лечебных, понятно, целях — и посидим, поговорим о жизни, помянем друзей. У тебя дома так тихо и спокойно всегда, а супруга такая хозяйственная и ласковая, что я чувствую себя как в раю и, как в раю, отдыхаю.

Ну, будь здоров.

Твой «непутевый» друг.

Письмо Михаила

Здравствуй, жена Настя. Я жив и здоров, чего и тебе от души желаю. Работаю ничего. Тайга, понятное дело. Твое письмо получил с месяц назад, когда еще в поселке был. Сразу отписать не решился — обдумывал, а потом послать нельзя стало, потому как мы из поселка ушли и работать в тайге зачали. А теперича до поселка боле полтора ста верст, а ежели идти — поболее недели.

Та работа, на какую меня звали зимой на их базу, закончилась удачно. Сколь обещали — заплатили. Остались довольны — ну я ж плотничать покуда не разучился. А мы ж дома сговаривались, что я, может, лето здесь прихвачу, ежели разузнаю и все путно, и решуся. Теперь летом из бригады уходить не буду, взялся работать до осени, до осени и отрублю. Что ты ни говори, а в тайге мне привычней. Ты уж, Настя, тем плотникам скажи, что на шабашку я не приеду. Это точно. Какого другого пускай находят.

Ничего. Налаживается наше дело. Пока, понятно, весна и тяжело, а потом будет полегче и деньги, так думаю, большие пойдут.

Ну, чево я летом сорвуся и полечу в Якутск, когда

здесь заработаю даже больше? Да не путное дело туда сюда летать — не люблю. А что тяжело, дак такое наше дело привычное, да и в тайге мне спокойней.

Опять же может в последний раз пошел и боле-то не придется, дак уж отбуду. А еще начальник мне пришелся по душе. Карахтеру чижелого, да только снаружи, для плохих людей. А сам работает — себя не жалеет и еще помочь другому норовит.

А вот было недавно. Вдвоем с ним ходили на гору. Влезли, а в верхах пуржит. Снег в глаза так и сеет. Я своим делом занялся: площадку отчистил, да камни сложил, да в них вешку таку поставил с флагом и с метелкой, чтобы, значит, с других гольцов было видать. А он своим делом занимался: азимуты мерил да записывал, рисовал. Не берегся, дак в глаза ему и надуло. Вниз сошли, а они у него опухли, слезы текут и вдаль ничего не видит, карту и то еле разбирает.

Вот я ему и рассказываю, где какая гора, где ключ, а где сама река поворот делает. Он в карту смотрит, потом вовсе без карты его повел. Мне не впервой. Поди киренгский я, с измальства охотничал. Наши олени-то верст на десять вперед ушли, но нашел их.

А не будь меня? Ну?

Настя, в зиму особо много ничего не заготовляй, потому как зимой поедем с тобой в отпуск. Пора отдохнуть да место присматривать, где станем век доживать, да работу надо по душе.

Покупателей пока не ищи ни на дом, ни на барахло — это пока не к спеху, да и поначалу все как следует обрешить надоть. Себя, смотри, блюди. Авось мужик не на гулянке, а в тайге горбит.

С соседями смирись, без меня они тебя сожрут и не скоротятся. Вот я приеду — разберуся с имя.

До свидания, Настя, твой супруг — Михайло Гаврилыч.

Письмо Димки

Здорово, Витюха, здорово, кент. Как живешь-можешь ты, я живу не очень. Зиму пробичевал ничего себе. Нашел в Якутске одного кента, Васькой звать. Он работал в кочегарке, там у него и я жил. Пока были деньги, мы с ним покейфовали добро, а потом я забичевал капитально и все до сапог пропил. Васька этот достал мне, дай бог ему здоровья, валенки и бушлат, и я попрыгал.

Месяц пахал рабочим в столовой. Потом бросил — это

не работа. До весны перекапывался ничего — в кочегарке тепло, народ не беспокоит. Шас по новой подался к экспедишникам. Знакомые бичи толковали, экспедиция вроде ничего, богатая — платят хорошо. Я вот и подался, но кажется мне, попал на этот раз, однако.

Шас, понял, работаем в гольцах. От поселка далеко — людей не видим. Культуры никакой. Приемника нету. Сломался.

Начальник, хоть сам мужик молодой, все больше молчит, все гонит и гонит. Сам не отдыхает и нам не дает, зараза. Ему-то, понял, отвечать, если не успеем работу выполнить или случится что, а я эти переживания в гробу видал. Я задарма гробиться не желаю. Второй работяга все к начальнику жмет. Мы таких активных там давили, помнишь? Наверное, жаден, гад, за деньгу из кожи лезет. Он тоже, понял, торопит, а шас сам, Витюха, знаешь — гнать ни к чему, здоровье из себя выгнать можно. Ха-ха. Весна — поганое время в гольцах, много не набегашь и опасно. Вот снега дотают, реки спадут, тайга подсохнет — и пошел процент выжимать.

Я чего, понял, не пойму — куда сейчас спешить-то, никого кругом нет, никто не гонит, сколько отдыхаешь — не знает. Зачем бегать?

На большую деньгу я не надеюсь. Скорей бы в этом месте кончить, да в поселок за продуктами, а там напишу заявление и уйду от них. А то и так сбегу. В поселке контора есть приисковая. Работы хватит: на полсотни меньше буду получать, да зато каждую ночь буду в палатке и в спальнике спать, есть три раза в день досыта, как человек. Можно устроиться на ближний участок и в поселке часто бывать. В поселке, сам понимаешь, кино, девочки в столовой — культура, одним словом. А в тайге ловить нечего.

Ну, бывай здоров, Витюха. Надо куда-то капитально якорь бросать да получать путевую специальность. С пьянкой, Витюха, завязывать надо, а то в запое поскандалишь и по новой срок схватишь. Я, понял, завязывать решил капитально. И тебе советую — это тоже не жизнь.

Если надыбал какое место, где можно хорошую деньгу зашибить, пиши, вместе двинем. Без деньги якорь не брошишь.

Ну, бывай. Привет твоим кентам от меня. Увидишь там своих, кланяйся нашим. Ха-ха. Это я шучу.

С приветом к тебе из далеких гольцов, Димка.

Четвертое письмо было коротким, и адрес на конверте совсем простым: ближайший поселок, да фамилия, да кому передать.

Письмо каюра

Здравствуй, старуха. Моя сопсем плохой, уставать шипко стал. Надо тебе июле кочевать на Большую Черную речку. Однако, будешь мала-мала помогать мне. Начальник хороший человек — тайга понимает. Говорит, работа шипко делать надо. Бросать сопсем не надо. Приходи, куда рисовал.

Ребятишки отдай Егору с старухой. Нако, до интерната у них пусть будет. Там хорошо. Кочуй, куда рисовал — ягель много. На базе скажи — большой начальник продукты даст, маленько патроны даст. Олешка шипко не вьючь. Маленько каждый вьючь. Иди маленько-тихонько.

Нако, вместе до осени кочевать будем. Начальник будем помогать, бросать не будем. Ходить будем — место будем смотреть, где орех много. Зимой хорошее место белковать придем.

Иннокентий.

Упорным старанием бывалого строителя письма, наконец, стали выглядеть прилично, листки были вложены в новые конверты, и на каждом одинаковым почерком были написаны разные адреса. Второй, молодой, каюр строителей положил письма к другим бумагам в надежную сумку из нерпичьей шкуры, привязал ее на верх вьюка и, связав свой десяток оленей, двинулся в поселок. Он торопился сделать эту ходку — бригадам нужны были продукты, гвозди, цемент — да многое. Но как ни спешил он, прошла еще целая неделя, пока тропа привела его к цели, и он опустил послания в голубой железный ящик.

И теперь уже не зря в короткие часы отдыха думали и начальник, и Михаил, и Димка о самой большой радости в тайге, о почтовом конверте, адресованном лично ему; о том, что где-то есть другая, кажущаяся сейчас легкой и заманчивой, жизнь и что он с ней связан...

А пока что вокруг была тайга, и жизнь в ней шла по законам хотя и суровым, но простым. В этом бытие они могли существовать только работой, которую надо успеть сделать любой ценой; и надеждой, что осенью эта работа кончится.

И лишь старый Иннокентий не ждал от осени отдыха.

Он жил, как жила сама тайга... Каждый день уставал и огорчался, и каждый день понемногу отдыхал и чему-то радовался, не накапливая изнурительной нервной усталости. Он был дома. В этом большом, даже ему, старику, не известном до конца, полном опасностей и неповторяющейся красоты доме, хозяином его делали труд и время, терпение и самое дорогое, чем стоит владеть на земле человеку в его короткой жизни — мудрость предков.

Большой Бом

Далеко видно сверху, так далеко, что люди и олени кажутся просто точками. И не различить — меньше мошки-мокреца. Давно ползают здесь эти мошки, а далеко ли ушли, много ли узнали? Все под серединой хребта. Разве по силам им жить в таком пространстве, где вечны только горы.

А тут еще разделились они. Длинная цепочка потянулась вверх по реке к самому истоку Ытыги, две отделились и затерялись в хаосе крупных каменистых россыпей. Воспользовался этим хитрый Бом — подстроил им ловушку; и к вечеру следующего дня, прикрывшись облаками, смотрел, что будет с ними — ждал, что сами они себя погубят.

До слияния трех ключей было еще несколько километров, а ущелье уже сузилось так, что не только оленям корм найти, но даже людям с палаткой разместиться было нелегко. Караван повернул назад, свернул через полдня в широкую долину одного из притоков и скрылся из глаз. Высокие лиственницы речной долины сомкнулись над ним — не найти.

Две четко видимые на снегу человеческие фигурки спустились по отрогу хребта на плоскогорье, изрезанное мелкими ручьями. Они долго с отчаянием вглядывались вниз. Начальник через бинокль просмотрел всю видимую часть долины, но никаких признаков каравана не нашел.

Димка уже привык к махорке и на лабазе папирос не брал. Он жадно, рассыпая искры и обжигаясь, курил трескучие крупички и узкими от напряжения и страха глазами смотрел вниз.

«Нет никого, начальник. Не пришли. Сюда с оленями и не пройти. Бросили нас, сволочи, — истерично-весело, тря-

ся головой и размахивая руками, запричитал Димка.— Или вообще утонули по дороге».

Начальник разминал папиросу, хотел что-то ответить, но только взглянул на Димку в упор, как еще не смотрел ни разу, давящим, безжалостным взглядом.

«Ты завел! Не найдем теперь оленей. С голоду подохнем! Разве отсюда до лабаза дойдем?» — визгливо, со страхом выкрикнул он, совсем уж потеряв себя.

Рыжебородый дунул в мундштук папиросы, желая выдуть табачную пыль, и ровный столбик табака вылетел в снег. Он старательно, не торопясь, явно задерживая движения, достал новую папиросу, раскурил, сильно затянувшись несколько раз, бросил ее в снег и зачем-то наступил ногой. Обернувшись, начальник еще раз посмотрел на Димку уже спокойней, жалостливо как-то, задумчиво поскреб рыжеватую жесткую бороду и, так ничего и не сказав, начал осторожно спускаться по скользкому крутому склону.

Внизу из трех близко сходящихся узких каньонов с ревом вырывалась вода, гул отражался эхом от шести почти отвесных скалистых стен и заглушал все звуки — был только большой шум, что на языке каюра и звучало как Улахан Бом. На карте, старой и неточной, это место было изображено широким и ровным, поэтому и назначили здесь встречу и еще потому, что только до этого места могло хватить продуктов начальнику с Димкой — на себе много ли унесешь по таким скалистым гребням. Но пока что, спускаясь, они видели край ровной наледи ниже каньонов и слышали гул воды, ворочающей камни, рвущей лед.

Насупившись, оглядывал предгорья Улахан Бом. За поворотом, у нижнего края наледи, дымил древесной гнилью и сырым мхом, чтобы было его видно и в светлый день, костер; издалека виднелись три, связанные вместе, жердинки с белым лоскутком записки и мешочком вареной оленины под запиской. Ытыга быстро тащила, перекидывала по камням белого верхового оленя Иннокентия — свою кровную добычу, а сам каюр наспех сушился у маленького жаркого костерка в затишке за большими скалами.

Потом Улахан Бом видел, как упорно двигалась цепочка черных точек: одиннадцать навьюченных оленей, четыре человека и две собаки, в нижней части долины его реки.

БЫСТРАЯ ВОДА

Рассказ

Топограф Миша Громаков воскресным утром делал тонкую работу: штормовку свою экспедиционную к грибному сезону латал. Но не спокойно, нервно — немного поругался с женой.

Ну, что же она в самом-то деле? Теперь весна, скоро птицы с юга в холодные края птенцов выводить тронутся. Перелетные. И она знает прекрасно, что в это время у него тоска. Ностальгия называется. Тут его не трогай неделю, две. И тянет и сосет душу. Ведь десять лет он в экспедициях отработал. На самом-то Крайнем Севере — де-ся-а-ть.

Вчера у них гости были — самые близкие друзья из самых дальних краев — после отпуска, проездом, с теплого моря домой возвращались: и был грех, выпил Мишка. Ну, а как же? Понемногу красного столового вина под хорошее мясное блюдо? Он, Миша-то, вообще себе редко позволяет, но даже когда и позволит, то аккуратно, а потом сразу по-матросски «в койку» и засопел. Спокойный всегда.

Проводил вчера Громаков гостей до самолета, все тихо-мирно. Нет же, Настя с утра ни с чего начала: «Ведь ты понимать должен, Миша. Зарплата у меня маленькая. А почему я все паспортисткой, все в том жэкэо работаю? Для тебя ведь, Мишенька. Чтоб возле дома, чтобы — рядом. И продукты куплю, и уберусь. И еды тебе наготовлю. Ну, скажи: плохо я тебя кормлю? Не глаженный, не обстиранный, не обштопанный, что ли, ты у меня ходишь?»

И дальше, и пошла... Женщина она рослая и в здоровой силе — говорит спокойно, но очень долго и одно и то же. У нас, мол, трудности. Квартира кооперативная, мебель старая, холодильник невместительный, телевизор не цветной — какие могут быть гости и такси? Костюм, мол, тебе надо. А на черта он ему, костюм-то? Был бы холостой — надо, а теперь и двухлетней давности сойдет. Друзья в старом примут. Не по одежке... Ну, на работу, конечно, надо аккуратно — Миша как-никак старший техник в изыскательском институте (коллектив там, кстати, хороший, а все не экспедиционная братва) — да ведь не праздник же, на работу.

Не в этом, однако, дело. Ее только послушать, эту Настю,— «трудное время». У нее легкого времени не бывает.

С утра начали разговаривать спокойно, но как-то незаметно все громче и громче. Думает Мишка: «А пошел-ка ты, Громаков, пройтись, куда подальше. А то здесь договоришься до греха: жену гулять пошлешь. Тетки сейчас серьезные, своими правами умеют пользоваться — полная эмансипация».

На улице вот-вот весна. Вдоль березовой аллеи, по кронам, будто дым темно-зеленый — почки набухли. Воздух звонкий, солнечный.

Дом, где Громаковы живут, в новостройках. Грязюка вокруг... А Михайле горя мало — две пары сухих носков в резиновые сапожки сорок четвертого размера пододел — прелесть как хорошо. Захотелось одному побыть, двинул себе на речку. Вокруг домов сухопопынным пустырем, свалками прошелся, и речка — вот она — понесло болотным запахом берегов и мазутным духом автобазы от воды.

Возле ста-а-ринного — когда-то здесь не городской микрорайон, колхозик маленький был — мостика остановился. Между опорами вишнево-красного, замшелого местами кирпича речка суживалась, а над потоком одна только стальная двутавровая балка осталась. Сегодня вода была почти чистая — воскресенье, предприятия не работали — и неслась эта мутноватая весенняя вода, быстрая как сама жизнь, куда — неведомо. Надолго загляделся Громаков. О чем думалось ему? Да разве может это кто-либо сказать? Но скорее всего, надо полагать, о том, что все течет, все изменяется и в одну и ту же реку дважды войти нельзя.

И уже не эту городскую речонку видел он, а северную, горную, с шугой и с холодными брызгами, с бешеной быстрой водой. Сколько он их перебродил? Были такие, что до него и названия не имели.

Но, однако... Слева от бывшего колхозного моста на отмели стоял белый эмалированный бидон с крышкой — вполне новый. Так как сейчас Миша был в настроении послепраздничном, он тут же подумал: «С чем эта посудина, зачем это здесь бидон? А-а, во-о-т оно что».

На другом берегу пауком-сеткой, которая у рыбаков малявочником называется, рыбачил мальчик. «Малец еще,— Громаков подумал,— а уже хитрит. В мутной воде рыбу-то ловит. А ведь когда-то и я, черт возьми, пацаном вот так же на Москве-реке. Эх, и интересно ему поди сей-

час. Про все забыл. Самостоятельный, видать, мальчишечка».

Мальчик, однако, не сильно увлекался ловом. Он несколько раз взглянул в сторону Мишки и, свернув свой сачок, ловко перебежал на его сторону.

«Вот они, современные детишки,— без всякого удовольствия подумал Громаков,— беспокоится, что дядя его паршивый бидон свистнет».

— Ну, что, ловец,— произнес он уже вслух,— попадается рыбка-то?

Мальчишечка настороженно, но вежливо глянул на Михаила.

— Попадается. Показать? — доверчиво вдруг предложил он. Маятно ему тоже одному, что ли, было?

Рыбок оказалось четыре.

— Да не над... не надо, упустишь еще,— всерьез проникаясь уважением к его труду, забеспокоился Михайло.

Тон громаковского голоса мальчишечку расположил.

— Вы здесь просто так? Гуляете? — ласково как-то спросил он.

— Н-н-да-а,— неопределенно повел плечами Громаков.

— Ну половите, если хочется. Только в этом месте плохо. Надо во-о-н туда,— махнул он рукой выше и на противоположный берег.

Здесь следует сказать, что Громаков растерялся. Мальчишечка оказался для него неожиданным. Он-то думал, что современные мальчишки, пусть не такая послевоенная шпана, как был сам Мишка и его сверстники, но вообще-то не почтительные. Вон, под его окном, школьники,— вечно крик, визг. Дверью хлопают — Громаковы, они на первом этаже живут,— а выйдешь сказать, в сердцах рявкнешь на них, так, наглецы, ничего не боятся. Постарше которые, так и того хуже. Ты им — слово, они тебе — сто. Аж страшно, бывают такие здоровые «акселераты», что, думается, и в зубы могут двинуть.

А тут мальчишечка — хороший, уважительный.

— Ну-у, не надо уж, как я туда... — внимательно глядя на протянутый сачок, бормотал Громаков.

— По этой железке. Она широкая. Не шатается. Вот я сейчас перебегу,— и мальчик спокойно перешел на другую сторону. — Ну, идите. Идите, идите.

— Голова закружится у меня. Я не могу... сегодня.

— Вы не бойтесь. Тут все проходили,— мальчик подумал и добавил,— тыщу раз. Мишка только один сорвался.

Ничего. Вылез, во-о-н там. Намок немножко. И все. Здесь не глубоко. Вот так,— он приставил руку к середине груди.— Ну, идите,— поощрял он и успокаивал.

— Не-э, я... Лови уж сам. Я туда не пойду. Плохо с головой. Закружится с...— старательно отбирая слова, оправдывался Мишка.

— Ну, ладно,— примирительно сказал мальчик,— ловите здесь.

Он подул на свои красные от холодной сырости руки и, съжившись, запрятал их в коротковатые рукава серенького поношенного пальтеца.

Лучше бы не говорил мальчик Громакову таких слов на речке в воскресенье: «Вы не бойтесь. Тут все проходили».

Лучше бы не говорил.

Всю неделю не шла проклятая речка из ностальгической Мишкиной головы. Уж на что утром в автобусе стиснут, а он, вместо того чтобы раздражаться, толкаться, глаза закроет и видит быструю-быструю воду. И до того досмотрелся, что полезла ему всякая мысль в голову блажная. Думал он, думал, а спроси его та же Настя: «О чем?» — не сумел бы объяснить.

В конце недели случилось с нашим Громаковым такое происшествие, после которого твердохарактерная Настя долго будет приходить на работу с заплаканными глазами, а сам Михаил...

Ну, да вот как оно было.

В пятницу издалека пахнуло на Громакова талым снежным запахом якутской горной реки. И открылось ему...

Там Громаков был другим. Он был собран и суров. Задачи ему ставила не Настя, а начальник экспедиции. И не полированный гарнитур потребить из Дома мебели цель была, а обеспечить фронт работ трем полевым бригадам. Впереди пройти.

Другие у него тогда были мысли; не такие, как сейчас, он слова произносил: «голец, неприкосновенный запас, любой ценой». Вспомнились они сейчас Громакову и, как возвышенные фразы хоральной музыки, вливались в ослабленное городской легкой жизнью тело, пробуждая в нем забытую силу.

Почему такое случилось с Мишей сейчас? Да потому, наверное, что он вспомнил — не впервые не смог он перейти быструю реку.

А в первый раз...

Все взвешивалось и так, и эдак, но подходило к одному: делать многодневный маршрут надо налегке, а главный риск в том, что базовый лагерь пилоты выбросят без громаковской бригады, в месте, известном Мише только приблизительно — условно намеченном на карте. Вернуться, указать точное, скорректированное место посадки пилотам нельзя будет — горючего не хватит; а бригада, выполняя работу, будет двигаться к лагерю своим ходом.

В эти четверо суток Громаков и его ребята спали урывками, по два, три часа, но сделали все удачно. Всю работу. И хотя продукты экономили, питались впроголодь, были в настроении приподнятом — еще несли с собой несколько горстей манной крупы, банку сгущенного молока и банку тушеной говядины.

До предполагаемого лагеря оставалось пять километров, или, по-хорошему, часа два ходу. И тогда Громаков согласился со своими рабочими Борисом и Васькой — не нашел в себе сил настоять на своем — разрешил доесть продукты. Правда, скребло у него на сердце: впереди на карте значилась маленькая ниточка ручейка. Как шилом она колола — весна! Там не воробьиный ручей может быть, а поток.

Он ошибся на полкилометра. Сразу через сорок минут пути от того места, где уничтожили «НЗ», они напоролись на полноводную, ревущую дурной весенней водой реку. В водяной пыли над ней чудилась радуга, и за несколько метров от берега обдавало холодом талой воды ледников.

«Я же чувствовал», — подумал Громаков, но не сказал ничего вслух — торжествовать в своем providении было не над кем.

«Ну, все, приехали», — вырвалось у Васьки, и он один мог сказать это злорадно, потому что смолчал, когда окончательно решали — доедать или не доедать неприкосновенный запас.

В двадцати метрах от веселой яростной реки они долго и пасмурно курили. Но ждать было нечего: вокруг звенели тишиной северные горы — не было людей, не было помощи. Совещаться тоже особо было ни к чему: все знали — время работает против них, с каждым голодным часом, с каждым голодным днем силы будут убывать. И ох как обидно бы-

ло: рядом, на той стороне реки в лагере продуктов не меньше, чем на полтора месяца лежит себе без всякого, даже самого малого употребления.

Громаков вспомнил сейчас ясно — ярость реки передавалась им. Да, такими они были в молодое свое время. Они таранили препятствия тем неудержимее, чем безнадежнее были обстоятельства. И не от отчаяния — от светлой человеческой силы.

Первым поднялся Борис — он особенно охотно поедал час назад несоленую манную кашу без жиров и, видимо, чувствовал себя виноватым в первую голову.

У них были ледовые кошки и веревка — фал капроновый. Но, сделав два десятка попыток перекинуть веревку с привязанными, вместо якоря, на конце кошками и зацепиться за другой берег, поняли — выход не в этом.

Тогда Васька, сделав на груди обвязку по правилам осторожной альпинистской техники, торопясь и даже не заглянув им в глаза, а было бы ему так спокойнее, надежнее, сунул Громакову в руки свободный конец веревки — свою жизнь.

Его сбило через четыре шага. После третьей попытки они вытащили его волоком — ноги у Васьки задубели и встать сам он уже не смог. Но во всех троих вселился уже тот самый азарт, который толкает людей даже за последнюю черту — черту жизни.

Борис был тяжелее и выше Васьки. Он прошел шесть шагов. Семь шагов. Восемь... После третьего раза, даже опираясь на плечи Васьки и Громакова, он долго дрожал и валился с ног. Его тошнило.

И опять яростно курили. Трещал табак. Взглядывали друг на друга отчаянно, но весело.

— Ничо! Придумаем. От разлилась, зараза! — цепко оглядывая берег, твердил многомудрый и настырный Васька.

— Без суеты, ребята, только без суеты, — сам же подрагивая от нетерпения и холода, останавливал Борис.

Рассудил тогда Громаков. Четко, ясно, окончательно: «Я вверх. Посмотрю там. Вы — вниз. Может, где лесину найдем и место узкое, чтоб перекинуть». Надежды на это, правда, было мало. Какая уж лесина в гольцах: по речке кусты были и то не очень-то высокие.

И ничего не вышло. Не было лесины. Не было узкого места.

Правда, Громаков нашел... Обломок скалы перегора-

живал две трети речки. До скалы можно было добраться — под их берегом течение не быстрое. И на обломок взобраться можно. Страшное — дальше.

Главный поток рвался между обломком скалы, на котором теперь стоял Громаков, и другим берегом, тоже скалистым. Это был даже не поток, а белая от пузырьков воздуха тугая струя воды. Временами она светлела до голубоватой прозрачности, и видно было дно — призрачные, голубовато-черные спины валунов.

«Ну, сколько тут? Глубины полметра, метр, ну, чуть больше. Ниже груди. Правда, попадешь между камнями — конец. Ширина — семь. Ну, восемь, девять. Надо прыгнуть. Всей тяжестью своей, с высоты, пробить воду до дна; оттолкнуться, прыгнуть и в берег вцепиться. Можно. Ну, можно ведь, — уговаривал он себя. — Перетащу веревку, а по ней...»

Ваське и Борису предложение Громакова твердо не понравилось. Уперлись они отчаянно — не хотелось им терять начальника. По очереди слазили на обломок: смотрели, прикидывали, думали. «Нет», — было их ответом. «Нет», — с экспертной безапелляционностью.

Они верили в то, что говорили, а Васька даже показывал, как Громакова собьет, вот там протащит, вон о тот камень ударит, и если веревка не порежется о камень, выдержит, и они, мол, удержат, то метров тридцать ниже вытянут его измочаленный труп. Борис молчал, но кивал согласно и уверенно.

А Громаков не соглашался, не верил им. До мелочей в его воображении рисовалось, как он прыгнет, пробьет тугую воду, оттолкнется от каменистого дна и насмерть прилипнет к береговому уступу.

— Ну, смотри, чудак ты человек, — убеждал его снова Васька, — вот давай полезем вместе, сбросим камень. Ну?

— Давай, — решил Громаков.

Камень как-то без шума коснулся воды. Всплеска тоже не было: упал будто на бешено несущуюся выскую ленту транспортера и, медленно погружаясь, удалился.

Железным был тогда человеком Громаков.

— Вася, то ж камень, — говорил он горячо и убежденно. — Он весит двадцать кило, а я восемьдесят. Восемьдесят. В общем, так делаем: выхода другого нету, начальник я, пробую я. Ничего не измочалит. Ну, если и собьет — вытащите. Пошли за веревкой. Это я вас не прошу, ребята — приказываю.

Но и Вася стоял на своем — предлагал сбросить камень хотя бы и в центнер весом. Оно и верно, камень не человек — попробовать лучше лишний раз на нем.

Он не прыгнул. Отложил. До утра. А тремя километрами с половиной выше они нашли снежный мост и переползли по нему. С веревкой, очень осторожно — мостик был очень уж тоненький — но переползли.

И все бы на этом кончилось, если бы, как Васька и Борис, поверил тогда Громаков, что его наверняка соьет и утопит.

А он не поверил, но и не прыгнул.

И лет прошло уже более пяти, но такой чудной человек этот Громаков Миша — тот случай важнейшее, видимо, для него дело. Ехал в автобусе и думал: «Чего я тогда не прыгнул? Сейчас по рельсу вот не прошел? Э, да не раньше ли все это началось? Самый-то первый раз надо считать с комсомольского собрания».

Да, чуть было не запаматовал Миша. Было, было. В третий год его работы на Севере.

Сокурсник Миши, служака-парень, компанейский заводила Васин подал заявление в комсомол. Дело сложное, серьезное дело. К нему вопросы могли быть: почему раньше не вступал, а только теперь, когда комсомольского возраста два года осталось? Васин готовился: к приятелю Мише пришел «репетировать», что и как спрашивать могут, что и как отвечать.

Вот Миша его и спросил: «А чего ты, в самом деле, в школе или в техникуме не вступил-то?» Васин говорит, мол, раньше жизнь у меня была легкая там, на Западе — ничего особенного совершить не мог. Говорит, считал, что не заслужил.

Ну, Миша его и спрашивает: «А теперь зачем? Считаешь, что теперь заслуживаешь? Что-то я не замечаю. Ты и здесь на работе не переломился. Вон в прошлом сезоне задание сделать не успел: помогали тебе другие бригады. Они свое перевыполнили в полтора раза, да еще на твоём объекте по морозам вкалывали. Это как? Им что, в жилуху, в тепло, домой не хотелось?»

Замаялся Васин, сник было. «Ну,— говорит,— как же, почти все в комсомоле, а я нет. Знаешь, какую-то неполноценность ощущаю». Миша ему: «Это ты брось. Ты о самом главном говори». Васин подумал и продолжает: «Здесь трудности. Проверил себя: могу так сказать. И вообще, хочу быть в первых рядах».

Громаков ему тогда, Миша, прямо и рубанул: «Вкалывать можешь лучше всех и не в рядах, а хочешь ты — слабо. Я уже тебе сказал на это: не видно пока твоего хотения».

Васин уже злиться начал, прошелся по комнате, на Мишу взглянул искоса и говорит: «Вот в этом все и дело. Я стараюсь, да... Не по силам мне полевая работа: эти комары, холод, сырость... А вот чувствую, что на руководящей должности бы мог. Головой большую пользу мог бы принести: замечаю в себе организаторские способности. Для начала бы в начальники партии, а там... Пойдет. Хочу быть начальником партии».

— Ну и будь,— презрительно бросил ему тогда Громаков.

— Да вот боюсь, как бы не было это самое препятствием.

— Что не было бы препятствием? — выводил его на свет божий Миша.

— Как же. В начальники партии двинут самого достойного. А про меня могут подумать: в свое время в комсомол принимали лучших — а ты где был? — рассуждал Васин.

— Ах, вот в чем дело. Так и говори — не вступаешь, а пролезть хочешь. Я на собрании против буду.

— Да черт с тобой. Кто тебе поверит-то? Это ведь все твои предположения. Да я пошутил... наполовину.— Спокойно и трезво осадил его Васин.

И не стало у Громакова приятеля.

Но на собрании Мишка молчал. Действительно, что говорить, как доказывать, что не свято это для Васина, что пролезает он просто-напросто? А может, пусть: воспитают его в рядах, поймет? Оглядывал он море голов в зале, вслушивался в гулкий шум и раздумывал, сомневался, колебался.

И как-то вдруг до него дошло, наконец, что надо встать и сказать свои слова, да поздно дошло — руки уже подняли. А Мишка вяло воздержался.

«Да ведь я и на берегу не прыгнул тогда потому, что боя...»

Но стоп. Тут Громаков даже про себя не договорил. Замолчал. Вспомнил, что иногда он такие штуки совершал — у других полчасика коленки дрожали и глаза от страха круглыми становились. Нет, еще не весь он кончился — Громаков Миша.

Прямо из автобуса пошел Громаков к разрушенному мосту, где манил его неделю назад мальчик перейти через быструю воду. Пошел торопливо, без раздумий, хотя уже и не день был, а серый вечер...

Мишка с просветленными глазами, мокрый и дрожащий от холода, прошмыгнул в дверь квартиры, а оттуда сразу на кухню к любимой жене. Запах тины и сточной воды, видимо, напрочь перебил густой ленивый дух свежих бараньих щей, потому как Настя к Мише сразу обернулась. Громаков радостно и немного глупо улыбался.

«Как же тебе не стыдно,— непохоже на себя взвизгнула жена.— Четыре вечера ходишь неизвестно где, являешься затемно, а я для тебя кручусь. Да ты пьян никак? Валялся где-то. На кого ты похож? Посмотри на себя в зеркало».

Миша губы сразу сжал, отчужденно нахмурился и скрылся в ванной комнате.

Он открыл краны и прямо в одежде, чтобы не натекало на мозанчный кафельный пол, улегся в теплую воду.

«Ну, все, конец, кранты, хватит,— возбужденно думал он.— Жизни молодой осталось с хренову душу, а я тряпками запасаюсь: моль кормить. Все. Как хочет. Уеду. Опять туда. Один уеду. Пу-у-сть... Ей же спокойней. А чего ей? Хорошие деньги буду присылать: пусть бегаёт, покупает, что хочет. А я здесь... наелся. Не для меня. Все».

Спустя некоторое продолжительное время он успокоился вполне и, выйдя к жене, сказал так негромко и вежливо, с таким умиротворенным взглядом: «Настя, я на Север уеду. Обратно. Здесь не могу. Понял окончательно. Устроюсь — напишу. Захочешь — приезжай. Завтра подам заявление на увольнение и в родную экспедицию телеграмму отправлю», — что она сначала окаменела, потом обмякла, и глаза ее наполнились растерянными слезами.

А Громаков, взглядевшись в ее лицо, угадал вдруг в ней прежнюю Настю, ту, которая понравилась ему с первого взгляда, которая потом каждую осень встречала его с полевых работ, ту Настю, которая любила его и крепко ждала.

И понял Громаков — она к нему скоро приедет.

БАЛЛАСТ

Рассказ

Монотонный шум большого города менялся. Зимнюю приглушенность все чаще взламывали галочки всплески и людские голоса — это весеннее тепло согревало кровь и зарождало в ней ожидание чего-то радостного, сильного, непонятного.

И однажды, будто прямо из звонкой заморозной ночи, высоко поднялось громадное багряное солнце. Днем снег постарел и сразу на глазах начал оседать. Обнажая сор и пыль, быстро свертывались холодные одежды зимы — вдоль тротуаров ручьи ворчливо уносили окурки и мазутные пятна.

Кончилась в этот день зима и для Вути. Он жаднопил бодрый весенний воздух. Смута в его душе переродилась в ясное желание — он хотел подняться на вершину. На Чанчахи-Хох.

Горы любят стройных, а за последние три года Вутя и станом огруз, и внутренне обленился. Но теперь тоска по той далекой вершине, мальчишеская мечта, позвали его властно. Он почувствовал в себе прежнюю силу и резкость. Сегодня он понял, что если не этим летом, то уже никогда не взойти ему по скалистой стене на Чанчахи-Хох. Прилипчивые текущие дела не смогли удержать на месте его взбудораженное девяностокилограммовое тело — он двинулся к другу, к Саше, к Мрачному Дылде.

Поднимался Вутя без лифта: выбрасывал руку вперед, хватался за перила, рывком подтягивался, и на лестничных площадках взрывался его мощный, с придыханием шепот: «Помнит он, помнит! Не мог он забыть ее. Я сам не одну и повыше, и посложнее сделал, а ведь не забыл... Чанчахи-Хох! Не забыл ее, заветную».

В замочную скважину двери была воткнута записка: «Ушел в магазин. Буду через пятнадцать минут».

В нетерпении, дошедшем до озноба, Вутя спустился на лифте. И только выскочив из подъезда, спохватился, спросил себя: «Зачем? Куда бегу? Со стороны кто посмотрит — сумасшедший!» Он решил на полную силу включить внутреннее внушение, чтобы успокоиться хотя бы на эти пятнадцать минут. В сквере за домом поставил портфель на скамейку, привалился к нему спиной, расслабился.

Для них с Сашей горы по-настоящему начались не с увлекательных теоретических занятий в городском альпинистском клубе, а на Кавказе, в том далеком году, когда они оба в один день загляделись на Чанчахи-Хох. Гордой и неприступной увиделась им Чанчахи из долины. Ее снежная вершина казалась почти прозрачной на фоне светлого синего высокогорного неба. Сама мысль, что можно подняться и быть там, на ее хрустальных призрачных склонах, казалась фантастикой, мечтой, для смертного неосуществимой. Но люди к вершине уходили, и люди с нее возвращались.

В тех, кто уходил туда, не замечалось ничего необыкновенного, кроме разве упрямой уверенности, да еще, вернувшись, они мало говорили о горах, и только сдержанно, уважительно.

А бойких новичков осторожно водили через однообразные морены¹, муштровали на утомительных каменистых гребнях, с неусыпным инструкторским доглядом тащили по простеньким ледовым полям. А тем, кто бунтовал, требовал серьезного восхождения, повторяли и повторяли: «Рано!»

Сейчас Вутя думал, как незаметно каждый новый маршрут, каждый шаг на предвершинном гребне поднимал их над безоглядным себялюбивым мальчишеством туда, где мужество и ответственность переставали быть словами, а делались обыденной необходимостью; и как это незаметно, но бесповоротно меняло их жизнь, входило в них навсегда, делалось привычкой.

Уже тогда, в первом альпинистском лагере на Кавказе, добродушный, неуклюжий с виду Витюша Селезнев и стал для друзей просто Вутей. Он до самозабвения любил купаться под водопадами: приседал, крикал и выгибал спину под холодной струей совсем как утка и, вдобавок к этому, за обедом много и быстро, почти не жуя, ел.

Первое время он не догадывался, за что его прозвали Вуткой. Когда узнал, стал сердиться, потому что водопады для него были святым делом — он их страстно «коллекционировал», считая себя единственным собирателем; и остался он Вутей только для самых близких.

¹ Морена — скопление обломков горных пород, образуемое передвижением ледников.

Ветер лизнул влажные редкие Вутины волосы и заходил кожу. Он посмотрел на часы — время будто остановилось, не прошло и десяти минут.

«Черт побери! Надо же ему было смотаться именно в такой момент». Вутя запахнул пальто плотнее, передвинул портфель под руку и снова внушил себе, что ждать надо спокойно.

Лето за летом они фанатично изыскивали возможности и возвращались в горы. В каждом маршруте, на каждом восхождении, почти всегда в одной связке рубили они ступени во льду, вбивали в трещины звенящие скальные крючья, навешивали веревки и упорно шли наверх, приобретая опыт и мастерство восходителей.

Вутя и не заметил, как худощавый, молчаливый от юношеской застенчивости Саша так вырос, что привык наклонять голову вниз, когда заглядывал ему в лицо. И наверное от того, что на склонах вперед и вверх Саша чаще стал смотреть исподлобья, на лбу у него прорезались глубокие продольные морщины. Молчуном все эти годы он так и оставался. В затяжных маршрутах за него многое успевали сказать другие, а он больше слушал, хмурился и поглядывал то с усмешкой, а то и угрюмовато-сосредоточенно. То ли он передумывал все по-своему, то ли долго и трудно подбирал слова, но говорить ему чаще выпадало последним — твердо, как бы подводя итог. И, наверное, за это умение выслушать всех, найти единственное решение и сказать даже самое горькое прямо, его прозвали пусть и не ласково, но романтично — Мрачным Дылдой.

Вутя вспомнил, как на высотных восхождениях, за линией, где организм начинает бороться с горной болезнью, когда не оставалось сил и падали самые выносливые, Саша размеренно и безостановочно продолжал и продолжал работать и только выглядел более угрюмым. Его чаще стали назначать старшим группы — он эту ответственность заработал.

Вот чего не мог вспомнить Вутя, так это чтобы Саша сделал не так, как сказал: «Да, да. Он мужик надежный. Слово свое держал!»

Как-то зимой в праздничной компании Вутя азартно доказывал, что мастерство альпиниста не только слагаемое сильной команды, восхождение — это не зряшний труд и не пустой спортивный риск ради призового места. Когда волевое усилие побеждало ослабшее тело и осторожный разум, вершины достигала душа. В эти мгновения наркоз-

ная высокогорная усталость проходила, и Вуте открывалось, что восхождение — атака на самого себя, победа над тем в себе, что предпочло бы комфорт и безопасность лишениям, привычную инертность — движению. Только в таких вот атаках, безжалостно погоняя вперед свои способности и возможности, человек и может приучить себя дотягиваться до самых малодоступных духовных высот и в каждодневной жизни, независимо от того, ученый ли он, художник или плотник.

И еще, кажется, Вутя говорил о том, что альпинизм обязывает быть правдивым: если на разборе скрыть ошибку или поступок, выявивший леность, корысть, эгоизм, физическую слабость — человек может такой поступок повторить. А это, рано или поздно, в зависимости от сложности обстоятельств, неизбежно приведет к гибели. Горы слабостей не прощают.

Саша ни с кем не спорил, он только смотрел на Вутю одобряюще и грустно кивал головой. В тот день они решили, что следующий маршрут сделают на Чанчахи и обязательно вместе.

«Сколько же прошло? Ну да, три года. Даже чуть больше. Саша за эти три, нет, четыре сезона не только на Кавказе успел походить. А может, у него сейчас уже другая вершина стала заветной? Есть ведь такие, на которые никто еще не поднимался, например».

Рядом с Вутиной скамейкой остановился парень. Он повернулся спиной к ветру и щелкнул зажигалкой.

«У вас закурить не найдется?» — машинально спросил его Вутя и виновато спохватился. Три дня назад он жестко решил ограничивать себя двумя-тремя сигаретами в день, но тягостным ему сделалось сейчас одиночество: в таком состоянии, да молчать, да ждать друга — устал. Уловив его неуверенность, парень посмотрел откровенно недовольно, но, оценив мощь Вутиных плечей и ручищ, порывлся в кармане, молча протянул ему сигарету и поднес горящую. Теперь уж Вуте неловко стало отказаться, он прикурил и... Поблагодарил удаляющуюся спину.

В то лето они так и не поднялись на свою гору. А ведь так все удачно складывалось... Чанчахи включили в соревнование на первенство спортобщества, их с Сашей группа уже лагеря по вожаделенному маршруту организовывала. В верхний, последний перед вершиной лагерь поднимались второй раз — продукты под стеной накапливали.

В середине спуска от верхнего склада, на гребне, Вутя

сорвался. Сжавшись в немом крике, как парашютист в свободном падении, он скользнул вниз.

Но он шел в связке, и его напарник успел накинуть веревку на загнанный в плотный снег ледоруб... Накинуть и, отбросившись по склону, придержать своим весом. Пролетев метра четыре, Вутя повис. Все бы обошлось, если бы не цепь случайностей: если бы он смог сразу зацепиться за скалу и его не раскачивало бы маятником, если бы не перекинулся прочный, но ранимый капрон через острое, как нож, ребро камня, если бы выдержал полторы-две минуты.

«О чем я тогда думал? Да, вот... Надежды не было. Правильно. Подумал: ну, еще раз веревка по камню пошла, если острый, сейчас перережется. И успел про себя сказать: неужели здесь... Глупо...»

На перепаде, в трещине, избитое о выступы Вутино тело задержалось. Саша спустился к нему первым, ощупал друга и увидел его глаза — в них была тоска, с которой опоздавший человек провожает поезд, еще не веря вполне, что уходит он без него.

Вутя лежал не двигаясь. Через некоторое время вся группа спустилась к нему.

Саша по привычке не торопился, он ждал, что скажут другие, чтобы поставить точку на внесении разумных предложений и начать действовать. Но все молчали. После резкого спуска опять предстоял подъем на гребень, и никто уже не был уверен, что сможет после этого без ночевки дойти до нижних палаток. Даже налегке, если не нести Вутю, сил, казалось, не хватит.

И Вутя был обречен этим молчанием и отчетливо понимал это.

— Саш, что думать-то? Вы в порядке и дойдете. До спасателей я продержусь. Вам все равно без носилок и троса меня не стащить. Сам я шевелиться не могу. В спине боль.

Вутя был прав. Так чаще всего и поступали. Так надо было сделать, чтобы заплатить горам дешевле — не рисковать всеми, а только одной Вутиной жизнью. Но, по составленному ценой многих трагедий закону, кто-то должен был остаться с ним. Один, самый выносливый: привычный к холоду, бессоннице, стойкий к высоте.

— Ты, Вутя, помолчи. Свое сказал, теперь береги силы.— Саша придвинулся и чуть наклонился над ним.— На-

счет позвоночника ты сочинил. Это боль туда отдает: У тебя ребро, ну... два поломаны. Я же надавливал. Остальное — ушибы. А позвоночник — сомнительно. Цел он, скорее всего. Но на всякий случай мы тебя в спальник запомним и к палаточным стойкам репшнуром примотаем. Зафиксируем.

Саша уже вполне отдышался, говорил спокойно и даже мягко, без всегдашней суровости.

— А вот спасателей здесь не дожидаться — видишь, погода портится? — Тут Саша повернулся к ребятам и каждому внимательно и твердо посмотрел в глаза. — Если даже они и выйдут сразу, то не найдут тебя, потому что из нас никто не поднимется второй раз. Сил не хватит. — Он умолк, а после паузы, исподлобья взглянув в сторону далекой вершины, сказал уже резко, как всегда говорил руководитель группы, Мрачный Дылда. — Не тот случай, старик, чтобы оставаться. Уходить надо всем. И быстро.

Погода действительно стала резко ухудшаться. Хорошо еще, что окончательно она испортилась, когда они уже вышли на последнее, не очень-то круто падающее к нижнему лагерю плечо. Свистящий ветер колючей снежной пылью резал глаза. Температура упала до минус десяти — пятнадцати градусов. И здесь, как и большую часть пути, друга тащил Саша.

И шел он на ярости, на том резерве, что находят некоторые люди уже за гранью физических сил, которых сейчас даже у него, у Мрачного Дылды, не хватало. Он не заметил, как обморозился, и это стоило ему двух пальцев на левой руке, а перед самым лагерем он упал и полз, автоматически, на привычке подчиняться поданной последним усилием воли команде. С короткими передышками он продвигался метр за метром, и подтягивал за собой спеленутое тело друга.

И полз он, пока не наткнулся на палатки, где у них была портативная радиостанция. Место это, помимо группы, знали многие. ~

Следующим летом они работали на разных тропках. Саша по-прежнему торил дорогу вверх, а Виктор Николаевич Селезнев стал начальником контрольно-спасательной службы в одном из восточных ущелий Северного Кавказа. Для него, после травмы позвоночника, физические нагрузки года на три были исключены.

В тот год он понял и принял еще одну истину: горы

нужны для того, чтобы человек помнил — он смертен, и жизнь ему дана единожды — быстротечная; чтобы он умел выбирать главные дела и не откладывал их на потом: ты есть сегодня и уже сегодня у тебя может не быть завтра.

Угол дома закрыл солнце, Вутя давно сидел в тени. Он продрог и, посмотрев на часы, спохватился: прошло уже около получаса.

Взбежав на площадку, Вутя нетерпеливо надавливал кнопку звонка.

Саша знал, кто мог звонить ему так бесцеремонно, но все-таки шел к двери не торопясь. По дороге он даже оставил, пнул под кушетку аккуратный моток силоновой веревки — там глухо звякнуло. Кто-то из «преходящих» брал посмотреть крючья или шлямбуры, а обратно положил как попало — не перевязал сверток.

В его одинокой квартире устоялся четкий бивуачный порядок. Дома он бывал редко — зарабатывал свой хлеб в горах: зимой инструктором у горнолыжников, а в другое время — свободное от восхождений — водил туристов. Восстанавливать порядок после веселых набегов альпинистской братии стало для него настолько привычным, что он эту работу не всегда и замечал. А вот сегодня...

Сегодня, во-первых, была такая суббота, когда с самого утра захотелось побыть одному; во-вторых, ему вспомнилась Чанчахи, Вутя; а в-третьих, опять настойчиво посетили его — это с самого-то утра — одноклубники и просили возглавить их группу. Да не куда-нибудь, а на эту самую Чанчахи-Хох.

«Они-то почему хотят идти именно на Чанчахи? — думал сейчас Саша. — Им-то что за дело до нее? Группа сильная. Да они интереснее могут сделать, сложнее. Вутя им, видишь ли, обуза. Не тренировался он, толстый... Только что испеченным второразрядникам Вутя — обуза! Да случись что, он любого из них вытащит. И ведь наглецы, уверены, что я без Вути на Чанчахи пойду. Наглецы. Ах, черт их дерит, у них нервы. Они переживают. Везде окурков насовали. Они тренируются, видишь ли, а курят по десятку сигарет в день. Вот, прямо под креслом и за подлокотник пепел стряхивали. Недогляди — квартиру спалят».

Вутя позвонил длинно, и рука Саши, задержавшаяся было в раздумье, наконец повернула ручку замка.

— Здравствуй, старик, уснул, что ли? — Крепко пожимая протянутую руку, Вутя скользнул взглядом по хмурому лицу друга — к месту ли он?

- Дремал,— туманно ответил Саша.
- Ты один? — осторожно спросил Вутя.
- Один,— буркнул Саша.— Проходи.
- Видок у тебя неухоженный,— озабоченно определил

Вутя.

За те несколько месяцев, что они не виделись, Саша не изменился, только немного похудел. Он был аккуратным холостяком, но стряпать не любил, а когда пребывал не в настроении, то и вовсе не готовил еду, перебивался как придется.

— Сейчас я, Саш, поесть сделаю.— Вутя решительно снял пиджак и широко открыл Сашин холодильник.

Дело было привычное. Способности кулинара передались ему, вероятно, с отцовской грузинской кровью.

— Что-нибудь новое появилось в кулинарной науке,— иронически бросил Дылда.— Хочешь на мне испытать? — мрачно добавил он.

— А что, откажешься? — удивленно вскинул брови Вутя.— Ты хорошо знаешь, что я еще никого не отравил.

— Ты же не обед приготовить зашел. Не хочу я есть,— равнодушно махнул рукой Саша. Не очень-то удобно ему было начинать неизбежный разговор о предстоящем лете за едой, приготовленной Вутей.

— Ничего. Не хочешь, так захочешь. Я к тебе, конечно, не суп варить пришел, но одно другому не мешает.— Движения Вутины были строги, уверенны и экономичны — они были профессиональны. Кулинарная суета помогла ему вновь придать голосу видимую беззаботность.— Я на спасаловке натренировался будь здоров. С районом лучше всего было разговаривать за хорошим столом. Район или колхоз, он не обязан формально нам помогать, хотя наши дела вроде бы всем нужны. Когда гости наезжали с устатку, двери спасателей, сам понимаешь, для них были открыты. Я принимал. Я угощал. Шашлык! Сациви! А про мое чахохбили люди знаешь, как говорят? «А-на-на. Вот ел я в прошлом году чахохбили, вот это было чахохбили!..» Э, брат, ты помидоры где-то достал!

— Принесли ребята,— сказал Саша равнодушно, а сам подумал, что эти непонятные весенние помидоры второразрядники принесли не только для того, чтобы удивить.— Тут забота с дальним прицелом. Задабривают. Дипломаты. Кило два, не меньше.— И ему окончательно расхотелось есть.

— Ну, куда этим летом собираешься? — Вутя ножом

разбивал над сковородкой яйца и выливал их на сморщенные дольки помидоров и шипящий в масле лук.— В альп-клубе разговоры идут: какие-то второразрядники на Чанчахи собираются. Не слышал?

— Слыхал, почему же,— без всякой интонации ответил Саша.

— Само дело в руки плывет. Давай возьмемся, поведем их, а? Или тебе это все уже не надо? Забыл. Может, тебе уже предлагали?

— Болтают они больше. Так, подумывают только. Заходили тут... Потрепались. Вскользь. Я не очень-то серьезно к их трепу отношусь.

— Ну? А я уж, грешным делом, думал, ты без меня договорился. Успел. Сюрприз приготовил... Давай сходим. Собирались ведь. А? Не забыл ее, нашу гору? Еще раз заглянут — соглашайся.

— Нет, Вутя. Я не забыл.— Саша раздумчиво наморщил лоб.— Я и рассчитывал: этим летом вместе... Как говорят, лето вместе на горе перезимуем. Ты осенью писал, что из спасслужбы уходить собираешься. Ушел? — уже твердо спросил Саша.— Значит, свободный. Чанчахи так Чанчахи. Собирайся потихоньку. Придумаем что-нибудь. Сходим.

— Да я уже давно... Готовлюсь.— Вутя выскочил в прихожую и внес свой безразмерный портфель, из которого, как последний рубль на прилавок, бросил на стол скальный крюк. Крюк подпрыгнул с пустым алюминиевым звонком.

Саша оживился, а когда взял его в руки, даже улыбнулся от удовольствия — таким воздушно-легким был металл. Он представил себе скальный маршрут Чанчахи-Хох, ее хитрые стены и мгновенно произвел подсчет. Если заменить стальные крюки такими, удалось бы уменьшить вес снаряжения не на один десяток килограммов. Ледорубы, молотки, продукты, веревки — здесь никуда не денешься. Но вот крюки...

— А ты времени не теряешь. Что за сплав? — бодро спросил Саша.

— Не знаю точно, как называется. Есть у меня приятель на одном экспериментальном заводике, подарил из отходов куски, которые уже никуда. Со свалки. Ну, я сам и сделал. Металл легкий, но обработка... Твердый и вязкий — жуть. Не ломается — пружинит, но и не плывет — не гнется, не рвется.

Саша вспомнил, как здоровался с Вутей: рука у того была здорово шершавой от мозолей, и спросил, сколько он таких может сделать еще?

— Понимаешь, тяжело достается этот материал. Готовых есть у меня десятка два. Еще столько же сделаю. Да что крюки, старик. Есть и еще некоторые мыслишки. Но пока — молчу.

Саша даже не заметил, как сел за стол. Закончил он тем, что хлебом зачистил сковородку досуха и, наклонив голову набок, все слушал Вутю. О Чанчахи он больше не напоминал, только сказал на прощанье, что с группой договорится сам и чтобы Вутя в это дело не вступал.

С того дня, как Вутя познакомился с группой, он замесался по городу, и никому не было от него покоя. Иногда Сашино упорное молчание вызывало в нем неясные сомнения, но он глушил их непрерывными заботами. Он не только сделал вместо обещанных двадцати — тридцать крюков, он сделал еще многое.

Однажды Вутя принес рюкзак с консервными банками и высыпал легкие, словно пустые, жестянки с этикеткой «мясо». У Саши в это время собралась почти вся группа. Все взвешивали банки в руках, катали их по полу и утихли только тогда, когда обиженные соседи постучали в стену.

Саша и сам очень удивился этому богатству. Он не то чтобы не знал про высушенный мясной фарш — пеммикан, он знал, чего стоило его достать: это было не просто и для самых ответственных восхождений.

— Как ты это добыл? — спросил он Вутю, не очень надеясь, правда, что и ему сделается доступным этот канал.

— Да все старые спасательские связи, — скромно ответил Вутя.

— Ну-у, ты дае-о-ошь, — восхитился любимец группы веселый, стройный парень — скалолаз, — может, еще и примус австрийский достанешь?

— Примус? Да у меня есть, — спокойно сказал Вутя. — Я сейчас еще один выколачиваю. Если и не навсегда мой будет, то на восхождение дадут. Это точно.

Через несколько дней Вутя принес сверток и сказал, что хочет сделать Саше подарок. В комнате за дымовой табачной завесой скрывались приверженцы Чанчахи, второразрядники — «преходящие», как называл их Мрачный Дылда.

Вутя снял бумагу, открыл жестяную упаковочную ко-

робку, и сухощавый парень в толстом пуховом свитере, стоявший у Вути за спиной, вместе с дымом выдохнул слово «Фебус».

— Нет, не возьму. Это ты брось. Ты же не волшебник, чтобы такие подарки делать. Это же австрийский — лучший в мире, и у тебя единственный, — серьезно и даже как-то печально сказал Саша. Он был не против «Фебуса» — подарок ему нравился. Ему не нравилось, что группа воспринимает это как подношение.

— Ну что ты, разве я последнее отдам. Нет. Я не такой. У меня теперь два. Так-то вот. Держи. — Вутя положил примус на пол и по-пижонски катнул его в сторону Саши ногой.

Отношение ребят к Вуте постепенно менялось, а после истории с примусом это стало заметнее. Они, видимо, свыклись с мыслью, что на Чанчахи-Хох его взять придется.

Хозяйственные способности Вути загипнотизировали группу. Он с легкостью чародея продолжал организовывать снаряжение и сумел настолько облегчить его вес, что если бы самого Вутю пришлось тащить наверх как балласт, то все равно ребятам теперь это было бы выгодно.

Весенний ветер подгонял дни к лету — до восхождения их оставалось все меньше и меньше, а забот у Вути прибавлялось, потому что многие из группы начали взваливать на него и свои дела. Он не отказывался, а они без стеснения принимали это как должное.

Саша мрачнел — ему не нравилось настроение ребят. Они считали, что Вутя покупает себе дорогу на Чанчахи, и молчаливо с этим соглашались.

Наконец, маршрут был утвержден: утрясены формальности в альпинистском клубе, согласовано все в спортивном обществе, закончены сборы и назначен день отъезда.

В то утро на диво громадные рюкзаки приплыли на аэровокзал. Людей под рюкзаками почти не было видно.

Когда Саша подходил к стойке регистрации билетов, его встретила лавина хохота.

— Мужики, главный рюкзак пришел! — весело выкрикнул стройный скалолаз и прыгнул навстречу Саше. Пригнувшись под рюкзаком, он торжественно обошел вокруг и, подперев днище плечом, помог стянуть лямки.

Вути еще не было. Он, как и всегда в эти последние дни, опаздывал.

Появился он внезапно и совсем не от входной двери. Хохот раскатился было дружным гулом, но быстро стих. Вутя шел без рюкзака, в руках у него был только сверток.

— Ты что, мужик, упал с трамвая? Фокусы показываешь? Или заранее отправил свой груз багажом? Через пятнадцать минут посадка,— подал от колонны крепкий голос высокий плотный парень с жестяным эдельвейсом на фетровой шапочке.

Голос диктора всполошил ребят у рюкзаков. Хотя каждый давно был готов к этому, все вдруг снова захлопотали — перетаскивали свои наспинные дома ближе к регистрационной стойке, суетливо рылись в больших и малых карманах, торопливо расстегивали и застегивали клапаны.

«Пассажирам, отлетающим рейсом до Орджоникидзе...» — звучал голос диктора.

Вутя молча ошупал ладонями огромный рюкзак Саши — высокий, узкий, прошнурованный по бокам красной парашютной стропой. Похлопал его по раздувшемуся горбом клапану и, потыкав пальцами большой серединный карман, решительно расстегнул его. Он знал Сашу и знал, как может тот уложить свое снаряжение.

Сверток из плотной непромокаемой бумаги был тяжел. В нем, обернутые каждый отдельным кусочком мягкой ткани из обтирочных концов, как в обойме, улеглись стандартные скальные крючья из дешевенькой мягкой стали.

Вутя задумчиво прикинул в руке килограммы и в тот же карман вложил свой сверток, такой же аккуратный, так же перекрещенный упаковочной лентой, но очень легкий.

— Крюки, Саш, здесь. Те тридцать, которые последние. А эти железяки я с собой заберу. Ни к чему на Чанчахи балласт тащить...

Вутя сосредоточенно смотрел на свои пальцы, застегивающие клапан, хотя вполне мог сделать это вслепую, и все не решался повернуться к другу лицом. Но Саша будто видел его глаза — они были суровые и ясные, как небо над Чанчахи-Хох.

— Вот тебе еще карабины страховочные из такого же металла,— Вутя наконец поднял голову и прямо взглянул на Сашу.— Здесь по одному на всех хватит. Передай им на память.

И, круто повернувшись, Вутя пошел неспешным, но полным шагом от стойки, где уже начали ставить легкие мысленные птички в ведомости пассажиров.

ПАШКА

Рассказ

Мы на самой вершине увала. Если уйти от костра по склону вниз, то метров через двадцать будет обрыв.

Безжизненная, пустая до безнадежности камчатская тундра лежит в морщинах ручьев. Отчужденно смотрит она на пришельцев тусклыми глазами холодных озер и молчит. Тогда невольно думается, что нечего ей сказать, вот она, вся на виду — однообразна и мертва.

— Ну, какая тут, к черту, красота? Кочки одни, вода, мох да комары! Красота — это жизнь, — как всегда яростно начал разговор наш начальник. — Вот горы... Там скалы выветренные, как идолаы стоят. Лавина сорвется — снежная пыль до самого неба поднимается. Или вершина, седая, молчаливая, величественная, блестит вся ото льда — так это ж мудрость. А море? Северное. Охотское. Никогда не надоедает, хоть час, хоть целый день смотри. Все время разное. Меняется и цвет, и волна. А здесь? Пустота. Уныние какое-то. И люди тут, наверное, такие же. Скучные. И нам уезжать пора, а то...

— И-е-эх, па-а-рень!

Столько грусти и жалости, неожиданной для Митрофанчика, было в этом «иеэх», что мы с Пашкой замерли, а разговаривавший было начальник резко повернул в его сторону голову.

— Вот расскажу я тебе... историю, а ты уж сам думай. Ты послушай. Оно не грех.

Мы только что поужинали. Сизая дымка над холодными равнинами густела в сумерки. Торопиться некуда — в конце лета долга для нас, топографов, северная ночь. Все мы, от студента-практиканта, нашего начальника, до Митрофанчика, бывалого экспедиционного работника, лежали на свежих лапах кедрового стланика, курили и наслаждались отдыхом.

После еды нам стало теплей, не так сильно гудели ноги, а утро казалось далеким и не страшным. Сейчас наверняка никто не думал о том, что завтра снова, навьючившись рюкзаками, мерить нам тундру от точки до точки; размазывать по зудящемуся лицу жгучую мошку-мокреца, про-

валиваться между кочками до самой вечной мерзлоты и идти; спотыкаться, выливать ледяную воду из негреющих резиновых сапог и снова идти.

Митрофаныха закурил.

— Ты тут, паря, без году неделя, а я уж какой год кантуюся. Ты слушай меня. В запрошлом годе попал я в поселок. В Таловку. Слыхали? Вот. А я тама зимовал как-то, многих знаю. Людей-то в Таловке — каждый на виду. А тут смотрю — парнишка-коряк незнакомый. Крепенький, здоровый такой. Коренастый, ладненький да ловкий, ну лицо до того суродовано, что прямо страх божий глядеть. Волосы на голове бороздами. Глаз один круглый, вытаращился, от так, под ним кожа оттянута, как пожевана. Второй — узкий совсем, прищуренный. Слезится. Одним словом... — Митрофаныха раздумчиво цокнул языком, — ц-н-даа, думаю, такой приметный человек, а не встречался раньше. Точно.

Да-а. Я чего в Таловку-то попал? Продукты мне надо было брать. Кончались у нас продукты, а я как раз приболел малость. Остудился. Купнуться пришлось в одном холодном ручейке. Ну это другое, однако, дело. Вот. Меня было совсем хотели в больницу отослать, да обидно, сезон-то, почитай, закончили. Так, осталось то да се. Ну я и упрямился, мол, за продуктами в поселок пошлите, а я там доктору покажусь да в баньке попарюсь. Ну, а если не поможет, то уж чего ж. Тогда и решать станем.

Да какой в Таловке доктор? К фельдшеру зашел — говорит, у тебя этот — полиартрит. Это по-нашему — ревматизм. У меня суставы локтевые болели, прямо спасу нет. А лечить дело долгое. Да и не умеют как следовало избавлять от этой напасти.

В Таловке, ребята, знаете — сухой закон, а я уговорил фельдшера спиртику мне выдать для лечебных целей. Он сначала-то ни в какую: думал, что для питья. Да у него у самого, бывает, поясница сильно болит. Вот я ему и объяснил, чем ее лечить следовало. Настоями ранешнего мухомора.

Как вылезет первый мухомор, надо его собрать, высушить и потом на спиртике настоять погуще. Эту отраву ежели втирать, так надолго проходит и поясница и ревматизм суставной. Боли так сразу снимает.

Дал я ему тройку мухоморов, — я-то каждый сезон запасаюсь, — а он мне на радостях двести граммов спиртика отлил. Сижу я после бани против магазина на бережку —

чаек запариваю. Дела-то я все уже сделал, и на другой день вертолет должен был прилететь: меня, продуктишки, то, се забрать. И подходит ко мне чукча один. Рыбак. Мне хорошо знакомый. Степаном звать. Как и я — фронтовик. Ну, чайк поспел, развели мы с ним полсотки спиртика речной водичкой и по две ложки в каждый стакан подлили — мне после бани обязательно ведь надо, не то остыну еще хуже.

Да-а. Сидим. Разговорились. Я, конечное дело, про парнишку поинтересовался. Так Степан мне и рассказал: что оно да как. Я-то, выходит, не видал его раньше потому, как он с курсов оленеводов только прошлой весной и пришел. — Митрофаныч сбоку посмотрел на студента, выигрывая время, два раза глубоко затянулся; снял оттопыренным мизинцем малиновый пепел с сигарки и неторопко уже начал выстраивать слова к какой-то дальней своей задумке.

— Парень тот, оказывается, пастух. А дело с ним было, кажись, за год, как я его увидал. Вот. Так же вот, как я, пришел он из стада за припасами: патроны там, батарейки разные, лекарства. Ну, все такое... И остался на день в селе.

Мужиков-то летом нет: кто в устья поплыл юколу готовить, кто в стадах оленей пасет. Парень девкам в редкую радость. Пошли они на соседний увал за ягодой и его с собой уговорили.

Насобирали девки ягод, корешков на уху накопили...

— Каких корешков? — быстро, деловито спросил Пашка.

— Павлик, не перебивай, — недовольно, врасстяжку и важно вымолвил студент.

Митрофаныч по очереди ощупал нас глазами, никому не отдавая предпочтения, цыкнул сквозь зубы махорочную слюну и продолжал:

— Корешки эти почти везде в тундре растут. Трава есть такая, завтра покажу. Стебельки пуком густым — в стороны. Корень выкопать, почистить да посушить, дак потом толченый в уху положишь — уха-а... Как с картошкой, однако.

Так вот, насобирали девки, играть стали. Тут-то видят, бежит к ним с увала медведь. Большой, как корова, шерсть клочьями, морда в пене. Большой или какой подраженный, одним словом, не в себе зверь. Куда от него денешься? Того гляди, всех, как линялых куропаток, перело-

вит. А ты говоришь,— Митрофаныч внимательно прищурился на начальника,— скучно, мол. Не зна-а-ю...

Студент, словно птица сложенные крылья, приподнял недоуменные плечи и втянул голову.

— Да вы не поняли меня просто. Я же вовсе про другое говорил...

— Ну, что он, тот парень-то? — нетерпеливо перебив начальника, прицелился взглядом в Митрофаныча Павлик.

— А вот то-то и оно, што он? Убегайте, мол, девкам кричит. Прячьтесь. Задержу, мол, я его. Девки врассыпную да к поселку. Парнишка — шуметь, кричать, а сам к медведю, к медведю. А ведь никакого оружия. Ножа даже, какого-нито... И голо кругом — тун-н-дра, одним словом, на виду все, как на столе. А ты, брат, говоришь — люди. Люди они везде — люди.

Студент задумчиво глядел на огонь. Сейчас, в сумерках, в лице его не было ничего начальственного. Он напоминал доброго мальчика, отличника и аккуратиста из школьной телевикторины, который добросовестно молчит, ожидая очереди отвечать на заранее продуманный ответ.

Пашка, сидевший дальше всех от костра и почти совсем скрытый темнью, резко дунул на огонек папиросы — от нее посыпались яркие оранжевые искры. На миг лицо его осветилось, и я Пашки не узнал. Целое лето таскали мы с ним рюкзаки, бегали с рейками и рубили кустарники. Было с ним просто и легко. Он никогда не спорил. Как-то незаметно брал себе половину работы, но когда надо, и без суеты и не унижая моего достоинства, еще и помогал. И лицо его — озорное, мальчишеское, тоже к нему располагало. Мне Пашка нравился. А сейчас он показался мне чужим и совсем незнакомым.

— Ну, и к чему ты это рассказал? — обратился он к Митрофанычу спокойно, но как-то насмешливо.

Митрофаныч плюнул на сигарку, посмотрел, как она загасла, и бросил окуроч в костер.

— А к тому, что вот какие люди в тундре живут. Не вам, городским, чета.

Пашка тоже швырнул окуроч в костер и встал.

— Не пойму я тебя, Митрофаныч. Что ты все учишь! Строишь из себя. Мудрец, понимаешь, нашелся. Городские...

Пашка замолчал на минуту и неожиданно заговорил совершенно спокойно, громко и ровно.

— Может, твой парень перед девкой повыпендриваться

захотел,—сверху глядя на сидящего Митрофаныча, четко выговаривал Пашка.—Ты за дурочек-то нас не считай. Медведь он не... Он всех бы ловить не стал. В крайнем случае, одного придавил бы, закатал в мох да и ушел. Надо было только не орать, а мертвым притвориться. А то бы и совсем... Или разом на него кинуться—напугать. Или в разные стороны побежать. Он бы и растерялся. Еще можно было мох запалить и дымом его отпугнуть.—Без раздумий выкладывал Митрофанычу Пашка.—Дурак он, парень-то твой. Не сообразительный...

Митрофаныч сидел не меняя позы, только грустно и не-согласно качал головой.

—Ладно, отдыхайте. Я за водой пойду,—вдруг, словно спохватившись, как-то устало даже сказал Пашка.—Утром на чай не хватит. Будем перед работой коноводиться.

Он вышелкнул из пачки новую папиросу, выкатил из костра вишневый уголек и, нагнувшись, склонив голову набок, как это всегда делал Митрофаныч, прикурил. Некоторое время он шарил возле рюкзаков, а затем, позвякивая чайником и пустой канистрой, ушел в отсыревшую понизу мозглую темень.

—Эй, Пашка, куда? Рассветет—сходим,—забеспокоился и пытался остановить его я. Но Пашка не отвечал, ибряканье пустого чайника затихло в глухой дали.

—А ты што же молчишь, начальник?—Митрофаныч сел на лапнике, обхватил колени руками.—Возверни его,—равнодушно произнес он.—Теменно, смурно. Заблудится. Придется полночи аукаться. Ни сна, ни отдыха не станет.

—Бесполезно. Не вернется он без воды. Я его знаю.

Студент проговорил это просто и раздумчиво. Голос начальника удивил нас, потому что все лето он старательно избегал именно простоты в отношениях, наивно полагая, что любая строгость в начальнике обязательна для авторитета.

—Во, я те и говорю: раз знаешь, так и верни,—не настойчиво, впрочем, вставил Митрофаныч.

—Да нет, Митрофа-а-ныч, я его давно знаю. Лет пять.

Студент примолк, и беззвучие вокруг костра сомкнулось. Мы с Митрофанычем затаились, и сделалось нам как-то неловко: боясь спугнуть откровение начальника, ждали мы продолжения его слов и надеялись найти в них оправдание себе, потому что в росную туманную сырость идти за Пашкой и наверняка промокнуть не хотелось.

А может, так думал только я, а Митрофаныч и не соби-

рался покидать пышущий жаром костер? Он снова полез за кисетом и стал сворачивать сигарку. В поле курил он исключительно махорку и с таким ядовитым добавком, что ни комар, ни мокрец ближе чем на метр к нему не подлетали.

— Павлик просил не рассказывать до осени, но уж теперь... Осталось нам работы на неделю;— окончательно собравшись с мыслями, заговорил студент.

Митрофаныч раскурил, затянулся и с удовольствием выпустил клуб табачного дыма вверх.

— Да, быстро мы в этом году управились,— сказал он вкрадчиво, подразумевая, что и от начальника это тоже зависело.

— У Павлика ведь отец военный,— не ответив Митрофану, продолжал наш студент-начальник.

Его, видимо, прорвало: слова полились сами собой. Казалось, он и про нас-то забыл.

— В школе Павлик совсем хилым был мальчишкой. Еще в восьмом классе решил, что пойдет в военное училище. Записался было в парашютный кружок, а комиссия забраковала. Ну и понял, что эдак его вообще даже по призыву не возьмут. Так что придумал? После девятого класса перешел в вечернюю школу. Устроился в кузницу работать. Как уж и что — не знаю. Мать в слезы. Отец помалкивал: он такой. А Павлик работал. Спортом занимался. Бегом. И стрельбой. До первого разряда в конце концов добрался. Когда я на втором курсе учился, познакомил его со своими ребятами. Некоторые из наших побывали уже в экспедициях. Как-то ребята задирать его стали. Стрелок-то, мол, стрелок, а медведя увидишь — штаны менять придется. А что из этого вышло?

Он ведь, Пашка-то, обидчивый. В охотобщество записался. Зимой уехал куда-то на три месяца. Перед самой армией отпуск накопил, и никому ни слова. Я с ним после разговаривал — как промысловик, оказывается, охотился. Раньше, говорит, учили стрелять, и я все понимал. Мушка, мишень, линия прицеливания, а теперь объяснить не могу, как в зверя целюсь. Это, говорит, не наука, а инстинкт.

— Инстинкт? Ну, ну. Похоже,— с хитринкой поглядывая на начальника, одобрил Митрофаныч.

— А я вот не пойму,— продолжал студент,— он вообще-то добрый и, как друг, он... слово держит. Ну вот как начнет про свою охоту рассказывать, вот как сейчас, чужой становится, жестокий. В армии он здесь служил. На Кам-

чатке. На погранзаставе. Рассказывал, как они для собак нерпу били. Дубинками добивали. Я все понимаю: это необходимость, собачек надо кормить, и служебных, и ездовых. Но все-таки... Что-то не так. Я не могу объяснить. Слишком подробно, что ли, рассказывает? С удовольствием. И еще, говорит, здесь решил в училище не поступать. Спрашиваю: почему? Молчит.

Митрофаныч сурово и неподвижно глядел в огонь.

— Это, паря, дело темное, зверобойное. Тут человек не сразу место находит, а и не всякий. Иной и сам озверивается.

— Но ведь, говорят, ко всему привыкнуть можно,— поспешил вставить я.

— Привыкнуть? А не знаю...— Очень серьезно и твердо произнес Митрофаныч.— Эта привычка плохая, ребята. Делать — одно, а привыкать не надо. Человеком перестанешь быть — вот што.

Нас опять накрыла тишина, но тревожная, непонятная и неустойчивая. Неожиданно в костре жалобно засипел сырой комель, и звук вдруг оборвался хлопком — на ровном срезе пузыристой слезой лопнула смола.

— Павлик в институт пришел, когда меня сюда на производственную практику распределяли,— как-то на ощупь продолжил студент разговор.— Говорит, присмотреться хочучу, поступать к вам буду. Зачем это ему?

— Он поступит,— уверенно произнес Митрофаныч.

— Проситься стал со мной рабочим, а парень один, из нашей группы, невзлюбил его почему-то. Он Пашке сказал, куда ты, мол, пижон? Там с тобой чикаться не будут. Но дело не в этом. Зачем, почему? И мать его против была. Я не брал. Только бесполезно. Уперся Пашка — никакого отбою не было.

— Ну, а сейчас-то чего он взбеленился? — Митрофаныч, видимо, уже не беспокоился за Пашку и раскладывал свой спальный мешок, прилаживаясь спать.

— Да кто его знает. Весной случай интересный был. Мы же вначале, по снегу еще, большой сводной бригадой работали,— практикант вопросительно взглянул на Митрофаныча.— Это еще, Митрофаныч, до тебя было. Ты не знаешь этот случай. Однажды почти двое суток не спали. Пришли в лагерь, сложили все к погрузке. Вертолета ждали и задремали кто где. Весной всегда медведей больше встречается — ходят они много. Вот и к нам забрел. Большой. Красного цвета. Приземистый такой, в груди широкий.

Прямо, вот, чуть ли не к ящикам с продуктами подошел. Пашка схватил карабин и с одного выстрела... А мы, сонные, не поймем: медведь еще в агонии бился. Страшно. Конечно, выручил он, и не каждый может, но страшно. А у Пашки в глазах восторг.

— Дак не правильно он сделал,— Митрофаныч отчужденно и равнодушно усмехнулся.— Выручил он вас... как ни так. Мог и подранить зверя. Если б на Пашку раненый пошел, ну ладно — у него оружие, он бы защитился. А вас бы давить начал? И стрелять нельзя, и... Показал бы он вам, раненный, кузькину мать.

Я вспомнил тот момент и вспомнил, с каким восхищением смотрел на Пашку, когда успокоился. А теперь чего-то этот Митрофаныч, с его давешним случаем и всякими рассуждениями...

— Как-то у нас разговор был насчет подвигов,— прервал мои мысли студент,— не любит Пашка, когда при нем о таком деле говорят. Он так настроен, что не в этом дело. Совершит человек что-нибудь или не подвернется ему случай — не в этом, говорит, дело. А надо, говорит, уметь и ко всему быть готовым, чтобы долго не рассуждать, а действовать быстро. Вообще, говорит, никакого подвига нету — есть исполнение долга. Я тоже думаю: главное научиться всяким таким штукам: стрелять, машину водить, ну, вообще. И... Здоровье.

— Не-а, начальник,— снимая сапоги, с натугой прохрипел Митрофаныч,— про чего ты говоришь, для себя все. Работать надо, чтоб твоей работы другим не оставалось. Короче — совесть. Это, чего вы думаете, да-а-вно известно. Когда не для себя человек сделал: прожил жизнь, помер, а ему должны остались... Вот. То и называется — совесть. Так-то, паря.

Когда чего случается — никто и не знает, чего делать следует, а совесть, она подсказывает. А без нее хошь сколько тренируйся, хошь чему ни научись...

Неожиданно сверху, от обрыва, послышались шаги.

— Пашка идет,— тревожно вслушиваясь, сам себе сообщил практикант.

— Смотри-ка, не пустой: чайник не брякает. Ну, ну,— будто в чем-то сомневаясь, протянул Митрофаныч. Он зевнул, кинул окурочек в мерцающие уголья костра и закрылся клапаном спального мешка.

А мы еще долго смотрели на разноцветные переливы тлеющего жара и молчали. От Пашкиных сапог и брюк ва-

лил пар — то ли оступился, то ли росы много нависло на кустарниках, — но он не торопился переодеваться: тоже молчал, тихий и грустный; и тоже искал, наверное, неуловимое и ясное в извечном земном спутнике человека, в согревающем и обжигающем нас прометеевом огне.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Рассказ

1

В долинах Камчатки торопливо доцветало лето. Еще грело солнце и в сырых низинах зеленела трава, но на хребтинах гор, разбрасывая пятна снега, уже пробовал свое дыхание холод.

Птичий молодняк подрос, отошавшие было от семейных забот старики откормились, и в них рождалось беспокойство пути.

В горах и тундрах зверь зажил. В сытое предосеннее время всем дорога стала жизнь, и даже хищники расчетливо выбирали и без риска скрадывали лишь явно слабого, приболевшего зверя.

Только люди вели себя странно. Они не лакомились позолотевшей душистой морошкой, не объедались жирной ленивой рыбой, не копили силы к долгой худой зиме. Следы людей перечеркивали тундры и снежники упрямыми линиями к какой-то своей, ведомой только им цели.

Ни сам Костин, ни его люди давно не отдыхали по-настоящему. Когда не давала работать погода и где-нибудь под острой вершиной или на горной седловине их накрывали сплошные облака, они дрожали от холода в напавшейся влагой одежде, скрючившись сидели в палатке, согревая ее своим дыханием, и до лучших, закрытых, как и горы, туманом времен экономили все: еду, топливо, питьевую воду. Тогда они каждый час ждали разрыва в облаках — окна, — чтобы закончить предписанные строгой технологией дела, вызвать по радио вертолет с продуктами и материалами и перелететь под новую вершину к новой работе. Неопределенность этого ожидания изнуряла их больше, чем само дело.

Теперь, когда чистое небо бывало редко, а работы оставалась самая малость — на одной, двух вершинах, тем более рже разрешали они себе думать об отдыхе — свежий снег поставит точку на всем. Нележалой рыхлой крупкой коварно припорошит он трещины на зубчатых гребнях. Округлые камни морен на дне цирков и скалы на подходах к самим вершинам сделаются скользкими, неверными. На плоскогорьях и в распадах ногам тяжело станет проминать тропы, а расщелины в старом льду закроются, настожатся смертельными ловушками.

Вчера и само море, и берег залива Шелсхова, где на низком с плоской вершиной гольце стояла их палатка, были чисты от тумана. Но полдня потратили на перелет, потому что уже в предгорьях Срединного хребта облака стали прижимать вертолет к земле, и он воровато покрался долиной реки в обход, терпеливо выискивая невысокий, ниже уровня молочного киселя, достаточно широкий перевал.

Механик опустилсЯ в брюхо салона, толкнул Костина и двинул указательным пальцем вверх к пилотской. Тот поднялся на две ступени подвесной лесенки на место бортмеханика, протиснул туловище в кабину, надел наушники и ларинги.

Командир скосил на него глаза и кивнул на хребет, который утюжили темные, как мокрый мех линялого песка, тучи. «Видал? Фронт грозовой. Обходим. Здесь — перевал. Той долиной до моря пойдем. Берегом. Понизу. В сторону вашей горки. Если закрыта, просветов не будет — внизу сядем. Ничего не поделаешь — видишь сам».

Костин подумал, что это еще видно будет, сейчас главное вообще к вершине подобраться. Он без суеты сортировался и стал следить по карте за долиной: цеплялся за характерные контуры, проверял курс.

Вертолет вырвался наконец из узкого извилистого ущелья. Впереди, до дальнего горизонта, в один тон тусклого отпотевшего ножа сливались небо и море.

Два с половиной часа назад они сидели еще на Охотском берегу, а это был пролив Литке, свинцовое море командора — Витуса Беринга.

«Ми-4» без опаски пошел над безлюдной землей. Чуть выше приливного наката прибоя, за пенной лентой, лежала узкая полоска плотного мертвого песка, прилизанного тяжелыми языками волн. На обрыве, куда и в зимние штормы не достигал соленый холод воды, начинались тундры. Между кочками, кусками разбитого зеркала, под тусклым надоблачным солнцем взблескивали болотца.

Еще выше, где береговой обрыв сбивал самую силу штормов, ползли кустарники. Изуродованные, скрюченные давящим ветром, они даже не пытались подняться над тундрой, а прижимались к спасительным теплым мхам, прятали молодые незакаленные ветки в жесткую траву.

Костин глянул чуть влево от берега и выше кустарников, почти вровень с вертолетом, увидел неширокую полосу каменной камчатской березы. Под порывами ветра ма-

шина зарыскала и стала трудно, почти галсами, подходить ближе к деревьям. Он, не отрываясь, смотрел на них.

Они были похожи на солдат, выдержавших жестокий бой и polegших при штурме крепости, так и не добежав до ее стен. В самых первых от моря рядах было много поваленных стволов. Сквозь сорванную холодами листву скелетами виднелось переплетение крупных веток. Еще живые с редкой зеленью и уже сухие, мертвые, деревья вцепились корявыми ветками, не вырванными еще корнями в холодную каменистую землю и держались. Они сбивали, запутывали, останавливали разбежавшиеся над студеной поверхностью моря кинжальные струи губительного ветра. За их прикрытием, отпрянув к горам, уважительно склонились крепенькие березки с необлетевшей листвой.

«Вот он в чем, Север-то. Вот она где, самая суть: первые принимают на себя непосильную тяжесть, гибнут, но дают возможность выжить другим. Везде на этом держится жизнь», — забыв про включенные ларингофы, бормотал Костин. И второй пилот удивленно оглянулся на него.

2

Проснулся Костин рано и тревожно. Стенки и крыша палатки набухли, покрылись белесыми капельками воды. Было промозгло и холодно. Он закурил, не решаясь сразу выбраться из нагретого меха спального мешка.

С неуютом погоды, ранним пробуждением, не давшим желаемого отдыха, в него вселилось раздражение к своему вчерашнему прекраснотушию, к нежеланию пилотов рискнуть парой часов и подождать широкого разрыва в облаках, к проклятой осенней камчатской пасмурности.

Вчера они потеряли целый день. Когда подлетали к своей горе, по склонам ее, действительно, сырым паром проползали клочья редкого тумана, но пилотам вполне можно было бы попробовать подыскать площадку поближе к вершине, не говоря уже о том, что облако, зацепившееся за самую макушку, могло в любую минуту согнать все крепчавшим и крепчавшим ветром — тогда и думать нечего — набирай высоту, пройди над туманом и плюхайся на вершину. Но они отказались наотрез и рискнуть пощупать увалистый отрог выше — ссылаясь на недостаточную видимость; и ждать — отговариваясь удаленностью базы, до которой, де, могли не успеть «доехать» засветло, а ночные полеты им строжайше запрещены.

Весь сезон эти вертолетчики работали на их геодезическую партию: сажали и снимали бригаду Костина с таких вершин, откуда все лето зима не уходила окончательно. Теперь они, видимо, решили воспользоваться смутной погодой и сделать им приятное — дать передохнуть на альпийском лугу — тем более, что на этот раз приятное сделать было легко — они ушли от всякого риска.

Подарок этот Костину не нравился. Он привык, что на верху не было ничего, кроме ледников и скал, и радовался, когда скалы были не опасными, вершина не высокой. Нескольким раз, случалось, их высаживали пониже, в зоне альпийских лугов. В тепле, в безветрии, среди высоких мхов и вечнозеленых рододендронов, пахучего багульника неудержимо тянуло к отдыху. Уходить отсюда наверх было труднее, а идти... Почти всегда основной груз тащили на себе от места посадки. Редко удавалось сбросить железяки на саму вершину.

И вот вчера... Костин считал, что смалодушничал. Поддался приятному расслаблению. Он видел, как радовались его ребята кустам, как с удовольствием валялись в густой траве, долго мылись, всматриваясь в чистую воду ручья.

Соседи-нивелировщики, работавшие по реке, не забыли их летний дар — половину туши снежного барана — и прислали им целый мешок блестящих платиновых торпед — свежепресоленных сигов да две буханки своего, недавно испеченного хлеба. Впервые за много дней было вдоволь свежей еды. Оно-то, конечно, кстати — консервы и сухари порядком надоели.

Пища и тепло разморили Костина. Он слушал, как ребята мечтали о поселковой бане, в которой не мылись уже четыре месяца, и, в конце концов, решился потерять еще несколько часов, оправдываясь перед собой тем, что завтра с новыми силами они это время наверстают.

Потапкину, — он годами и всех ребят и самого Костина постарше, — дал работу деликатную: готовить дрова и резать веники; а сам с двумя другими, забрав запасную палатку, ушел к ручью.

3

Полтора часа они грели два валика камней, а когда дрова прогорели и остались только угли, сгребли камни на них, чтобы взять и это тепло. Осторожно поставили палатку — камни с жаром оказались почти посередине, чуть

ближе к торцевой стенке. Она сразу высохла, забелела.

И уже жалея, что затеялось это сейчас, а не после вершины, досадуя, что не сумел в последний момент перешагнуть через жалость к людям, Костин торопил ребят. Все казалось ему, что они тянут, отдаляют тот час, когда надо будет отрешиться от тепла и отдыха. Он-то рассчитывал быстро помыться и сразу выйти из лагеря, а темень переждать в дороге,—набрать в кустарничковой зоне веток и вскипятить по кружке чая не на бензиновом примусе да пресном снеге, а на живом огне и бегучей воде, чтобы не терять теперь даже самые ранние сумерки.

Но и с баней сделать все хотелось как следует. Веники Потапкин связал хорошие, да вот ходил долго и не помог Андрею набросать в палатке стланиковых веток. А что за баня на голом-то галечнике? Да без хвои и дух не тот.

От жара камней кедрач запах мягко и густо — раздавленной огуречной плетью. Потапкин поначалу осторожно полил камни кипятком — у Костина захватило дух, и все начали греться, разморились, размякли. Остывало, правда, быстро, но стоило плеснуть на голыши чуть больше кружки, как палатка снова раздувалась от сухого покалывающего пара. Юрания кряхтя ложился в ямку с проточной ледяной водой, которую они по-умному прихватили краем палатки.

Розовый от пара Потапкин собрал покучней ветки кедрача и придержал Костина за локоть.

— Веньямин, а давай-ка я тебя попарю. А?

— Да не надо. Спасибо. Как-нибудь сам. По-быстро-му,—смущаясь его настойчивой готовностью и своей боязнью быть другому в тягость, пробормотал Костин.

— Э-э. Самому не то. Самому что за удовольствие? Щас, щас. Одну минутку. Одна минутка в нашей жизни никой рояли не играет. Аба-алденное получишь удовольствие. Сейчас.— Гипнотизировал его голосом Потапкин.

Он поднырнул во вход пониже, чтобы не упускать пар, и полез наружу в чесоточный зуд мошки, а вернулся в шапке и рукавицах.

— Ложи-и-сь, ложись,—мягко упросил он, и Костину неловко стало отказываться. Потапкин забрал у Андрея второй веник, сидя на корточках потряс им под крышей палатки — просушил.

— Ну, нет! Так не пойдет. Ты расслабься. Совсем, совсем расслабься. Забудь сейчас работу. Нет ее. Ну, совсем нет. На пять минут. Баня так баня,—убеждал он и нагне-

тал, нагнетал пар, помахивая вениками сверху книзу и вдоль боков лежащего на животе Костина.

Было очень приятно. По телу щекотными ручейками стекал пот. Костин прогрелся, казалось, насквозь, до самых костей, до нутра.

— В любом деле две стороны,— продолжал с передышками Потапкин.— Ух, жжет-то как. Есть приятная и неприятная. Это как подойдешь. Как настроишься. Ну и целиком дела есть разные. Кому что нравится. Каждому свое, как говорится.

«А бог его знает,— жмурясь от пота, умиротворенно думал Костин,— в чем-то он ведь прав. Например, сейчас. Уж затеяли такое дело, чего же его комкать. В конце концов, он человек последовательный, всегда так дела и делает. Ну, медленно иногда работает, но ведь делает все, что прикажешь, и делает чаще хорошо, отлично. Правда, когда выбирает работу сам, так старается найти что поприятней. Ну, тоже... Черт его знает? Всем можно выбирать. Нет, стоп. На всех приятных дел не достанется. Да и хорошо, как совесть у человека есть, а вдруг она задремала... Э-э, черт!»— Костин отдернул руку от горячего камня.

— Ну, спасибо, хватит, однако.— Твердо сказал он, поднимаясь.— Кожа облезет. Хорошего помаленьку.

4

Костин прицелился и бросил окурок к выходу.

— Пора,— решил он,— будет вспоминать-то. Это потом, зимой будем разбираться: кто этот каждый, которому свое; а сейчас — время нагонять.

Он быстро вылез из спальника. Его охватил озноб, и тело мгновенно покрылось мурашками. Накинув на плечи бушлат, он разжег бензиновый примус.

Когда примус набрал силу и загудел ровно, без вспышек, Юрания фальшиво начал просыпаться — будто бы только что. Очередь дежурить была его. Потягиваясь плотным телом, он блаженно, с подвывом зевнул.

— Ты вот что,— сказал Костин сурово,— не очень-то тянись. Соображай. Вчера полный день потеряли. Быстро давай, сделай поесть что-нито да мужиков буди. Пусть собираются. Пожует и наверх.

Сам Костин, залпом выпив вчерашний чай, засел за карты и схему: решил еще раз посмотреть, как он приготовился к работе на вершине.

Он ушел в дело и ничего больше не слышал вокруг. Торопился, понимал — пока не окончит свое, не сможет подстегнуть и бригаду.

Юрания вывалил из кастрюли дымящиеся куски рыбы на расстеленную на землю полиэтиленовую пленку.

— Готово, парни. Давай, садись, подрубаем. Эх, мальчишечки, к такой бы закуси — стакашек сухонького беленького. А что, Андрюша-свет, слышал я, с нас осенью хорошие деньги высчитывать будут.

— За что это? — прикусывая баранину, простодушно спросил Юранию Андрей.

— Ну как... четыре месяца не пили. Считай, что навсегда бросили. Я и забыл, какая она, проклятая. Мы ж тут не просто на работе. Тут нам условия создаются для лечения и воздержания, — продолжал беззаботно разглагольствовать Юрания.

— Ну, это с кого будут удерживать, а с кого и нет. Я и до экспедиции не употреблял, — не догадался поддержать шутку Андрей, очень серьезно ответил.

Костин как раз окончил свою работу. Он рассчитывал теперь за завтраком обсудить подъем, чтобы не терять времени позже, перед самым выходом, когда появится другое дело — проверить снаряжение, инструмент; но Юрания уже втравил Андрея и Потапкина в разговор, и они настраивались не по-рабочему.

Во всем, во всем он чувствовал сегодня инерцию вчерашнего отдыха: в нарочито медлительных движениях Юрании и в его разговоре о выпивке; в благодушной, в конце концов, улыбке Андрея, обычно суховатого и собранного; в вежливой неторопливости Потапкина.

Они никуда не торопились. Им было хорошо.

5

С выходом из лагеря припозднились да поначалу, на первом крутом подъеме по травянистому склону, часто отдыхали. Наелись, полные желудки мешали легким набирать побольше воздуха. Шли тяжело, неходко.

Травы кончились. Остановились сразу перед крупной россыпью базальтовых глыб. На широком некрутом гребне камни лежали «живые». Иной и мохом оброс, а ногу поставишь — зашевелился. Гляди, прикидывай, чтоб цела осталась нога.

Выше по россыпи пошли быстрее — камни там были мельче, лежали плотней. Вперед. Внимательно, в напряжении. И незаметно как-то вышли на плоскогорье.

Серое, мертвое, дико пустело оно на несколько сотен метров вперед до предвершинного гребня, резко взлетающего к самому пику. Однообразие камней глядело в небо двумя пятнами грязного прошлогоднего снега. Вокруг было тихо, так тихо, что казалось, вот-вот оборвется грохотом и ревом эта веками натянутая тишина. Иногда где-нибудь закрутится холодная тугая струя воздуха, отдаленной волчьей песней пропоет в камнях и затихнет. Человек ли, зверь ли невольно напрягают мышцы, поворачивают туда голову и долго не верят, что это пронесся всего лишь ветер.

— Во аэродром, — обвел Юраня рукой пространство, — не могли здесь посадить, пижоны. Техника, называется. Знаем мы эту технику: на кнопку нажал, а спина все равно мокрая. Тут не вертолет — самолет сядет...

— Ничего. Не горюй, Юраня. Зато в баньке помылись. Распрекрасно ведь попарились, — утешил его Потапкин. — Как вы себя чувствуете, кстати, Юрь Савельич? После баньки-то, а?

— Теперь по новой, первые полгода ничего, — резко обрезал его Юраня. — Ну ее к ляду, баньку эту. Сюда сколько тащились с грузом, еще вон какой подъем, потом обратно попотеет... И нет твоей баньки.

— А ты как думал? За все платить надо. Одно хорошо — другое плохо, — степенно подытожил Андрей. — Нам вообще не надо было задерживаться. Погода вот испортится: долго ли облачку обратно вернуться — несолоно хлебавши вниз побежим. Потом жди. Опять лезь. Только и радости, что второй раз налегке.

— А чего же ты вчера молчал, такой умный, — удивленно спросил его Юраня. Он даже приостановился и насмешливо снизу вверх глядел теперь на Андрея.

— Чего... А того! Чего и все. Откуда я знаю, мог ты сразу пойти или нет? — быстро закипая, отвечал Андрей.

— Бросьте, ребята. Погода ничего. Держится погода-то. Сейчас придем, все быстренько сделаем и рыбку там, в своем ручейке, еще половим, — великодушно пообещал Потапкин.

— Хватит, — оборвал их Костин, — теперь работа. Теперь не о рыбке надо думать.

Он стоял впереди, но все слышал и думал: «Как же так?.. Вот, хотел как лучше. Ведь казалось, сил у них нет.

Начни я их вчера понукать — скрипели бы. А теперь? Выходит, понимали ситуацию. Все понимали».

6

В конце плоскогорья, перед крутым, но спокойным, без скал подъемом остановились передохнуть. Курили.

Костин давно стал замечать: на коротких перекурах в несколько минут весь характер человеческий наружу показывается. Здесь горы кругом. Один человек, сам с собой. Хоть неделю, хоть две иди, только к морю и выйдешь. А что море? Через сто, через триста километров поселок на берегу рыбачий встретишь. А в горах никто не живет и не жил никогда. Здесь душу прятать незачем. Себя если только обмануть? Настроить посильнее, веру в свои возможности утвердить. Но это опять не на перекуре. Здесь отдых. Короткий. Сел или к камню привалился, а то и из последних сил местечко надежное торопливым взглядом подыскал и — падай. Отдышись. Покури. Отдохни пяток, десяток минут. Это мало, очень мало по такой вот работе. Незаметно они пролетают. Кажется, только присел, и вот уже через силу поднимайся снова. Подкинь рюкзак спиной — пригони на привычное место. По-о-ше-о-л.

Вот и сейчас... Андрей, он в полный рост остановился, как в строю по команде. Это — армия в нем. Суворовское, потом офицерское училища и служба: все про все лет пятнадцать. С ним все ясно. Устал в городе. Устроился обстановку переменить, но — дисциплина в крови. А что не умеет чего-то, дело не мудрое — научиться. Было бы желание да прилежание. Здесь он Костину такой нужней всего. Надежный. Пойдет следом и на скалы и в воду, не выискивая себе поблажки.

Юрания, тот шоферских кровей, веселых. Везде приспособится, всему сам научится. Бывалый. Права отобрали водительские, а и без них жить можно. Ему все легко — здоровья на троих. Рыбак он страстный — рыба здесь непуганая. Просторно. Свободно. Ему остановиться — плюхнуться. Только и дел — посмотреть, как дальше вставать и двигаться удобнее. Здоров, однако, парнюга.

Потапкин — философ. Кто знает, что его сюда затащило? Зачем ему думать, как дальше удобней пройти. Это вскользь. Сейчас главное — отдых не смазать. Из этого и устраивается. Рюкзак не привалит, а снимет. Сам поудобней. Ноги повыше. Мечтательно, не торопясь лежит.

«А ведь это в нем хорошо»,— думает Костин. Он тоже присел. Повыше, как зверь-вожак. Не расслабляется до конца. Нельзя. Почему? Сам он этого не знает. Не может себе объяснить. Только совсем расслабляться нельзя. Тайга. Горы. Стихия. Опасность. Неизвестно какая, и ему надо быть начеку, потому что он за всех отвечает.

«Это в нем хорошо,— думает Костин,— и другого много хорошего в Потапкине. Хорошего много, а чувствую я себя с ним не свободно. Почему бы это?»

Вот, если совсем не вмешиваться мне, хватит у него совести самому находить себе дело и брать на себя под завязку, чтоб другим за него никогда не пахать?»

Вспомнил Костин, как просил Потапкина весной, еще на базе, кайлушку насадить. Сам ее выбирал на складе. По своему опыту. Старательскую: с одной стороны обушок, с другой — шильцем изогнутое лезвие. Не тяжелая, но и не пустенькая. Отверстие для рукоятки тоже ровное, без приливов и раковин — не будет мочалить древко.

Правильно тогда Костин на это дело Потапкина выбрал. Аккуратный он человек. Брусочки достал, ножичек поточил. Где-то в заливе у рыбака нашел плавничину березовую. Лет пять, не меньше, выдержанную. Подогнал. Отшлифовал. Блеск. До сих пор ведь держится, собака. Удивление и только. В руки взять такую кайлу — удовольствие. Но не торопился. День у него тогда ушел на это. День! А весной перед экспедицией жили по крестьянской пословице: «Пахать да боронить — денечка не обронить». За три с половиной дня собрались полностью.

Вот где оно было, истинное-то. Конечно, неправильно сделал тогда Костин. Надо было взвешивать и решать — подходит Потапкин или нет. А он кайлушку похвалил, а посмотрел зверем, мол, долго копаешься.

Тогда Костин рассуждал проще. Не верил, что целый день надо, чтобы так хорошо сделать; не понимал, что это еще для своего удовольствия. Сам бы он за час, другой управился бегом. Сделал бы главное, насадил бы тщательно, а уж отполировать и здесь можно в непогоду, в отдых. Потапкин тогда успел бы и другие дела ухватить, а то ребята из кожи лезли: и продукты, и снаряжение получить, и ящики сколотить, и упаковать, и увязать. Да мало ли. Вот она, совесть. Когда, кроме тебя самого, никто не решит, в силах ты или не в силах сделать больше.

— Ну, пошли,— сказал Костин и приладил к рюкзаку.

Всем хороша эта вершина. Заход безопасный — без приключений добрались. Снежник нашли в трещине. Бери снег, топи на примусе и — вода: для бетона, для чая. Главное же, на самой вершине, в каких-нибудь двадцати метрах ниже, площадка ровная мелкого щебня есть. Сюда еще весной сбросили с вертолета цемент и металлические детали из стального угольника для геодезического знака. Это пирамида такая, на кладбищенский памятник похожая, только не сплошная, а ажурная и высотой метра четыре с лишком. Да наверху у нее специальный цилиндр, чтобы наблюдать его в приборы-теодолиты. Но это уже не костинские дела. Их дела — установить пирамиду так, чтобы камни, гребни или другие вершины не мешали видеть цилиндр с других соседних пирамид. Да еще центр, отливку чугунную, забетонировать в скалу надо навечно, а над ней столик стальной поставить для теодолита. Да еще... Дела-то все простые, хотя их и не так мало, как хотелось бы.

Все было бы хорошо, но оканчивается вершина скалой-останцом. Там самая высокая точка. Только оттуда другие гольцы видно будет без всяких помех.

На самой скале-останце пятачок такой маленький, что даже основание этой пирамиды не помещается полностью. Однако это тоже решить можно: разбить, сбросить камни, расширить площадку.

Но вот беда — не собрать детали в пирамиду на этой скале, ну никак.

Костин с ребятами решились пониже ее собрать, на щебне. Оттуда подтащить к скале, подтянуть две ноги — опоры, упереть их, чтоб вперед не шли. Останется приподнять сколько можно верхушку, потом перехватиться поближе и поставить.

Сделать можно, но дело опасное. Чуть поведет в сторону — не удержать эти двести килограммов. А на запад обрывается стена — пропасть метров пятьсот. Не в этом, конечно, дело, хватит и десяти — двадцати, чтобы вместе с пирамидой — вдребезги; на нервы эти пятьсот действуют сильно, вот что. Но выхода другого нет. Надо.

Никогда для Костина главным не было, что кому поручить, чтоб по душе работа была. Главное — кто лучше сделает, кто надежнее. Сегодня, на последнем в этом сезоне пункте, как ударило его.

«Ведь только что говорили Андрей с Юраней,— размышлял Костин,— они все понимают. Прятаться здесь не за кого. Если ты не возьмешь на себя по совести под завязку, то сразу считай, что соседу придется на себя добирать. Сознание, оно ведь тоже бытие-то определяет».

Все при деле у Костина. Сам наработался, но надо мигу выбрать и со стороны все разом увидеть, подумать.

Потапкин не очень-то скалу долбит: это победитовым зубилом и кувалдой отверстия в камне для ног пирамиды и для центра геодезического выдолбить, чтобы туда бетон залить. Поменял Костин дела. Юраню — долбить, а Потапкина — камни сбрасывать, площадку наверху готовить.

Потапкин в альпинизме человек понимающий. Он прежде всего веревку взял и один конец за скалу намертво привязал. Другим концом обвязался сам. Спокоен за него Костин: и оступится на краю — так далеко вниз не улетит.

Все было подготовлено, и только Потапкин еще возился, сбрасывая камни. Отбивал кайлушкой или руками раскачивал, подтаскивал к пропасти. Сам близко не наклонялся, а издали сталкивал ногой или вытянутой рукой.

Снизу далеко и глухо слышался гул, мягко, тонко пахло серой и остро, опасно разбитым в пыль камнем. Гул слышался долго и только приглушался, как Потапкин сбрасывал новый камень.

— Стой, кончай,— крикнул ему Костин,— хватит, пожалуй. Установится.

Присели. Закурили. Наспех, запально дыша и часто пуская дым.

На востоке, в предсумеречной дымке размылся горизонт. Не видно стало, где небо, где море. На западе далеко, за мелкие язычки острых гольцов стекал с туч густой непогодный закат.

Костин ничего не говорил: все сами одновременно побросали окурки и двинулись готовиться к подъему.

Юраня самый здоровый. Ему — к основанию. Он и подтаскивать будет, где тяжелей, и потом там останется при подъеме. Поведет в сторону — он будет держать. И удержит, это точно. Костин кивнул Потапкину на место против себя, Андрею к верхушке: троим пока все равно где стоять, но лучше сразу по своим местам. Привыкать.

Вчетвером они с трудом оторвали пирамиду от земли и потащили по склону выше к скале. И по скале выше и выше, пока его ноги не уперлись в нужные камни, по-

потели, побалансировали на ребрах камней изрядно.

Вот и подошло самое главное: поднять и поставить конструкцию на попа. Здесь уже очень важно, кто где будет, как распределить силы.

Юраня — на месте, у основания. Костину — внутрь, посередине. С Юраней ему в силе не равняться, но тоже ничего — бог не обидел. Однако дело не в этом — из самой середины ему виднее, чувствительнее, что и как: быстрее среагирует и подаст нужную команду. Правда, сорвется пирамида — он внутри, в ажурном переплетении металла — выскочить не успеет, но ведь ему и отвечать по должности, если что. Так что и высказывать-то есть ли смысл?

Потапкин самый высокий — метр девяносто, руки длинные, ему бы в конец, верхушку пирамиды поднимать, а то вон она насколько ниже основания — под уклон лежит. Да он уже с веревкой. Привязывает: страховать и подтягивать за верхушку будет. Нашел себе дело по душе. Это нужно — без страховки им никак нельзя, но там бы лучше Андрею стать.

«А, черт с ним, — решил Костин. — Сейчас ему скажи, обидится снова. Отвязываться, привязываться полчаса будет. Опять приятного ищет. Ну и черт с ним. Темнеет вон».

— Андрей, ты давай в конец. Пока так подымай, а как руками не будешь доставать, ледорубом подпирай. Эх, в потапкину мать, — взвинтился Костин, — поломанный он, ледоруб-то. Сам не додумался починить, — зло бросил он в сторону Потапкина. — Ждешь, когда подскажут? Ладно, Андрей, придумай сам. Вон, кайлушкой, что ли...

Истекли пять минут — передохнули. И начали. Напряглись разом, оторвали макушку от земли и, вкладывая все силы, набрав воздуха и остановив дыхание, поднимали. Костин и сейчас даже продолжал все видеть и соображать — привычка. Потапкин пока что выбирал веревку и свободными кольцами набрасывал на выступ скалы. Все по правилам: на веревке пирамида не улетит. Но скоро и ему — хочешь не хочешь — тянуть, как пирамида покруче встанет. «Эх, догадался бы он поскорее — сил у нас не хватит. Перехватываться надо Андрею. Самое время Потапкину налечь».

Андрей на самом конце уже только вытянутыми руками барабан-цилиндр поддерживает. Костин с Юраней напрыглись из последних сил, приняли всю тяжесть на себя, а Андрей быстро и ловко за кайлу — возле ноги положил, предусмотрел. Не может схватить сразу, торопится. Сколь-

зкая ручка. Отполировалась рукавицами за лето. «Ладони у него, что ли, вспотели? Потапкина бы на его место. Он длинный. Граблями бы своими без подпорок поднимал до переверса на ребро»,— думал Костин, на вытянутых руках, на выгнутом позвоночнике удерживая вибрирующую тяжесть, отсчитывая растянутые доли секунд.

Вот Андрюха уже кайлу поднимает... Но не успел. Юрания голову в его сторону крутнул—чего он, мол, мух там ловит,—и камень у него под ногой подвернулся.

От давящего напряжения и боли в спине красный туман взорвался перед глазами у Костина. «Держать, держать»,— успел он сам себе беззвучно крикнуть, приказать.

И удержал... Всего секунды три выстоял, но хватило: Юрания ногу прочно поставил и после всю силу вложил без остатка; Андрей верхушку подпер и сам, как Костин, задрожал от напряжения; Потапкин, наконец, веревку натянул—тоже помощь.

Но Костин этого уже видеть не мог—осел на камни боком. Задымилась перед глазами желтая муть с яркими чиркающими искрами, а в голове как музыка поплыла: «Получил, получил, получил удовольствие». Затихло. И тошнота, противная, больная, нестерпимая, с мыслью: «Ой, скорей бы, скорей бы прошла!»—стала вырывать землю из-под ног. А он—руками, лицом, животом—к склону, уже не волей, а привычкой к жизни—прилип, чтобы не съехать в пропасть.

И все—следующих нескольких секунд не было в жизни Костина, они вычеркнулись из памяти чернотой забытья.

Перехватились, рванули и поставили пирамиду трое.

Потапкин напрягался, как струна, как веревка, за которую опоздал тянуть, и все не сводил глаз со страшного белого неживого лица вцепившегося в камни Костина.

Костин открыл глаза, но казалось ему, что он их и не закрывал. Он увидел над собой серое небо умирающего дня, черную ажурную пирамиду, силуэт Потапкина. Боль уходила, ее выдавливала из тела злость. Он обмяк и думал: «Все, Потапкин. Будешь теперь тянуть, паразит. Не со мной, так с другим. За двоих будешь. Всегда. Или тебе здесь не будет места».

ПРЕДЕЛ

Повесть

*Геодезистам и альпинистам,
работавшим в горах Крайнего
Севера, посвящается*

Высадка

Степанов стоял на вершине, чуть наклонившись над обрывом, а справа и слева от него, сваливаясь в бездонное молчание желто-серых куполов и пиков, ровно гудел ветер. Далеко на горизонте северной горной страны взъерошенными мышиными тушками быстро двигались облака и все время мучительно загораживали нужный пик горы Острой.

Степанов вздрогнул от того, что ветер едва не вырвал из рук топографическую карту с беспокойным грифом в правом верхнем углу. Испуг ледяной волной омыл тело, потек по ногам, и Степанов открыл глаза: днище вертолета сдержанно дрожало, рука с листом карты безвольно свисала мимо дюралевого сидения откидной скамьи.

Холодный озноб в секунды разогнал сон. Он оглядел китовое чрево вертолета. Ребята тоже дремали, но глубоко, с окаменевшими усталыми лицами. И только поза измученного болезнью Бориса была непонятна: то ли спит, то ли просто закрыл глаза.

Главного инженера в салоне не было — поднялся в кабину к пилотам, и на приставной лесенке, вровень с головами бригадников, — степановских работяг — были видны его напряженно присогнутые ноги в неуместных здесь легких стоптанных набок городских ботинках. Пожалел будить его, наверное, главный, и теперь сам выбирает с пилотами место посадки.

Неудобно прижавшись лбом к мутному от царапин боковому блистеру, Степанов стал внимательно всматриваться вниз. На первый взгляд казалось, что машина неподвижно висит над хребтиной гигантского уснувшего ящера, но они плавно снижались.

Он взглянул на карту: «Точно. Эти самые гольцы. Вон изгиб Светлой. Интересно, здесь вода густо-голубая, даже синс-зеленая на перекатах, а ниже, у моря, и вправду —

светлеет. И правильно, выходит, реченьку так ласково называли — Светлая. Вот плоскогорье.

Ага, вон Ледниковая. Ничего себе горка. И не поймешь, где главный пик. Целый собор. А почему — Ледниковая? Льда-то вроде не видно. А-а, вот он, родимый. Когда это мы без него обходились? Прямо перламутр. Перламутрно будет... Без ледорубов и кошек тут — труба. Вот на чем вес не стоило экономить. Ледорубы полопались, так хоть кошки ледовые взять бы. Хотя правильно. Везде в них не пройдешь, а ступени рубить нечем. Стоп. Не бойсь. Обойдется. Вон там, по хребту, потом по отрогу вниз. Обходим, обходим... Н-да, но это потом...»

Вертолет накренился, и прямо перед собой на экране белесо-синего неба Степанов увидел, словно вырезанный из черной бумаги, скалистый предвершинный гребень. «Что-то быстро они. Выбрали... Неужели лучше ничего нет, — мельком подумал он. — По этому гребешку ведь идти придется, если где-то здесь высадят».

Машина накренилась на другой борт и чуть развернулась. Гребень в блистере стал круто подниматься вверх, и совсем близко вздыбилась вершина.

«Не подарок, ох, не подарок, — прикидывал Степанов, — тут не то что отработать наверху, зайти — дай бог».

Вдруг, на долю секунды остановившись, вертолет начал валиться вниз, и, кроме хаоса камней на склоне, он уже не видел ничего. Коричнево-песочные и серо-зеленые глыбины неотвратно наплывали, и казалось, вот-вот ударят в тонкое прозрачное оргстекло большого нижнего блистера, но вертолет вскользь прошел над ними, отдаляясь от склона, стал разворачиваться и снова заходить на посадку. Сбоку Степанов заметил дымный столбик сгоревшей ракеты. Ветер гнул его, разрывал и быстро относил по склону в котел горного цирка. «Бояться, — понял Степанов, — направление воздушных потоков определяют».

При втором заходе он чувствовал, как машина сопротивляется тугим порывам воздушных струй, как руки и мозг пилота ежесекундно прицельно возвращают курс к единственно возможной точке посадки.

Площадка оказалась маленькой, наклонной, да еще с крупной россыпью базальтовых камней. Садиться на такую запрещалось: если одно колесо станет на выступающий обломок — вертолет накренился, чиркнет лопастью, и посыпятся по склону болтики-винтики. А между глыбами попадут колеса — другая неприятность: может зажать в

щелях и не взлетишь — попадешься как куropач в сикок. Поэтому пилоты не выключали двигатель, и «Ми-4», чуть касаясь колесами камней, дрожал, поддерживаемый несущим винтом.

Никто не двинулся с места — не полагалось. Механик должен дверцу открыть, осмотреться и первым выйти, а если крен позволителен — подать команду другим.

«Ну, сейчас начнется, вприпрыжку выгружаться будем,— подумал Степанов.— Попробуй я, подбери такую... Брыкались бы, как олени на забойной площадке под ножом. Эх, надо было самому. Не спать, посмотреть. Наверняка есть место, где и сесть безопасней, и нам к вершине ближе. Ни-и-чего, сейчас договорюсь еще полетать».

Мимо к выходу скользнул не улыбающийся бортмеханик и, наклонившись, в самое ухо крикнул Степанову: «Все. Горючки нет. Ветер был встречный. Сильный. Сожгли. Здесь выгружайтесь. Нам до базы теперь — во, в обрез», — он резанул себя большим пальцем по горлу.

Ребята уже проснулись, и сейчас их лица, плечи были напряжены — ждали сигнала. Лишь Борис не изменил скованной позы — ему оставаться. Но во взгляде пробивалась тоска, желание идти наружу, с ними.

Механик энергично махнул рукой — из гондолы вертолета наружу. «Давай», — поняли все по его орущим губам.

Степанов прыгнул на камни первым, принял свой рюкзак. Вторым, таща за собой очень потрепанный, небольшой, но тяжелый мешок, раскорячась, задом выполз Васька. Потом, согнувшись в дверце и покато опустив мощные плечи, легко поставил объемистый альпинистский рюкзак на край и пружинисто прыгнул Ташлыков.

Степанов выпрямился, прогнулся, чтобы распрямить ноющую спину, но почувствовал какое-то беспокойство и искоса взглянул вверх: боковое стекло пилотской кабины было раздвинуто, командир остро глядел на него. Худощавое лицо «адского водителя», как заглазно, чтобы не захвалить, называли его между собой, было сосредоточенно-напряженным, а дужка наушников смешно съехала на лоб, козырьком смяв прямую солому волос. «Извини», — шевельнул он губами, и только в этот миг показалась тень мальчишеской чистой улыбки. Он озабоченно повел глазами вверх в сторону вершины, и Степанов, поняв его немой вопрос: «подниметесь?», вначале пожал плечами: не

знаю, мол, но, увидев тревогу на лице пилота, успокоительно кивнул.

Они даже не простились ни с Борисом, ни с главным. Механик сразу захлопнул дверцу. Степанов успел заметить, как главный поежился от холода и как вялая белая рука плавно махнула им.

Командир задвинул створку и кивнул в их сторону серьезным упрямым подбородком. Глаза его уже были не с ними — в полете. Наконец он всем корпусом повернулся к лобовому стеклу.

Вертолет, чуть поднявшись, скользнул вперед в пустоту горного полуцирка, стремительно набирая скорость и уменьшаясь на глазах. Через несколько десятков секунд шум двигателя почти стих за высоким соседним отрогом.

Степанов достал папиросы. Василий протянул спички и суетливо опустил на камень рядом.

Вокруг сделалось тихо. Ветер холодил неслышно и ровно, только изредка шершавые языки порывами шипели в камнях, облизывали лица и спины дыханием сухого натающего льда.

Они были одни, затерянные в бесконечности времени и гор, слабые краткостью и хрупкостью своей человеческой жизни, зависимые от тепла и пищи, от любой случайности. Их заботы ничего не значили для камней и снегов, которые живут вечно и вечно молчат. Камни не боятся ран, не испытывают страха перед падением в пропасть, поэтому, если и доведется скалам услышать стон боли или отчаяния, они отбросят его эхом и равнодушно продолжат молчание.

Специфика производства

Ташлыков после высадки ушел в верхнюю часть площадки, разглядывая гребень. Для него эта вершина была интересна. Он ведь и прилетел сюда больше из любопытства: в этих горах знакомые ребята не то что не бывали, о них даже не говорили среди альпинистов. А что может быть притягательнее испытать возможности восходителя здесь, где гораздо ниже высокогорной зоны приходится сталкиваться с нехваткой кислорода, шквальными ветрами, низкими температурами. Это вполне помогает забыть на время город, где одно к одному так неудачно сложился для него високосный год.

— Интересно, интересно,— произнес Ташлыков вслух и спохватился, вспомнил, что ничего похожего на восхождения еще не происходило, шла только нудная непрерывная работа и работа.

Второй член бригады, Васька, а вернее Василий Игнатьевич, лет сорока пяти, роста совсем небольшого и комплекции жилистой, был шустер и хозяйственен. Родился он на казачьем Урале, и хотя давно уже проживал в большом городе, все еще располагал к себе сибирской закваской, особенно показавшейся здесь, в камчатской экспедиции. Был он в жизни, несмотря на семиклассное образование, человеком цепким, самоутверждающимся, а для этого понадобился ему в городе автомобиль; и как человек хотя и изворотливый, даже хитрый, но безусловно честный, зарабатывал он трудные деньги в горах.

Василий недолго сидел: раз, другой нетерпеливо проследил неподвижный взгляд начальника, не нашел в той стороне ничего примечательного и решительно шагнул к своему мешку. Курнули и хватит — пора действовать, и, встав на колени, начал рядком выкладывать на щебень инструмент.

— Так, молоток — есть, кувалда большая — есть, малая — на месте, шлямбур-забурник — есть, кайла, мелочи пошли,— бубнил он.

Руки привычно, без задержки брали инструмент и безошибочно откладывали в сторону то, что в первую очередь понадобится самому. Он терпеливо обертывал каждую вещь отдельно в подручное мягкое, тоже нужное: что совал в рукавицу-верхонку, что заматывал в тряпицу, что обкручивал запасной рубахой. А сам не упорно так, а мимоходом, спокойно, думал, что вообще-то Степанов начальник хороший: и не шумит зря, и справедливый, но бывает, многое делает не так, не «путем»; вот и сейчас — сидит себе. А если сам сидит, то и никто не двинется. Он-то, Василий, не в счет. Он-то понимает. Вообще, будь его, Василия Игнатьевича, воля, не прохлаждались бы. Его даже часто удивляло: он, Василий, постарше все же начальника, да наработался в жизни, многим другим не чета, а вот бодрей, резче, все так и горит в руках. Оно и понятно: не рассуждать надо. Действовать. «Чего размусливать, когда все и так понятно».

Степанову, и верно, не хотелось сейчас предрабочей суеты. Он чувствовал, надо уйти в себя поглубже: разобаться, подавить неподходящее делу настроение.

Главный передал записку от жены. Записку! А это не радиограмма и даже не полуминутный разговор по рации, когда во время сеанса связи, вокруг — возле палатки, рядом с радиостанцией — люди, бригада. И хотя каждый деликатно делает вид, что разговор его не касается, что своим неотложным занят, но ловят и впитывают жадно каждое слово, каждый оттенок в голосе — чужое счастье. И ничего с этим не поделаешь. А вот записка — это наедине. Это только друг для друга, сокровенное.

Степанов прочел записку, когда еще загружались. Жена писала, что здорова, работает нормально, и выходило — все вроде бы хорошо. Но в письме не хватало нескольких, тех самых несдержанных слов, прочитав которые, он действительно бы понял, что все в порядке, что она мучится без него, беспокоится и ждет, ждет.

Жена работала в многолюдной — семь человек, вездеход-амфибия, две, три палатки, это по их понятиям почти поселок — бригаде нивелировщиков, которые продвигались по долине Большой реки. Короткие переходы и особенно то, что продукты и снаряжение всегда были под рукой в машине, позволяло наладить более-менее сносный быт. Они при желании, даже могли выпечь хлеб. Да и не только в этом дело. Нивелировщики почти не зависели от погоды, поэтому могли работать без изнурительных рывков, оптимально отводя время на сон, на личные дела, а это уже другая жизнь.

Перед взлетом Степанов спросил у главного, как жена ладит с новым начальником? Главный неопределенно пожал плечами и как-то скользко улыбнулся: «Кто их знает?» А потом, будто спохватившись, внушительно заговорил, что времени бывать в бригадах у него мало, что ими занимается больше старший специалист — спец по их виду работ, что начальник в бригаде молодой, здоровенный парнюга и подгоняет нещадно.

Несколько раз при этом главный прятал глаза. Степанову почему-то стало тоскливо и пакостно, и он подумал, что главный мог бы сказать короче и умнее, хотя бы так: есть сложности в личных отношениях, но они его жены не касаются. И, словно споткнувшись о взгляд Степанова, тот действительно приостановился. «Да ты, Сергей, уж не ревнуешь ли?» — насмешливо спросил главный и, не дожидаясь ответа, опять нудно начал выдавать Степанову производственные показатели, кто кого опередил в социалистическом соревновании, упомянул, что начальник

в бригаде жены — комсомолец и рвется на первое место.

Как раз этого поначалу Сергей совершенно не понимал: места, проценты, честолюбие. И степановская и другие бригады рекогносцировочно-строительной партии с ранней весны работали за этим рубежом, работали на пределе, за которым было уже невозможное, непосильное физически.

Не он ли, главный инженер, и прилетел сейчас только для того, чтобы уговорить сделать еще несколько сложных вершин, после таких же не менее сложных? Ну, невозможно сейчас на смену перебросить другую, отдохнувшую на пологих гольцах, бригаду с противоположного берега полуострова — кому это не понятно? Им, что ли? Им все понятно.

И прилетел главный не потому, что опасался отказа, бунта, а чтобы взглянуть со стороны — смогут ли еще неделю работать без короткого хотя бы отдыха. Посмотреть своими глазами, ибо давно ясно — они, степановцы, сами-то уже потеряли реальное представление о том, что могут и чего в конце концов не смогут.

Вот чего Сергей хотел: чтобы если и не услышали, то почувствовали правду его люди. Тогда спокойнее было бы четвертому члену бригады — Борису — оставаться в больнице, не зря ведь он пересиливал боль в позвоночнике столько дней, перед тем как сломаться окончательно; чтобы понял Василий — не только деньгами померят труд осенью; чтобы вошла в Станислава Ташлыкова гордость не за спортивные восхождения, а за нудный, изматывающий, но такой сверхнужный труд геодезиста.

И еще хотел Степанов, чтобы редкие радиogramмы и записки жены снова наполнились волнением, чтобы была у него возможность сдержанно и великодушно рассеивать ее страхи. Вот тогда он сделался бы вполне счастлив, тогда в нем ожила бы напряженная потребность отодвинуть еще дальше предел возможного.

«Как же сейчас мне их поднять и повести, когда думаю черт знает о чем? — думал Степанов. — Да что я в самом деле... Первая или последняя моя горка, что ли? Не вокруг надо опору искать, а самому внушать другим силу и уверенность. Разнюнился. Жена. Это все потом — личные дела и переливы душевные. Надо приказать себе — думай только о работе. Если я хочу удержать ее, так и надо железным быть. Плевать, что она говорит — холодом от тебя несет, льдом. Бесчувственный. Никто тебе по-настоящему

не нужен, ни в ком ты не нуждаешься. А каким я еще могу быть, чтобы здесь выдержать? Сопли распускать? Уговаривать? Да уж лучше самому сделать, что тяжелее всего. Поймут...»

— Сергей,— прервал его размышления голос Ташлыкова. Он подошел вплотную и смотрел на Степанова с тревогой.— Где идти решил?

«Вот, досиделся,— подумал Степанов.— Когда это было, чтобы он о деле наперед меня побеспокоился?»

— Я-то решил,— ответил Степанов. А внутренне слегка раздражился: «Альпинист называется, мастер. Всмотрел, так и скажи сразу свое мнение. На себя брать не хочет. Не мне—тебе должно быть видней». Но спохватился и даже устыдился своей раздраженности. «Правильно. Он о моих душевных зигзагах не догадывается, да и не надо, чтоб знал. Я здесь не первый год. На Кавказе ему одно, а здесь другое—Север, работа. Начальник, в конце концов, я. И все мне: и решать, и отвечать, и слово последнее за мной».

— Давай вместе посмотрим,— спокойно, уже вслух, сказал он.— Сам-то как считаешь?

— Надо отсюда чуть выше подняться и под гребнем, потом по отрогам подойти под вершину, а против нее прямо в лоб лезть.

— Почему так? — еще спокойнее, даже, казалось, равнодушно, спросил Степанов.

— Да так мне кажется. Н-не знаю,— тянул Ташлыков. Но закончил определенно, четкое слово подобрал: — Безопаснее.

— Так ведь намного длиннее, а значит, дольше, сил больше уйдет и времени. А с каждым часом мы будем больше уставать, внимание начнет притупляться. Опасность возрастать. Отдыхать-то нам здесь негде, да и не с чем. Опять же, перед вершиной неизвестно во что упрямся,— подробно излагал свои соображения Степанов, потому что видел, как Василий внимательно слушает.— Там будет очень круто. А если стена? — твердо взглянул он на Ташлыкова.

Станислав задумчиво перевел взгляд с лица Степанова на гребень, нахмурился. Он молчал, потому что возразить доказательно не мог.

— Так что гребнем надо идти. Отсюда прямо на вершину,— подытожил Степанов.

Вообще-то он решил это сразу, еще в вертолете. Острой вершина была с двух сторон: с севера обрывалась в полукруг чуть не на полкилометра, с юга метров на полсотни, но почти отвесно, куда и предлагал выходить Станислав. Но он, навсрное, забыл, что теперь с ними нет Бориса, который особенно хорошо ходил по скалам, и с грузом, раскиданным только на троих, им не затащить Василия, скалолаза весьма посредственного, на стену. А гребень давал хоть какую-то свободу для маневра — возможность уходить вправо и влево, выбирать путь.

Однако не эти соображения были решающими для Степанова. Удивляло, что Ташлыков не вспомнил, главное — выиграть время, на этом строили расчеты при подготовке. Как только можно быстрее — за одни сутки — сделать Острую, чтобы ни в коем случае не ночевать наверху, потому что нет сейчас для них ничего страшнее холодной бессонной ночевки. Надо сохранить силы для двух других вершин, на которые придется заходить и делать работу по пути в лагерь. Только после второй горы груз уменьшится, а тогда, почти налегке, можно будет и третью взять.

Всех дел суток на пять, и на эти пять суток в обрез продуктов. Но с последней горы в лагерь на реку — «домой», даже если где-то выйдет заминка и сутки потеряют, они и невыспавшиеся, и полуголодные спустятся.

Степанов взглянул на Василия — важно было знать, как тот настроен, потому что идти легче, когда дорогу выбираешь сам. Чтобы не торопить его, он приподнял по очереди все рюкзаки — за разговором перекинули часть груза, теперь они были почти одинаковыми, ташлыковский чуть тяжелее, как всегда, — и взвалил на спину свой.

Василий тоже успел вложить истертый мешок в почти новенький рюкзак с мягкими широкими лямками, приладил его и выжидающе смотрел на начальника: пора, мол, говори — вторым ли мне идти, последним ли.

И тогда Степанов решил окончательно.

— Гребнем пойдем, — сказал он еще раз. — Я впереди, за мной Василий. Ты, Станислав, замыкающим.

И двинулись.

Восхождение

Первые полтора часа по довольно простому склону шли молча. Сделав предыдущую работу, они всего три часа отдыхали — собирались, да пили чай, да еще подремали

в вертолете и теперь, подавляя прежнюю усталость, медленно входили в новый рабочий ритм.

Поднявшись наконец на гребень, переглянулись и сели покурить. И тоже молча, потому что за несколько месяцев научились понимать друг друга без слов и не мешать, когда хотелось тишины; а сейчас и говорить, даже по делу, время еще не подошло: прямо перед ними по гребню верблюдьими горбами возвышались две мощные скалы, и путь впереди не просматривался.

Степанов пересиливал себя, старался думать только о деле, но в памяти возникал Борис. Его веселой неунывающей напористости явно не хватало — умел Борис поднять настроение. Тревожно было не видеть привычную фигуру четвертого товарища. Казалось, он отошел в сторонку и сейчас выйдет из-за ближайшего камня. Куцей сделалась бригада, какой-то не настоящей; и Степанов понимал, о том же думают Василий и Ташлыков.

Ташлыков, видимо, немножко обиделся: сидел полубернувшись, но лицо выглядело непроницаемым. Он читал газету, которую выпросил у пилотов.

Василий приглядывался к обоим, беспокожно теребил ремешки, ощупывал рюкзак, а больше украдкой взглядывал на Степанова, ловя момент что-то сказать.

И, выждав время, некстати вспомнил Бориса.

— Слышь, Сергей, как думаешь, долго Борис пролежит там? Вернется к нам еще иль без него сезон кончим?

— Вряд ли вернется. Врачи не пустят, тяжелое нельзя поднимать, — ответил за Степанова Ташлыков.

— Да, вероятнее всего, — подтвердил Степанов. — Даже если и поправится, где-то мы будем? Как его к нам перебросят? — стараясь говорить спокойнее, добавил он.

— Ох, тяжело нам троим-то будет, — почесав затылок под шапкой, уверенно и отчаянно-весело подбодрил себя Василий.

— Однако идти надо, — совсем тихо сказал Степанов, но встал резко, пружиной, и двинулся сразу в хорошем темпе, не давая разговориться на ненужную сейчас тему.

До полудня было еще далеко. Он посмотрел время — шли уже два часа. Спина сделалась мокрой, но только теперь рассосалась старая усталость и появилась новая нудная тяжесть в плечах под рюкзачными лямками.

С первого горба открылась ближайшая часть пути, и Степанов понял, что если бы заранее подробно знал гребень, никогда не повел бы Василия здесь, потому что тот до сих пор не ладил со скалами, не способен был тормозить в себе боязнь высоты.

Но и под вершиной, в той стороне, где предлагал идти Ташлыков, Острая так круто падала вниз, что еще неизвестно, где бы натерпелись больше. Там, возможно, вообще пришлось бы уходить из-под стенки и искать подъем по этому же гребню.

Теперь, когда выбор сделан, потрачены силы и время, передумывать, рыскать в поисках более легкого пути было поздно. Степанов решил идти все время первым и первым платить за все.

Еще через час, за вторым горбом, гребень сузился, и началось то, о чем предупреждал Станислав и чего боялись все — острые зубцы.

Степанов не оглядывался. Он слышал металлический перезвяк триконей¹ Васькиных ботинок, и этого было достаточно, чтобы знать, тот ровно идет вплотную за ним. По этим звукам он привычно чувствовал даже настроение Василия — ни сомнения, ни страха в нем пока не зародилось.

Упираясь спиной в одну и ногами в другую стенки трещины, Степанов выбрался из разлома и увидел на фоне густого синего неба высокую светло-коричневую скалу, которая, как зуб из десны, выростала из гребня метров на двадцать. Степанову показалось, что это палец гигантской руки манит его. Ташлыков называл такие зловещим словом — «жандарм».

Степанов попробовал забраться наверх, но зацепиться было не за что, и он начал обходить этот чертов палец низом, где вырастал он из круто падающих каменных плит и где, казалось, положе.

Грудью прижимаясь к скале, Степанов надежно выискивал выступы ногами и руками. Рюкзак тянул назад под склон, но ему удавалось сохранять равновесие. Он шел уверенно, плавно перемещая тело на новые точки опоры, и старательно следил, чтобы их всегда было три: две новые и одна старая, испытанная.

В одном месте сомнения одолели его: «Я-то пройду, а

¹ Трикони — пластины из мягкой стали с тремя зубцами на ребре, прикрепляются на подошве альпинистского ботинка.

как Василий?» Но тут же решил: «Первому тяжелей. Раз я пройду, пройдет и он. Он же сейчас запоминает, где я иду, за что цепляюсь». О Ташлыкове он не беспокоился: спортсмен, для него это — сам говорил — «пенки».

Миновав чертов палец и снова выйдя на гребень, Степанов облегченно вздохнул и присел. Привалился рюкзаком к камню, достал папиросу — поджидал, пока Василий подойдет к трудному месту, чтобы предупредить его.

Василий не мудрил, а в точности повторял путь Степанова, но, еще далеко не дойдя до опасного места, сорвался. Степанов видел, как удивленное, недоумевающее выражение на лице Василия менялось: его искажал страх, оно делалось неподвижным. Степанов рванулся помочь и сам чуть не улетел вниз, потому что забыл про рюкзак.

У него похолодело в груди. Холод отозвался в животе и коже затылка, когда он мучительную долгую секунду чувствовал, что почти невесом и вот-вот начнет падать.

Василий держался только на руках. Трикони на носках ботинок все реже и реже безнадежно лязгали о шероховатую отвесную стену. Руки слабели, медленно разгибались в локтях, и в лице появлялась та отрешенность, когда человек в последний раз начинает понимать, что сил у него не хватит; и еще не смиряясь со смертью, соглашается уже с мыслью, что держаться больше не может.

Ташлыков мгновенно освободился от заплечного груза. Движения его казались медлительными, настолько в них не было ничего лишнего. Казалось, Ташлыков плыл вдоль скалы, на метр, на два ниже уровня Василия.

Наконец Степанов справился с потерей равновесия и победил силу страха, тянувшую его в пропасть. Через несколько секунд он тоже шел к Ваське, только руки дрожали, не набрав еще полную уверенность.

Он был ближе, но опоздал. Ташлыков чуть поднялся вверх и подставил под ботинок Василия ладонь.

На гребне, где лежал рюкзак Степанова, они молча и жадно выкурили по папиросе, но не двинулись с места, пока Василий, выйдя из оцепенения, не рассмеялся громко и неестественно. До него, видимо, только сейчас стало доходить просто и ясно, что могло случиться.

Надевая рюкзак, он все старался через плечо заглянуть вниз, на далекие обломки скал, на пенную ниточку ручья, грызущего снег и лед у основания гребня. Степанов, боковым зрением проследив его взгляд, тоже поднял-

ся и, надевая лямки, удачно загородил Василию обзор. Тот сразу понял, смущенно повернул голову к скале.

Но дальше подъем пошел спокойнее. Только в одном месте, где гребень был хотя и ровным, но настолько узким, что едва удавалось поставить два ботинка рядом, Василий не смог пройти по нему в полный рост. Где на коленях, где оседлав гребешок как круп норовистого коня, он медленно одолел этот кусок, напряженно глядя вниз и только изредка вперед — много ли еще осталось.

Степанов шел в полный рост. Шел внешне спокойно, но внутри был напряжен до страха. Ему тоже хотелось прикинуться к равнодушному камню, прилипнуть и ползти по нему гусеницей. Иногда воздушная струя, вырываясь снизу или обтекая его сбоку, едва заметно надавливала, и этого неожиданного прикосновения становилось достаточно, чтобы всем телом почувствовать глубину обрывов по обе стороны гребня.

Перед вершиной ребро расширилось. Подъем сделался крутым, но безопасным — без снега, льда, сухие обломки. По крупной россыпи надежно лежащих камней можно было идти как по ступеням. Работа не для мозга и нервов — механическая.

Степанов шел и думал, что вот он вроде бы и прав, что выбрал этот путь, и что, возможно, под вершиной пришлось бы хуже, но сейчас, наверное, в глубине души, даже не вполне признаваясь в этом самом себе, Василий и Ташлыков считают его в чем-то виноватым. А в чем? Василий мог и не удержаться. Может, он и остался бы жив, что, впрочем, маловероятно, но для Сергея дело совсем не в том: мог сорваться и сам Степанов, и Василий мог улечься не здесь, а на маршруте, который предлагал Ташлыков. Грызло совсем другое: имел ли он вообще право выбрать этот или какой-то иной путь, не поискав совсем безопасный вариант; или, не попробовав все, вообще что-либо выбирать? Справедливо было бы пройти все самому и тогда решать, потому что это его профессия. Они здесь люди случайные. Но разве это возможно? Разве хватило бы ему сил? И времени. Если бы он пробовал все только сам, они не укладывались бы ни в какие нормы.

А если бы кто-то разбился, как жил бы он, Степанов, дальше? Выговор, снятие с работы, даже хуже что-нибудь — разве это наказание? И кто может спросить с него строже, чем он сам?

Рабочее место

На вершину вышли неожиданно. По усилившемуся потоку воздуха, по тому, что горизонт слева и справа начал отодвигаться и падать, Степанов понимал, что они на подходе. Вот глаза его вровень с последними камнями, вот еще шаг, и выше, и еще шаг...

Степанову показалось, что он встал над горой и головой пробил небо. Все теперь лежало под ногами: гребни, отроги, другие вершины, а вокруг, и прямо по горизонту, и понизу — небо, небо и небо. Густеющий в синеву воздух — пространство.

На западе, очень далеко, только по тону чуть более светлому, угадывалось, где кончается берег и начинается таинственный залив Шелехова богатого Охотского моря. На востоке, тоже далеко, синяя размытая кромка неба сливалась с белесой поверхностью студеного моря Витуса Беринга.

Сколько бы сил ни отнимал подъем, но тем, кто одолел его, всегда дается радость одну минуту почувствовать себя бессмертным: понимать, что ты всего лишь маленькое человеческое существо, и, одновременно, забыть об этом — слиться с вечным бездонным небом.

И совсем не жаль, что эта минута быстротечна, потому что чем она короче, тем и счастливее.

На вершине Степанов не отдыхал. Только огляделся, свалил надоевший заплечный груз и стоя выкурил папиросу. Теперь, пока он не отыщет в хаосе куполов, пиков и гребней нужные по проекту вершины, не убедится, что все они видны отсюда, ребята вынуждены будут ждать. Работает Степанов не первый год, но даже для него это дело не простое. Хотя бы такая мелочь: «прочесть» карту и, зрительно представив очертания вершины, разыскать ее на горизонте за пятьдесят и больше километров. Если сам стоишь пониже, а горки вокруг повыше, то видны они на фоне неба — тогда еще можно разглядеть их подробно. А если, как сейчас... Все сливаются внизу в сплошной желто-серый фон с белыми пятнами ледников и зеленоватыми — стланика.

Начал Степанов работать, но еще только устанавливая инструмент, он сразу взглянул на северо-запад. Не сквозь увеличительную трубу теодолита и не в бинокль

даже. Опасался он за это направление, помнил, что между Острой и проектной вершиной было препятствие.

Сейчас Сергей решал — сразу заняться этим направлением или для надежности освоиться, отработать несколько других, втянуться, проверить правильность снятых с карты и схемы азимутов, присмотреться, как ведет себя магнитная стрелка буссоли и точно ли он установил инструмент.

Ребятам его, конечно, и сейчас есть делишки: разыскать и поднести цемент, детали пирамиды, которые попутно сбросили с вертолета еще месяца полтора назад; присмотреться, где можно найти воду, щебень для бетона, подыскать надежное место в затишке, где удобно приготовить и расположиться поесть: растопить лед или снег да заварить сейчас чайку покрепче с устатку. Но все равно это имело бы полный смысл только тогда, когда он уверенно скажет: место для геодезического знака вот здесь.

Какое-то время Степанов осваивался, но тревога мешала, и он решил, что пришла минута начать разбираться со смутным направлением.

Как раз в том месте, где должна была виднеться нужная вершина, на плече соседнего гольца, рядом с самым пиком, различался едва заметный выступ. Степанову он показался инородным, не принадлежащим соседу.

Соседний голец, до которого через полуцирк было по прямой километра три, обрывался к ним черной, на первый взгляд отвесной ровной стеной. Был он какой-то мрачный, совершенно голый, казалось, даже без лишайников. Белеющий в трещинах снег местами перечеркивал стену, но тоже не весело, а еще больше оттеняя черноту. Виднеющийся бугорок выглядел веселей — вроде черный, но больше в желтизну. Сперва-то Степанов обрадовался, но тут и охолодил себя: просто стена чуть ближе и по-другому освещена.

Несколько минут он выжидал, чтобы под солнцем оказалось ближнее облако, потом дальнее, смотрел через теодолит и в бинокль — уверенность не приходила. Ему очень хотелось верить в то, что видит ту самую — дальнюю вершину. «А, черт с ней, — в отчаянии думал Степанов, — рискну?» Но тут же спохватился: «Нельзя рисковать». Ведь если он ошибется, придется переделывать все. Но потом, не сейчас. И может быть, не ему. Это всегда соблазнительная мысль. Можно будет отдохнуть и пойти только на одну вершину. Потом можно будет вызвать вертолет и сбросить другой знак туда, где все сложится удач-

но. А этот — в пропасть. Сказать, что половину не нашли. Ведь не нести же эти железяки на себе вниз на площадку, где высаживал их борт. Не стоят они того.

Но другой Степанов, с которым ему порой было очень трудно ладить, говорил: эти железяки того стоят. Лишних нет. Они сейчас по ценности потянут, как драгоценный металл, столько в них вложено человеческого труда. Их везли через всю страну по железной дороге; хранили, выжидая навигации, грузили на судно и тащили морем; а сюда забрасывали вертолетом, час эксплуатации которого обходится дороже двух сотен. Да и не только в этом дело — выпуск карты отодвинется на целый год.

«Надо идти туда, — безжалостно, как не о себе, подумал он вдруг. — Посмотреть, а может быть, и знак там ставить. Тут не решить никак. Надо убедиться».

Он оторвался от теодолита и, тяжело опустив плечи, пошел к площадке меж двух больших камней, где ровно гудел примус.

— Ну что, Николаич, все хорошо? Кончил? Сейчас чайку попьем и начнем: дел здесь, ох, много. Я посмотрел. — Василий заметно повеселел и говорил оживленно. Работа, ее конкретность и понятность, успели плотно заслонить недавние неприятности. Он был на подъеме — жил, кипел истовой верой, что через самое трудное уже прошел.

Степанов часто ловил себя на том, что понимает своих людей настолько, что иногда и после долгого молчания может вслух продолжить их мысли. «Это, видимо, оттого, что жизнь наша здесь проста и понятна, и переживаю я то же самое, — думал он. — Вот, как после такого восхождения, сказать им — место не здесь, все рухнуло?»

— Есть, Вася, одна загвоздка. Надо собраться, вместе подумать. Где Станислав-то?

— Вниз спустился. Детали туда улетели. Две связки. И рассыпались. Кричал, что нашел. Будет поднимать.

— Помочь нужно было, — сказал Степанов жестко.

— Прогнал он, — с обидой выдавил Васька. — Привязал веревку и кричит — сам подыму. Спуск, кричит, опасный.

«Вот и он, где опасно, старается в одиночку, — подумал Степанов. — Может, так и правильно. Человечно. Но ведь не разумно. Годами уж проверено и жизнями — одному здесь никуда. Ни шагу».

— Пей, Николаич, остыл уж маленько, — Василий пододвинул Сергею закопченную банку из-под тушенки.

«Как же противно пить чай из этих жестянок, — ста-

раясь скрыть неудовольствие, подумал Степанов.— Сколько уж лет вот так, а все не привыкну». Он вспомнил, как в этом году перед первым подъемом выложил из рюкзака Бориса кружки. «Лишний груз,— кратко сказал он тогда.— Консервы вывалил в варево — вот тебе и посуда. Чай попил — и в пропасть. Не нести. Здесь так». И опять он вспомнил Бориса, и опять подумал, как нужен был бы сейчас ему, им всем, неунывающий бывший танкист. Борис бы только и сказал теперь: «Значит, такая наша судьба. Ничего, сейчас плохо, после будет лучше. Думай не думай, а дальше жить надо».

Чай был очень крепкий, почти черный, вяжущий во рту, и Степанов допивал мелкими глотками, загрызая крошками колотого сахара. Он налил из котелка вторую банку и бросил туда кусочек льдинки. Лед таял, окутываясь прозрачной поволокой, но чай не светлел.

Тяжело дыша и редко шагая, снизу подошел Ташлыков. Он рукавом вытер крупный пот со лба, сел против Степанова на корточки, прочно привалившись спиной к камню, и было ясно: хорошо поработал, без роздыха, теперь минут десять не двинется с места, но уж снова наберется силы как следует. Прочный человек.

— Сразу все не вытащить,— отдышавшись, сказал он неожиданно легко.— На четыре связки разбил. Надо опять лезть. Ну, а у тебя как, Сергей?

— Идти надо вон на тот гонец, через цирк. К соседу в гости. Посмотреть там,— допив чай, с расстановкой, тяжело, но и спокойно, уверенно сказал Степанов.— Вижу бугорок, а понять, что это такое, не могу. Может, нужная нам вершина, а может, скала соседа торчит. Наблюдателям очень сложно будет уголки мерить: луч слишком близко над препятствием проходит, если даже сосед не мешает, это помеха. Вдруг там камни какие можно сбросить, снять метра два. Сбросить, если скала разбирается. А может, и еще хуже дело обернется.

— А толку-то? Чего туда идти? Зачем? — выдал голос Ташлыкова: устал, злится. Всего ждал Степанов — недовольства, растерянности, сомнений,— но такого глухого неприятия, сопротивления сразу...

— Если это гребень соседа закрывает, то посмотрю оттуда. Появится возможность на ходу переделать проект, там будем строить. Если ничего лучше не придумаем.

После этих слов наступило молчание. И надолго. Все трое сосредоточенно смотрели на синее пламя примуса.

И, видно, настолько заняты были своими мыслями, что не замечали даже — работает вхолостую, без пользы выгорает драгоценный бензин, которого все про все, кроме этой заправки, несли с собой полтора литра.

— А почему ты считаешь, что это надо делать именно здесь: далеко от палатки, от продуктов, от снаряжения, от радиостанции? Ситуация не подходящая сейчас выход искать. Случись что и... Нам не смогут помочь. Там ведь знак, на той видимой-невидимой вершине, не построен? Нет. Надо оставить дело до лучших времен. На тот пункт забросят строить, вот там и разберемся, — снова вполне овладев собой, рассуждал Ташлыков. Но интонация сквозила у него не предположительная. Уверенно, решенно сказал он. И глядел на Степанова прямо.

Очень его тон не понравился Сергею. Не готов он был к такому. Слова-то по сути верные, но нет в них тревоги за все дело. Желания участвовать в поиске выхода не чувствовалось — только спихнуть, отложить.

Степанов протянул руку и плавно заглушил примус.

— А если не получится, как ты предлагаешь, — усмехнулся Степанов. — Если не нас туда забросят, не нам расхлебывать придется? Ведь мы в камералке зимой мудрили, обойти пробовали этот массив. Не вышло. Это только на месте возможно разрешить, здесь. Сейчас только на три километра уйти, а там неизвестно, какой представится выход — может быть даже, если здесь поставим, что-то ломать придется и перекраивать уже капитально?

— Усложняешь ты все, по-моему. Сейчас мы одни, а сообщим начальству, может, что и придумают, помогут, — и успокаивал и наставлял Ташлыков.

— Ну, а если не придумает начальство ничего лучше, как изменять проект в ущерб качеству измерения углов, или, скорее всего, сюда же возвращаться прикажет? Что про нас думать станут, — голос Степанова твердел. — Или тебе это все равно? Надо сначала здесь попробовать сделать все, что от нас зависит. Что в наших силах. — Закончил он, и похоже, говорить больше не собирался.

— А что здесь можно и что в наших силах? — Вдруг совсем спокойно, даже с удовольствием произнес Ташлыков. — До той вершины по прямой три километра. Знак, цемент, инструменты, про мелочи я уж не говорю — минимум двести килограммов. Неужели ты не понимаешь, — с искренним удивлением спрашивал Ташлыков, — что их не один день туда заносить придется? Эти три километра —

тяжелые. Спуститься вниз в полуцирк, это еще так-сяк. И то, перепад высот около тысячи метров наберется. А вверх? Там же стена! Я видел, есть кулуары¹, но кто знает, можно ли по ним подниматься с эдаким грузом? Впрочем, чего говорить: можно поставить в этих камешках большую палатку, сбросить с вертолета спальники, продукты и по одной детальке все туда перетащить. А кто за это заплатит, кому докажешь, сколько такая работа стоит? — Ташлыков безнадежно махнул рукой и умолк.

Василий вытащил из мешочка четыре больших сухаря, вздохнул и один спрятал обратно — привычка сработала, их с весны было четверо. Он осторожно развернул ватный бушлат, комом лежавший возле камня, открыл двухлитровую жестянку, в которой готовили еду в маршрутах. Ее брали потому, что она была легкой и могла одновременно служить жесткой коробкой для теодолита. Проблема оставалась — каждый раз ее выжигать и вытирать.

И в течение всего разговора и теперь лицо Василия было непроницаемо спокойным. Но за него Степанов не волновался. Удивил Ташлыков. Что с ним? Устал, сдали нервы, жалеет Василия? Он же, Станислав, и ехал сюда из спортивного интереса. А может, только так говорил, а на уме с самого начала маячили только деньги? И правда, мог бы работать инструктором-альпинистом — жизнь привольная, посмотрел бы больше, мотаясь по разным объектам; но попросился к Степанову рабочим. А у Степанова получит раза в три больше, чем инструктор.

«Что ему еще сказать? — соображал Степанов. — Надо ли?» Он лучше других должен знать, что гора горе рознь, что Степанов и так везде, где только можно, в месячных нарядах растягивает километры подноски груза, чтобы как-то заранее компенсировать такой случай.

— Давайте-ка пожую, пока суть да дело, — мудро и примирительно предложил Василий. — Видать, с пустым желудком такие дела не решаются.

Ташлыков уже выпил чай и, отгородившись сейчас от них задумчивым молчанием, курил вторую папиросу.

— Я свое сделаю, вытащу знак на площадку, — сказал он, решительно поднимаясь. — Потом поем.

Степанов мог приказать остаться. Мог приказать Ташлыкову собираться и идти с ним, но не видел большого

¹ Кулуар — углубление до нескольких десятков метров в ширину, возникшее под влиянием текучей воды, камнепадов.

проку в таком насилии. Да и не такое уж безопасное предстояло дело, чтобы вести человека не добровольно.

Молча хлебная горячее варево, решил, что пойдет один. И решив так, сразу замкнулся и отгородился — даже сейчас, сидя рядом с Василием, Степанов был уже один.

Три километра по прямой

Постепенно Степановым овладевала все-таки раздраженность. Она заслоняла страх, осторожность, разумность. Опыт говорил, что идти одному нельзя, что соответствующий запрещающий параграф инструкции по технике безопасности написан горьким опытом многих полевых сезонов, многими короткими жизнями. Все правильно, только этот же опыт говорил Степанову, что идти надо.

У него шевельнулась мысль взять Василия, но после того, что передумал на гребне, такой выход показался собственной слабостью и даже жестокостью, потому что пользы от Василия на скалах не видел никакой.

Степанов аккуратно протер бинокль и подумал, что возьмет его с собой без футляра, только завернет во что-нибудь. У самого края обрыва он стал просматривать дно полуцирка и скрупулезно, последовательно путь по стене. Выходило все не так уж страшно. Склон только на первый взгляд казался ровным. При двенадцатикратном увеличении возникла обнадеживающая картина: под самой вершиной стена во многих местах просекалась трещинами и кулуарами. В них лежали камни. «Если камни лежат, то не должно быть очень круто», — понял Степанов.

На самой вершине он увидел снежного барана. Баран медленно уходил к отвесным скалам вниз, и Степанов решил прихватить с собой карабин. «Добуду мяса, на несколько дней можно нам задержаться без всякой голодовки. Вот и нет проблемы», — радостно и азартно подумал он.

Теперь все было при нем: карабин, нож на опояске сбоку, почти у самого позвоночника, чтобы не мешал ни при каких движениях, как научили носить его эвенки, запасная обойма, сухарь и, в почти пустом рюкзаке, сумка с картами, бинокль, завернутый в чистую бязь, буссоль.

— Не стоит одному, начальник. Что за нужда? Давай вместе пойдем, — Василий сказал вроде беззаботно, но не хотелось ему идти, это и слепому было заметно.

Степанов повернул голову и сквозь зубы бросил:

— Ничего страшного. Я посмотрел внимательно. Там идти можно. Ты лучше время не теряй: Ташлыков поднимется, прикиньте вместе, как знак собирается, не надо ли где отверстий дополнительно пробивать. Ну, и вообще...

— Да не беспокойся. За этим дело стоять не будет. Первый раз, что ли,— повеселел голосом Василий.— Гляди там, осторожней. Все взял-то, ничего не забыл? — крикнул он уже вдогон.

К Острой сходилась три гребня, и сейчас Степанов начал спускаться в сторону, противоположную той, с которой они пришли. Уходить сразу в полуцирк не решился — прямо по скалам смотрелось очень круто. Еще на подлете он разглядел несколько снежных кулуаров и еще тогда подумал зачем-то, что снег теперь должен быть сырой и по нему удобно проминать ступени и идти.

Плечо предвершинного гребня было ровным и широким, и Степанов пошел по нему, внимательно высматривая подходящий спуск.

Первый кулуар сразу устойчиво не понравился. Он был крут, узок и извилист. Второй удалось просмотреть почти весь, и он показался вроде бы ничего: от гребня, где стоял Степанов, до начала снежника — метров сто крутого, но вполне проходимого спуска; ниже белел снег, и в конце сахарного цвета язык выходил на морену из крупных камней.

Можно было идти по второму кулуару, но Степанов не поленился и из осторожности прошел посмотреть дальше. Третий оказался положе двух первых, но отворачивал далеко вправо от прямой, которой Степанов решил придерживаться; и хотя дно полуцирка отсюда казалось ровным, он знал, что это обманчиво. Идти там не сладко и удлинять путь совсем ни к чему: постоянно обходить крупные валуны, перепрыгивать с камня на камень, взбираться на большие обломки — потеря сил и времени.

Он вернулся и стал спускаться во второй кулуар. Лезлось хорошо: только слегка придерживался руками за скалы. Карабин, по привычке, висел на груди, но здесь это мешало и, выбрав ровное устойчивое место, Степанов перекинул его за спину.

Работа была простой: монотонной и безопасной, Сергей не сосредоточивался на ней. Мысли разбредались. Подумал о записке жены, но это приносило взвинченность, неуверенность, и он постарался успокоить себя, переключиться на

другое. Потом вспомнил, что надо было забрать у Ташлыкова ледоруб. На снегу наверняка пригодился бы, правда, неизвестно — не нужен ли он сейчас позарез самому Станиславу. И Сергей пожалел, что не заглянул в обрыв, не посмотрел, как ему там приходится. Эта тревожная мысль пришла внезапно, но теперь, до возвращения, изменить ничего нельзя. Вспомнил Василия и сразу ухватился за надежду на его расторопность: не станет сидеть да покуривать втуне, а пойдет помогать Станиславу — предостережет и посоветует, и уже не один человек, уже легче. А чтобы окончательно отвлечься и от этой тревоги, начал думать о снаряжении, о том, как бы выкроить день да посмотреть ледовые кошки, ледорубы...

Ледорубы, которые выдали со склада экспедиции, никуда не годились. Сталь, в общем, у них не плохая, но мягкое древко могло сломаться в самый нужный момент, а это — смерть, потому что ими не только рубят ступени, древко вбивают в снег и через него организуют страховку. Они давно отказались от заводских ледорубов. Этот принцип еще ни разу не подвел Степанова: если страховка хоть сколько-нибудь не надежна, то лучше совсем без нее, лучше надеяться только на себя. Может быть, поэтому и жив до сих пор. Правда, несколько раз уже падал, но пока удачно.

Скалы кончились, и Степанов ступил на снег. Собственно, это был не совсем снег, плотная, веками слежавшаяся масса, которая выкристаллизовалась в зерна льдинок — фирн. Сверху фирн действительно подтаял, сделался рыхлым, и можно было твердо, с притопом врубая трикони, идти в полный рост.

Но чем ниже спускался Степанов, тем круче становился кулуар. Он забеспокоился — рассчитывал на другое, думал, выполаживаться склон начнет не в самом низу, а раньше.

Его худшие предположения оправдывались — спуск пошел не равномерно, а ступенеобразно, перегибами. Однако первый он прошел хорошо. Просто соскользнул по нему, как на лыжах — глиссировал, и надежно остановился на подтаявшем пологом фирне.

Дальше пошло хуже. Стенки кулуара затеняли солнце — фирн успел затвердеть, а на следующем перегибе Степанов увидел голубой чистый лед. С большим перепадом высоты лед изгибался круто, изломами, отдавал в глубине бледно-изумрудным светом. «Тут без ледоруба не пройти: если поедешь, не остановишься. Ступени бы вырубить, тог-

да...»—с тревогой думал он, еще не предполагая, где искать выход.

Степанов остановился. Даже подходить к краю, чтобы осмотреть кулуар ниже, было безумием. Но и возвращаться, пробовать другой спуск особого смысла не имело. Сколько на это уйдет времени, сил, успеет ли он тогда до сумерек? Да и найдется ли там путь лучше?

Он оторвал взгляд от гипнотизирующего льда и начал осматриваться. Противоположная стенка цирка, раньше казавшаяся мрачной и чужой, дыбилась прямо перед ним—теперь желанная и недоступная. Отсюда она казалась даже уютной—он ясно видел, что камни в трещинах, где еще перед полуднем сочилась талая вода, снова примерзли и лежали прочно, потому что прямое солнце ушло и освещало рассеянным светом из-за гребня. Там теперь не было бы проблем, только лови удачу, а он так глупо остановился в середине спуска.

Степанов посмотрел вниз—вот дно полуцирка, камень брось—меньше чем через минуту—там. Взгляд скользнул по серой скалистой стене кулуара, и его как обожгло: вот же выход—выйти на стенку и спуститься по скалам.

Он знал, что между льдом и скалой летом всегда бывает краевой зазор, рантовая трещина—рантклюфт, потому что камень нагревается под солнцем быстрее и лед подтаивает, отступает. Так было и в этом месте.

Трещина оказалась широкой, и Степанов попробовал подняться вверх, рассчитывая, что она сузится, но возле первой же ледяной ступени остановился: трикони скользили, а опоры для ног рубить было нечем.

Он вернулся и еще раз осмотрел трещину. Можно было перепрыгнуть, только неприятно нервировал близкий край, где лед голубел совсем уж гладкой поверхностью.

Он убедил себя рискнуть. Надо было разбежаться поперек кулуара и в прыжках, всей тяжестью тела врубая трикотни, добежать до края, набрав инерцию, прыгнуть и, пролетев два с лишним метра, прилипнуть к скале.

Он отошел подальше, почти на самую середину снежника, и там неторопливо выкурил папиросу, сосредоточиваясь только на одном—на прыжке.

Ему оставалось пробежать метра два, когда трикони левого ботинка не врезались в наст.

Упав боком на склон, Степанов сразу перевернулся лицом ко льду, как учила строгая альпинистская наука падения и, распластавшись, старался увеличить площадь тре-

ния, удержаться. Скользил он медленно, и казалось, что вот-вот остановится.

«Если бы ледоруб»,— мелькнула мысль, и он попытался вытащить нож, но в это время перевалился через перегиб, и его напряженное тело, в котором все превратилось в молчаливый вопль, стремительно набирая ускорение, заскользило вниз.

Через секунду ему удалось достать нож и, царапая лезвием лед, с какой-то не своей, нечеловеческой, силой прижать его к груди. Он даже не ощутил, замедлилось движение или нет. Нож сломался, и он, кажется, расслышал жалобный звон клинка.

Когда развернуло головой вниз, Степанов увидел крупные камни морены... «Конец! Все»,— успел подумать он.

Очнулся Степанов сразу, а может быть, вообще не терял сознания. В первое мгновение не почувствовал своего тела и удивился. И испугался.

Видимо, все-таки не терял сознания, потому что, хотя и боялся пошевелиться резко, сделал это невольно, как бы продолжая цепляться за склон.

Степанов почувствовал боль и обрадовался. Она была знакомой: жгучая, саднящая боль в ладонях ноющими толчками отзывалась во всем теле, и он пошевелился решительнее.

Через некоторое время жгло и ныло уже во всем теле, но острой до тошноты боли не было нигде.

«Слава богу, кажется, кости целы,— подумал он.— Но почему жив-то остался?» Он приподнялся, привалился спиной к обломку и огляделся. Крупные глыбы громоздились несколько ниже, метрах в двух, трех от него. «Повезло — не долетел». Он лежал на мелких камнях, выровненных отступившим языком льда.

«Жив! И на этот раз...— удивленно и радостно думал Степанов.— Господи! Ну и везет. Скорее бы все кончилось. Осенью в Москву, и больше не поеду. Хватит. Так ведь не будет везти всегда. Сколько веревке не виться, а конец есть. Я свое отработал. Все. Теперь пусть другие».

Он понемногу успокаивался. Закурил и вдруг представил, что где-то сейчас совсем другая жизнь, в которой не надо делать того, что он каждый день делает здесь. Там тепло и спокойно, ничто не угрожает самой жизни непосредственно сию минуту; и не надо постоянно перешагивать

через свое «не хочу»; не надо постоянно решать самому, а просто подождать, что за тебя решат другие, и добросовестно исполнять.

Летом в той жизни бывают воскресные дни, есть пляжи, книги, театры, баня. Он решил, что если будет более осторожен и терпелив, то у него будет зима и он пойдет с женой в театр. В театре она выглядела особенно красивой, настолько, что он временами и не верил — она его женщина, его жена. Он представил, как она наденет его любимое платье с вырезом на груди, где чуть видно ложбинку, и там будет маленькое кольцо из синих камешков, как он купит самые дорогие билеты и обязательно в оперу. «Лучше на оперу,— решил он,— тогда можно будет слушать и иногда смотреть на нее».

Но тут Степанов понял, почему его так беспокоила записка. Всего этого может не быть, даже если он осенью вернется домой. Между ними растет разлад.

Возможно, она сама думает по-другому, но он точно знает, когда это началось. В прошлом году, весной. Он улетел очень рано: еще только, по московским понятиям, кончилась зима, но кому-то надо было организовывать базу, принимать грузы и по возможности забрасывать их на места. Она ждала ребенка — его ребенка — и оставалась теперь надолго. Они оба думали — с полем для нее покончено навсегда.

Степанов и работать начал тогда рано — первым, только-только начал осаживаться на южных склонах снег и у вертолета появилась возможность как-то приземляться. Он помнил тот день и даже час.

Они закончили второй пункт в сезоне и ждали борта. Кругом был снег с редкими черными пятнами вытаявших камней. Солнце светило безжалостно по двадцать часов в сутки, и они обгорели до болезни, до температуры.

Он ждал борта, был сеанс связи, и он подтвердил свою радиограмму, а радист передал ему привет... от жены. Сергей удивился и не поверил: привет, но как, откуда, телеграммой из Москвы? Радист не мог разговаривать в этом сеансе — не было у него нужных тридцати секунд, — только бросил в микрофон, что она здесь, на базе, в поселке, и через двадцать пять минут переговоров.

Что передумал Сергей тогда за двадцать пять минут, что перечувствовал — этого не узнает никто, да и сам он вспоминать этого не хочет. Все в нем дрожало напряженной нервной дрожью, душа сжалась в большой комок.

Палатка стояла на седловине, и он ушел к спуску. Чтобы отвлечься, чтобы скорее прошли минуты до разговора, нашел себе занятие — пристрелять малопульку, привыкнуть к ней. Кидал на склон пустые консервные банки, они, подпрыгивая, катились вниз, а Сергей, выбирая момент, когда банка удалялась и подскакивала особенно высоко, стрелял, и пули прошивали жестянки, отбрасывая их.

Через двадцать пять минут — только включил радиостанцию — услышал голос жены. Никакой ошибки не было. Она сказала, что прилетела несколько часов назад и будет работать. Он затих и потом спросил самое главное, а что будет с тем, кого они ждали? А она сказала, сдержанно, стараясь даже казаться беззаботной, что того, кого они ждали — не будет.

Степанов часто после этого думал: зачем женщине, даже сильной духом и сильной телом, обязательно стремиться утверждать себя в жизни тем, чтобы доказывать — она способна делать то же, что может и должен делать мужчина? Например, работать в тайге. Зачем? И всегда ли, и долго ли в таком случае она будет оставаться женщиной, которой нужен и которую должен любить мужчина?

Шершавая струя ветра прошла по камням и краем задела Степанова — его передернуло от холодного озноба. Он спохватился: время необратимо отсчитывало минуты и часы, солнце неостановимо двигалось от зенита к горизонту, и все это сейчас было против него. Надо было решать, что делать дальше.

Так он себе зачем-то сказал: «Надо решать». Но это было неправдой. Решил все он еще там, на вершине Острой.

Встал Степанов довольно легко. Еще раз ощупал тело, пошевелил руками, ногами, наклонился назад. Каждое движение отдавалось ноющей болью, но можно было и двигаться.

Кроме ссадин и ушибов он не обнаружил ничего особо неприятного, если не считать, что на половину оторвался ноготь на указательном пальце левой руки. Это беспокоило, как ни крути, а лазать придется и руки очень понадобятся. Он развернул бинокль, оторвал узкую полоску бязи, забинтовал палец тщательно и туго, чтобы не мешал хвататься за камни, чтобы повязка притупляла боль. В некоторых местах, на коленях особенно, одежду рвануло как

крупной теркой, а на содранной коже каплями выступила кровь, но уже густела, останавливалась. Сильно ныла правая скула, но он и на ощупь понял — это только ссадина, глубокого рассечения нет. Работать можно было вполне.

Степанов взглянул на вздыбившуюся стену и поразился, как изменился отсюда вид — теперь она казалась сплошной, черной и закрывала полнеба. Он оглянулся назад, словно решая, не вернуться ли, но снова решительно повернулся к морене. «Быстро же, однако, удалось спуститься», — подумал Сергей и почувствовал, что спекшиеся разбитые губы кривятся в усмешке.

Он попробовал идти. Ничего. Каждый шаг отдавался болью во всем теле, но особенно сильно это движению не мешало.

Постепенно он разошелся и минут через сорок, пройдя моренное дно полуцирка, ушибов почти не чувствовал. Только когда попадался очень большой камень и, обходя его, приходилось придерживаться руками, в ободранных ладонях резко отдавалась острая боль.

Путь наверх Степанов не выбирал: теперь это было ему тяжело — осматриваться, соображать — только бы двигаться вперед и вперед, шаг за шагом, ровно и монотонно, чтобы не упасть. Он понимал, что усталость породила равнодушие. Но он понимал также, что выбирать особого смысла нет: уже вышел к основанию желоба, и добираться до какого-то другого было бы теперь мудрено, да и увидеть снизу что-либо он не сможет.

С подъемом Степанову повезло. Склон уже часа два не освещался солнцем, и камни действительно лежали намертво примороженные к скале. По ним, как по ступеням, он монотонно шаг за шагом двигался вверх и долго молчал сам с собой — просто не мог ни о чем думать.

И опять, второй раз за сегодняшний день, он вышел на вершину, но теперь настолько сосредоточился на работе, что не остановился и не осмотрелся: сейчас он не видел мрачной красоты и суровой свободы гор вокруг.

Пройдя путь, который с Острой казался почти непреодолимым, он привык к нему. Теперь их гора, и полуцирк, и сумрачный соседний голец стали ему понятны, даже как бы близки, обжиты.

— Ну, вот, — сказал он громко, — глаза страшатся, руки делают. — И, горько усмехнувшись своему слабому дрожащему голосу, которым хотел подбодриться, уже тихо добавил: — Точнее сказать, в нашем деле — ноги.

В своей тайной надежде Степанов не ошибся: то, что казалось выступом на этом ближнем гребне, и было далекой нужной вершиной. Он доказал это себе за десять минут не очень даже сложной работы. Но передохнуть так и не присел, а, подавляя упорное нежелание двигаться, определил место, где гребень больше всего закрывал вершинку, и, преодолевая боль в ладонях, раскачивал и сбрасывал камни, пока не показалось, что больше сделать уже не сможет ничего. Несколько раз он прерывал работу — притягивал кулуар, по которому спускался.

До него как-то вдруг дошло, что был еще один и очень простой выход. Если бы пошел с ним Ташлыков, то обязательно взял бы веревку и ледовый крюк. Он вбил бы крюк в лед, продернул в кольцо веревку, привязался за один конец, выпуская потихоньку другой — и спускайся себе. С чем бы они столкнулись ниже — неизвестно, но уж этот проклятый перегиб прошли.

Почувствовав голод, он съел сухарь и еще некоторое время сидел неподвижно: курил, набирался сил и думал, что вот будет скоро и на эти трудные и богатые места подробная карта; поработают здесь геологи, геофизики и обнаружат всякие блага. Потом эти блага добудутся и прибавятся к тем, что уже есть. Но как станут ценить их люди, не знающие им настоящую цену? Способны ли они ценить что-либо, когда у них, кроме необходимого, есть уже много всяких других вещей? Ну, прибавится еще что-то, будет чуть больше. И что? Степанов думал и не находил ясного ответа. Он понимал, что упрощает, спрямляет вопрос до самой простой — прямой — линии, так, как спрямил по карте до трех километров путь сюда.

Солнце опустилось низко, и Степанов заторопился.

Спускаться было тяжелее — часто приходилось опираться о камни руками, и боль, каждый раз новая, жгла ладони.

Когда он миновал морену, солнце уже не освещало полуцирк, только сверху падал рассеянный холодный свет. Степанов заторопился еще больше и уже почти не размышлял, какой дорогой возвращаться на свою вершину. Как-то сразу решил идти первым кулуаром, потому что там было меньше снега.

Он начал подниматься по фирну, но снег набивался между триконями, и они не врезались, скользили. Через каждые три шага приходилось ударять ботинком о боти-

нок, сбивать снег, монотонно, размеренно. И дышать старался глубоко и ровно, чтобы больше не останавливаться, чтобы хватило дыхания надолго.

Поднялся он, по расчетам, порядочно, когда путь преградил лед. Рантклюфт был узким, и он сразу ушел на скалы. Стараясь как можно дальше разглядеть путь впереди, Степанов не торопясь, полез вверх.

Лезлось пока легко, и вообще Степанову было хорошо. Ушла боль, вытеснились тревожные мысли, напряжение риска овладело им полностью — теперь в нем не было ничего лишнего.

Свет дня постепенно мерк, видимо, солнце было уже близко к горизонту. Он как-то совсем забыл о свете. Если ночь застанет здесь, это будет похуже льда. И Степанов начал двигаться быстрее.

До вершины уже оставалось метров четыреста, когда он понял, что прямо не пройдет. Начал уходить вправо, но через несколько десятков метров опять уперся в гладкую скалу. Вернулся и полез влево. Здесь через десяток метров удалось найти трещины и по ним с большим трудом подняться выше.

Вниз спускаться на скалах всегда тяжелее, и там, где без страховки подняться возможно только с большим риском, лезть вниз — самоубийство. Он бы и не рискнул отрезать себе путь назад, если бы скалы впереди не подали ему надежду. Он видел множество трещин и выступов, многообразных, расходящихся во всех направлениях, но двумя десятками метров выше. А здесь снова уперся в гладкую скалу, и уже не лезлось никак.

Сергей пробовал уйти вправо, но прошел всего три метра. Влево снова удалось уйти дальше, но и это оказалось бесполезным. Оставалось спуститься вниз и искать обход.

И он полез.

Сразу ниже полки, на которой он стоял, правая нога не нашла опоры. Он выбрал для нее опору чуть выше и стал на ощупь искать выступ левым ботинком. Он опускал ногу все ниже и ниже, пока не почувствовал знакомый страх потери равновесия. Тогда он замер. «Где же этот проклятый выступ? Я же сюда-то влез, пользовался им. За что-то я в конце концов зацеплялся?» — думал Степанов.

Он сообразил, что долго так висеть нельзя. Тело ослабевает, и он не поднимется даже обратно вверх. Сергей вылез опять на свою узкую полку, прижался грудью к скале и стал ждать, пока отдохнут мышцы.

Вторая попытка тоже не удалась. На этот раз Степанов опустил левую ногу еще ниже, но дальше страх прочно сковал его, и он знал, что страх и спасает его. Он слишком хорошо знал — это не инстинктивный панический страх, когда сначала бояться, потом ищут выход, это защитный, тренированный, подвластный.

От напряженной неподвижности мышцы одеревенели, и только разозлив себя, почти на бешеном взрыве, ему удалось напрячь их и снова подняться на полку.

Сергей отдышался. Он не думал еще о самом плохом. Он, кажется, вообще ни о чем не думал сейчас. Единственной мыслью было — закурить. Но для этого надо было разжать пальцы правой руки и опустить ее в карман. Но рука никак не разжималась, потому что он весь был наполнен сознанием, что за спиной у него ничего нет. Пустота. Небо — черно-голубое, с редкими еще, вечерними звездами.

Очень хотелось повернуться спиной к скале, но он знал, что делать этого нельзя, потому что эта поза менее устойчива, и нельзя поворачиваться на такой узкой полке — сразу сорвешься.

Прижавшись всем телом к скале и согнув немного ноги в коленях, он заставил себя думать лишь о том, как хорошо, как необходимо сейчас закурить, успокоиться, и только после этого пальцы разжались и он плавно опустил руку в карман, зацепил пальцами папиросу, поднес ко рту. Потом Сергей вытащил и коробок спичек, чуть приоткрыв, достал две. Теперь оставалось самое трудное — чиркнуть. «Ну, давай. Ведь не упал, — убеждал он себя. — Что там внизу? Пусть. А ты привались к стене. Вот так, она твердая. Никуда не денешься. Опора», — внушал он себе.

Он придавил головки спичек пальцем и сильно потянул их в сторону. Зажглись.

Сладкий, теплый дым наполнил легкие, почему-то прояснилось в голове, и он почувствовал себя спокойнее. Теперь Сергей снова держался обеими руками и не боялся вдыхать полной грудью.

Он давно докурил папиросу и все жевал и жевал бумагу мундштука. «Кажется, попался, кажется, попался», — навязчиво повторял он.

Сергей не помнил, сколько времени простоял так. Мышцы окончательно одеревенели, и, в довершение всего, он стал быстро остывать.

От третьей попытки он отказался сразу, едва начал спу-

скаться: тело уже не слушалось, не подчинялось. И Сергей понял, что это и есть конец.

Отупляющее равнодушие охватило его.

Сумерки все плотнее густели вокруг. На этот раз ничего нельзя придумать, сделать ничего нельзя.

«Дурак! Вот дурак-то. Надо было царапаться, надо было еще попробовать, пока были силы», — со слезами обиды и жалости к себе думал Степанов.

Теперь мозг заработал яснее. Получалось, как-то странно был устроен организм: чем невыносимее он страдал от холода и сведенных судорогой напряжения мышц, тем яснее и четче думалось.

«Когда меня найдут завтра? Сегодня ребята уже не выйдут. Темно. Ташлыков соображает. А вдруг они все-таки пойдут. Сейчас? Не найдут. Не найдут-то, не найдут, но ведь сами угробятся. А что я могу сделать? Теперь уже все равно».

С равнодушием он начал думать, что весь сегодняшний день — сплошная цепь ошибок. Пожалуй, Ташлыков прав — стоило поискать какой-то другой выход из ситуации, потому что этот оказался просто не по силам; все сложилось неудачно один к одному: будь с ним Борис, они бы уже давно пили чай на вершине. Он вспомнил, что мог бы взять Василия, и сейчас бы тот стоял под ним и подставил руку — была бы опора.

Потом он совершенно ясно представил, что все эти размышления больше не нужны, что и мучиться больше незачем, а надо набраться духу и покончить со всем разом.

Степанов оторвал онемевшую руку от скалы и стал сдвигать со спины карабин. Он дотянулся до затвора, открыл его и услышал, как из магазина вышел патрон. Ему долго не удавалось поставить затвор на место, но в конце концов он закрыл его и запер. Потом Сергей расстегнул ремень, и карабин сполз прикладом вниз — между скалой и им. Он направил ствол в подбородок и равнодушно соображал, что же дальше. Дальше надо было осторожно опустить руку и нажать на спусковую скобу.

Неожиданно в мозгу Степанова, затухшем было перед последней жаркой болью, вскрикнул немой голос: «Почему осторожно? Глупо. Если не осторожно, то сорвусь. После этого я тоже упаду. И если сейчас полезу, тоже разобьюсь. Так и так. А может, не разобьюсь. Может, там, чуть ни-

же — выступ. Может, до него два сантиметра осталось — сползу. Меня страх не пустил. Да после выстрела все равно падать. Стоп. Нет, не все равно. Так, не все равно. Я выстрелю, они услышат и точно тогда пойдут искать, потому что подумают — я их зову. Пойдут и гробанутся».

Степанов еще ничего не решил окончательно. Мысли его беспорядочно сменялись. Ни одна не фиксировалась как решение, но что-то ожило в нем, а может быть, в глубинах мозга уже было решение, только глубоко где-то и не всплыло еще.

Но и в теле что-то оживало. Он оторвал руку от скалы и, преодолевая тупую боль одеревенелости, напрягал кисть, пальцы, пытался сжать их в кулак. Одновременно старался напрячь все мышцы сильнее той, сковывающей их напряженности, которая вызывала судороги. Сил не было, и он заставлял тело работать только волей, которая всегда теплится в живом мозгу до тех пор, пока он не угаснет окончательно.

Степанову удалось сжать и разжать пальцы. Он пошевелил кистью. Боль пронизала его. Он не мог понять, откуда, но боль будила — он снова хотел жить.

Рука сделалась послушной, и от нее пошло тепло по всему телу. Кисть слегка покалывало, и это покалывание отдалось везде. Он перенес тяжесть тела на одну левую ногу. Почти не шевелился, а просто представил, что стоит на одной левой ноге. Правую он не почувствовал, но она пока отдыхала, и хотя Степанов испугался, что совсем не чувствует правую ногу, терпеливо ждал, что-то должно с ней случиться.

И случилось. В ступне, голени, в икре ногу заломило почти нестерпимой рвущей болью и повело. Хотелось ударить ногой о скалу, скорчиться в комок, обхватить колени руками, выть изо всех сил и кататься по земле. Но осторожность, сторожившая и это мгновение, спасала его: «Упадешь. Упадешь раньше времени и не сможешь даже сделать то, что задумал».

Карабин начал валиться набок по скале, и Степанов чуть наклонился и за ремень плавно опустил оружие на полку: «Оружие все-таки. Мало ли, а вдруг останешься живым? Отвечать придется».

Он уже несколько раз старательно перемещал тяжесть тела то на одну, то на другую ногу и шевелил правой послушной рукой. Никак по-другому он двигаться пока не мог. Тело сильно ломило, он чувствовал какую-то тошноту,

отчего напрягался временами до дрожи. Так продолжалось, наверное, очень долго — представление о времени Степанов потерял.

Когда начал бить сильный озноб, понял: немного отошло и тело начало чувствовать холод. Ломота прошла. Во рту стало сухо — язык шершаво скреб по нёбу.

В метре от лица блестела сосулька. Степанов медленно начал перемещаться к ней.

Сосулька отломилась у самого основания, но он отгрыз только небольшой кусок, подождал, когда он растает, и, прополоскав рот, выплюнул невкусную ледяную воду, чтобы не слабеть и не остывать.

Теперь Степанов попробовал напрячь все тело, и оно послушалось. Озноб не проходил, но Степанов понял, что пока и не справится с ним окончательно. Знобило не только от холода: его покинуло равнодушие, снова поселились жизнь и страх. Сейчас он должен сделать последнее, на что толкнуло отчаяние. Но где оно теперь, это равнодушие, с которым так легко сделать последний шаг? И смог ли бы он только с отчаяния, ради одного себя заставить свое «я» выкарабкиваться?

Степанов вспомнил, что ребята могут искать его, и, представив путь в темноте, заторопился, начал собираться внутренне: надо, обязательно надо выбраться и доделать работу, потому что если не сделает он, если не выберется, то другому здесь придется крутиться с самого начала. И неизвестно еще, какой ценой тот человек заплатит. Вот что было главным.

Теперь, когда Степанов чувствовал тело, когда оно жило и хотело жить дальше, надо было еще раз перешагнуть через себя: сломать и подавить страх.

Он медленно начал спускаться с полки. Когда она оказалась на уровне груди, он проверил, твердо ли стоят ноги, и, дотянувшись правой рукой до карабина, застегнул ремешок. «Если сорвусь и не сразу... — подумал он, — подам ребятам знак утром. Быстрее найдут. Или чтоб не мучиться. Пригодится».

Он сползал и сползал, а опоры все не было. Уже коленка левой ноги была почти у живота, и ее надо было снимать с опоры, иначе не сможет подтянуть ее потом. «Где же тот чертов выступ. Ведь был, точно был. Должен быть».

Степанов понял, что сейчас надо отпускать левую ногу, что еще несколько сантиметров — и он начнет падать...

Степанов бесконечно длинную секунду ни за что не держался, свободно сползал по скале и, наверное, в эту секунду успел умереть.

Правая рука вжалась в щель, пальцы левой нащупали крохотный выступ, и в тот момент, когда он чуть задержался и тело, приготовившись к падению, инстинктивно напряглось, трикони правого ботинка попали на выступ.

Через полчаса Степанову удалось спуститься вниз. У самого основания он пересек два кулуара, которые теперь, в неверном ночном свете, едва угадал.

Он еще не мог сообразить, попал ли в третий желоб, просто шел и шел вверх, а когда понял, успокоился и, выкурив подряд две папиросы, через силу заставил себя подняться. Постоял еще, приглядываясь к сумеркам впереди, и ритмично, не торопясь, чтобы больше уж не отдыхать, стал подниматься.

Иногда в темноте задевал за острый камень и сбивался с ритма. Приостанавливался и, потоптавшись на месте, снова размеренно шел вверх.

Все ощущения в нем притупились. Пусто и гулко отдавались шаги в голове. Только одно теперь вело вперед безостановочно — желание перехватить ребят. Теперь он почему-то верил, что они решатся и пойдут его искать.

На предвершинный гребень он вышел из последних сил. Долго, потому что не боялся теперь пропустить ребят, лежал на щебне, привалившись плечом к большому камню. Здесь было светлее, хотя небо уже по-ночному открыло все свои звезды. Он курил, смотрел в темную тишину и наслаждался неподвижностью.

— Э-э-э-й! — услышал Степанов с вершины.

Он поднялся и неожиданно для себя хрипло, громко закричал в ответ. Радость, тепло и беспомощность были в его крике. И он не узнал своего голоса.

Степанов взгляделся — у самой вершины было почти светло, подсвечивало запрятанное за горизонт призрачное солнце. Вдалеке он увидел две вертикальные тени. Ребята шли к нему — видимо, сверху они не слышали его голоса.

Степанов поднялся и вдруг ощутил, что теперь идти совсем почти не может, но, пересилив боль и усталость в непослушных ватных мышцах, пошатываясь, заковылял навстречу.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ СНЕГ

Повесть

Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Николай Заболоцкий

В конце зимы Солдатов стал чувствовать себя особенно худо. И очень некстати. Подготовка к полевому сезону шла полным ходом, участок ему летом запланировали на очень интересном объекте, из четверых рабочих двое обещались поехать старые, а медицинскую комиссию он не прошел: усатый пожилой председатель-терапевт был не просто против, он отечески посоветовал года на два сменить полевую работу на камеральную, северный климат — на западный умеренный, ибо его, Солдатова, легочные да язвенные дела и быстрее и иначе не поправить.

Солдатов не спорил, понимал — подлечиться надо, и друзья-сослуживцы не раз намекали, что пора серьезно заняться здоровьем; но когда Матвейч, — начальник экспедиции, с которым были знакомы много лет, еще по работе в отдельно действующей партии — с нее и началась экспедиция, — предложил воспользоваться «горящей» путевкой в Ессентуки и вообще не мучиться сомнениями, а написать сразу два рапорта: первый — на положенный за два последних года отпуск, второй — на перевод или в одно из западных подразделений, или даже в само управление, в столицу, с тем чтобы к окончанию отпусков успеть это оформить — у Солдатова, как говорят, внутри все оборвалось.

Матвейч поднялся из-за стола, шагнул к Солдатову и, придавив его плечо к спинке стула тяжелой ладонью, просто и коротко сказал самую суть: «Ну-ну, чего это ты? Если бы навсегда, ну — понятно... А ты ж с надеждой улетаешь. Вернешься еще. Порабо-о-таем».

Никогда не подозревал Солдатов, что так мучительно сразу менять жизнь. Если бы не донимали боли в желудке от свежезарубцевавшейся язвы, ревматическая ломота в су-

ставах и прочие недужные, изматывающие нервы неприятности, он, вероятнее всего, сбежал бы из санатория ровно через неделю.

Торопливая напряженная жизнь, в которой всегда не хватало дня, часа, минуты, как о стену ударились: никаких дел, никаких забот, кроме лечения — покой тщательно оберегался. Все расписано и известно заранее: процедуры, сон, прогулки, меню. А хуже всего, что это знаешь не ты один — сам по себе, это знают и подготавливают для тебя другие люди, а больной, — так теперь он назывался, — и думать не должен, как все устроить.

Наверное, такой режим переживают по-разному. Большинство людей находило себе какие-то дела: «санаторные» ежедневно деловито приглядывались в киосках и магазинах к совершенно ненужным в повседневной жизни вещам; старательно, как будто обязанность выполняли, ходили и ездили на экскурсии; знакомились и прогуливались уже не поодиночке, а воркующими парами, пересмеивающими все и вся компаниями, тихо и непрерывно беседующими группами. И не только праздность управляла их желанием уйти от одиночества, сколько стремление забыться, убежать от болезни или найти облегчение в сочувствии. Солдатов судил об этом по себе: в первую неделю, в силу специфики лечения, болезнь желудка обострилась и боли усилились до мучительных.

Он внимательно прислушивался и понимал, что беседы эти только на первый взгляд нудны и никчемны, на самом деле в них много сочувствия той самой, неумеренной в работе и противоборстве обстоятельствам, жизни, что и привела этих людей сюда с гастритами, язвами и неврозами.

Но сам он знакомств не искал, потому что не умел этого делать: не хотел, чтобы жалели, и вообще не рассказывал о себе — возможно, потому, что стеснялся и не привык быстро сходиться с людьми; а возможно, потому, что разговоры вокруг были очень далеки от дела, каким жил в последние годы, вернее, от той профессии, которая не оставляла почти времени и возможности для других интересов. Он понимал, что на людях надо будет подлаживаться под общий тон, но этого больше всего и не хотел.

Его отчужденная сосредоточенность останавливала, да же отпугивала население лечебного ковчега; и как сложилось с самого начала, так и тянулось до самого конца.

Однако Солдатов не очень-то тяготился одиночеством и не огорчался некоторой пустотой вокруг: это помогало

разобраться в своем, личном, понять по-своему окружающих и попробовать привыкнуть к предстоящей иной жизни, с виду спокойной, но такой чуждой.

Сложности у него возникали. Пытаясь отвечать на вопрос о своей профессии и видя в глазах человека любопытство, интерес, он вскоре убеждался в полном незнании сути дела. Судили по фотографиям в газетах или журналах, изображавшим людей — с теодолитами, нивелирами и поперечно-полосатыми рейками, — которые то романтично улыбались, то напряженно и сосредоточенно вглядывались в даль, ведомую, кажется, только самим корреспондентам.

Действительно, на этих фотографиях изображались геодезисты, в самом деле, работали его коллеги везде: на колхозных полях и тундровых пастбищах — землеустроители, под землей в туннелях — маркшейдеры, в разрабатываемых лесах — лесоустроители, на стройках, при подготовке запусков космических ракет, при проектировании и строительстве дорожных трасс, при картографировании Луны — но все это не имело непосредственного отношения к работе Солдатова. То есть вообще-то имело как раз самое прямое отношение, поскольку работа его экспедиционных коллег была необходимым исходным, на чем и строила работу инженерная геодезия, популярно известная многим.

Он еще ни разу не наткнулся на человека мало-мальски знакомого со спецификой его труда и даже не встретил такого собеседника, который знал бы это пусть из книг: был у них единственный, правда, писатель, что написал о жизни людей его профессии романы: «Злой дух Ямбуя», «В тисках Джугдыра», «Смерть меня подождет», «Мы идем по Восточному Саяну», «Последний костер». Да и мудроно встретить такого знающего читателя, если по иронии судьбы и чьему-то легкомыслию Григория Анисимовича Федосеева после смерти пытались перекрестить: поначалу на памятнике, который ему поставили в Саянах, было написано «Писателю-геологу...» Писатель — это точно, а вот — геолог... Больше тридцати лет он работал в геодезии, и профессия его называлась инженер-геодезист.

Боязнь непонимания, скорее всего, сдерживала Солдатова еще и потому, что он попросту был честолюбив. Он-то был твердо уверен и в нужности своей профессии, и в неизбежной необходимости работать сверх сил, на износ. Мало того, этим обязательным приложением к их труду гордился: да, они так умеют, так могут. А вот объяснить — почему — непосвященным не умел.

Что он мог рассказать, кроме некоторых частностей, вроде: геологи откроют месторождение минерала, залежи руд завтра, если нужда в этом возникла сегодня. Но, если сегодня возникла необходимость в таком открытии, его надо планировать, а значит, надобность в подробной топографической карте на эту предполагаемую территорию — основу для которой геодезисты создают — была уже вчера. Сколько же дается времени им на работу, которая, оказывается, нужна была уже вчера?

Так и пошли отсчитываться лечебные путевочные дни: в одиночестве среди людей, в размышлениях о своей жизни среди необязательной суеты разговоров с предопределенными судьбой соседями: по столу, по палате, по процедурам.

Солдатов с удивлением и испугом начинал понимать, как не готов оказался теперь к этой не тяжелой, даже в общем-то легкой по быту, но такой сложной по отношениям между людьми, жизни; как мало нужен или не годился совсем его опыт понимания людей, опыт, скопленный раньше и оплаченный дорогой ценой. По взгляду, малозначительному поступку, иногда жесту Солдатов каким-то образом научился узнавать о человеке самое существенное для себя — как тот будет держаться в непредвиденном крайнем случае: поможет ли, надо ли его в чем-то опасаться, разломит ли свой сухарь на две половины, окажется ли слаб и придется выручать его. Но теперь Солдатов часто ловил себя на мысли, что в этой жизни такой опыт ему почти ничего не дает и даже мешает. Он уже начинал понимать, отчего это происходит: жизнь вокруг мерилась другими мерками, а природа его критериев была туманна и непонятна для большинства — выглядела ограниченностью, упрямой предвзятостью.

В первый день, боясь опоздать, Солдатов пришел в столовую, когда зал еще наполовину был пуст. Ему неловко стало проходить так явно раньше многих, на виду, и он остановился у стены, с любопытством разглядывая диковинные цветы и потихоньку — публику.

За столиком, где предложили кормиться и ему, уже основательно и прочно сидел дородный мужчина в тяжелом костюме в строгую узкую серую полоску. Нос его был прям, лоб широк, подбородок бел и слегка перекормлен. Левая бровь приподнята раздумчивой, внимательной дугой. Эта

бровь и прямая спина над стулом из любого положения должны были, вероятно, делать взгляд как бы сверху, все понимающим, надменным. Немного портила лицо влажная нижняя губа; излишне пухлая, она не вязалась со всеми остальными чертами: сдержанными, строгими, правильными, располагающими к уважению,— так как, очень уж капризно выдвинутая, намекала на то, что, мол, человек он здесь совершенно случайный и вообще не какой-нибудь там...

Дородный незаметно, боковым зрением, оглядел столы вокруг и, точно уловив момент, когда в его сторону перестали смотреть, достал из кармана маленький сверток из пергаментной бумаги, положил перед собой, развернул и, аккуратно сложив бумажку, воровато сунул снова в карман. Теперь перед ним лежали два бутерброда с семгой, сложенные рыбой внутрь.

Мужчина, слегка поерзав на стуле, уселся еще фундаментальнее и неторопливо с большим удовольствием съел их. Небрежным, но не лишенным изящества, жестом правой руки отодвинул тарелку прочь в середину стола и заодно, очень рационально, захватил стакан компота — запить, видимо, щедро посоленную рыбу. Он вкусно и с достоинством выпил компот, вытряс в рот ягоды и, задумчиво пожевав их, выплюнул косточки. Тут же спохватился, украдкой торопливо огляделся по сторонам, и, удостоверившись, что никто ничего не видел, деловито смахнул косточки в стакан, и, чинно приподнявшись, отставил пустой стакан на соседний стол.

Солдатову стало любопытно, он рассчитал, что это не конец — дядя должен был сотворить какой-то завершающий поступок. И действительно, когда через несколько минут мимо него с тележкой, заставленной хлебницами, салатницами и стаканами с компотом двинулась официантка, мужчина величественным жестом остановил ее и показал на свой стол, на три компота. И что-то ей сказал. Только одно слово. Солдатов по губам понял — «не хватает», кажется. Девушка вспыхнула, быстро поставила полный стакан с тележки и двинулась дальше.

Когда Солдатов подходил к своему месту, мужчина первым кивнул ему высоко поднятой седоватой головой, и, как показалось Солдатову, вполне благосклонно.

Усаживаясь напротив, Солдатов четко подумал, что, вероятно, перед ним сидит неплохой человек и ответственный, обязательный хороший работник, но что на вершину,

ставить геодезический знак, он бы с ним не пошел и в палатке бы в одной бедовать не остался. Но он и понимал, даже усмехнулся про себя, что и выбора такого делать не придется и почти никому он не сможет объяснить, почему этот человек не понравился. А доказать свою правоту Солдатов тоже бы не смог, потому что именно такой импозантный мужчина не попадет в своей рассчитанной наперед по годам и месяцам жизни в ситуацию, где можно было бы проверить интуицию Солдатова.

Однако Солдатов понял, что сложные отношения с «визави» ему на все двадцать четыре путевочных дня обеспечены, и ничего он с этим поделать не сможет. И он решил просто — избегать соседа.

Через несколько дней, увидев его в аллее метров за десять, Солдатов круто свернул к скамейке. Эти первые дни он особенно обостренно жил странной двойной жизнью: реальной, той, что была вокруг, и, не менее для него реальной, внутренней — жизнью постоянных воспоминаний. Вот и теперь слегка подпрыгивающая походка соседа, его манера жестко каркаяще смеяться так напомнили Солдатову их бывшего главного инженера, что он сел на скамейку и выкурил, к ужасу отдыхающих напротив пожилых дам, целые три сигареты подряд...

Солдатова командировали в другую экспедицию: осваивали новый вид работ в высокогорье, а он уже имел такой опыт. Ему повезло. Зимой экспедиция базировалась в крупном городе, а летом работала на Камчатке.

С тех пор как Солдатов закончил институт, его полевые дороги упорно обходили густонаселенные места. После Якутии, куда он с назойливостью голодного комара и с несокрушимой верой в свои способности землепроходца добился распределения, где отработал семь лет и считался «стариком» и где видел только один город — зимний Якутск, он в многолюдье поначалу растерялся. Но знакомых нашлось порядочно, братва была своя, экспедиционная, и Солдатов быстро и незаметно вжился в межсезонный камеральный быт, в насыщенные встречами, театрами, неоновыми улицами вечера, и еще до вылета на объект сделался своим.

Работать они начали рано, хотя снега держались в горах до самого лета. Нещадно палившее солнце, отражаясь от яркого наста, причиняло большие неудобства — лица

распухли от солнечных ожогов, на мочках ушей лопались волдыри, кожа с носов слезала напроць.

Это было трудное время. И все из-за того же глубокого, размягченного теплом снега: собаки по нему нарты не тащили, вертолет садиться не мог.

Вообще-то рациональнее было бы сидеть и ждать транспорта, но они решили начать работать на лыжах, потому что даже самый точный прогноз не может предсказать, какое выдается на полуострове лето, не помешает ли погода? И еще потому, что, коли прилетели, чего же сидеть сложа руки и даром получать оклады?

Но несмотря на то, что спали они часа по три и уже через неделю лыжи стесались до толщины картона, месячный план не вытягивался, процентов не давали, заработок наскребали бедный.

Мужички Солдатову попались хваткие, и хотя нельзя было сказать, что очень уж жадные, но денежную компенсацию за труд требовали регулярно. Начальник партии, чаще называемый просто и уважительно Кузьмичом, крутился,— по меткому выражению одного из экспедиционных работяг,— как паразитическое насекомое в продукте сосновой смолы, изыскивая возможности платить прилично.

И Солдатову, и его бригаде такой подход Кузьмича к делу нравился. Впрочем, не только это — Кузьмич одинаково говорил в глаза все и верхнему начальству и подчиненным. Правда, зачастую грубовато, допускал выражения, которые резали непривычный слух. Но начальство терпело, потому как работал он всю жизнь крепко и имел трудовой орден.

Чтобы свести к минимуму ночевки в сыром снегу, не носить много продуктов и снаряжения, они выбирали трех-, пятидневные маршруты, но даже в них выматывались до изнеможения.

Солдатову запомнился случай, когда устали окончательно и пошли отказываться от работы на ближайшие два, три дня.

Кузьмич увидел их еще в окно и сразу все понял — по походке. Тогда и сказал начальник знаменитую речь, которой мог бы позавидовать не один полководец: «Ребятки! Сделайте еще один заход. Последний! План не могу натянуть. Меня ведь загрызут.— Здесь он говорил неправду, потому что загрызть Кузьмича очень трудно: при росте в сто шестьдесят пять сантиметров весил сто двадцать кило и не имел ни вислого подбородка, ни выпуклого про-

должения груди — живота. За глаза и на большом расстоянии его за это окрестили «Пеньком». — А когда вернетесь, у меня сразу будет день рождения, всех приглашаю. Перед этим, конечно, устрою баню».

Они согласились. И Солдатов согласился. Он не сказал главного, с чем шел. Дело было не только в усталости. Маршрут намечался через залив, а знакомые рыбаки очень не советовали: по их предчувствию, должен был вот-вот перемениться ветер и оторвать береговой лед.

Когда они вернулись, действительно была баня. Но и после нее сухим бессонным блеском выделялись на неподвижных лицах солдатовских работяг глаза.

За столом был чай и много домашней еды и наливка, сдержанный разговор о работе.

Кузьмич тихо, задумчиво наигрывал на гармони. Играл он хорошо, душевно, и песни были народные — грустные. И каждый глубоко ушел в себя, и почему-то хотелось плакать. От усталости? Или нервы измотаны?

Через некоторое время Солдатов не выдержал и сказал ему: «Хватит, не рви душу. Давай, что-нибудь такое... Ну, от чего, как говорят в народе, деньги не ведутся».

Кузьмич задумался только на секунду, и с глубоким, из самой души, выдохом: «и-и-и-еэх!» развел могучими руками, и — недоуменно глянул на правую руку, глянул на левую, а посередине... пустота, и, горестно крикнув, отряхнул половинки инструмента.

После этого приключилась с Солдатовым история: там, на Камчатке, нашел, но тут же потерял автомобиль.

На другой день после дня рождения прилетело в поселок верхнее начальство: главный инженер. Как и предчувствовал Кузьмич, досталось ему. И за то, что выдал бригадам большой денежный аванс и числились они пока в должниках — а как было не давать, когда многие дни жили в поселке: питались в столовой, ходили в кино, в магазины; и за то, что широко отчитывался. Намекал главный на перерасчетность. Один солдатовский пункт Кузьмич действительно показал как законченный, а полных данных на него не предоставил. Солдатов тогда почти все сделал и только не успевал к сеансу связи спуститься к радиостанции.

Солдатову казалось, что все эти дела для главного лишь повод и что между ним и Кузьмичом стоит что-то глубокое, мутное, а может, и того хуже — личное. Он за Кузьмича вступился яростно — прямо и ясно рассказал и про позднюю весну, и про заработки, и про последнюю горку. Но

главный уже тогда знал, что в следующем сезоне экспедиция будет работать не в холодных, а в теплых краях, и не за рубли, а за сертификаты, которые на месте отовариваются личными автомашинами. Он крепко запомнил выступление Солдатов на неофициальном профсоюзном собрании.

Чего только не бывает с людьми, когда ходят они возле черты возможного и непосильного, где жизнь постоянно испытывает, вроде Кузьмиховой гармонии.

Через пару недель взял их на борт вертолет, перебрал, и... пошло дело полным ходом. Солдатов строил, а по пятам нажимали угломеры-наблюдатели. И перебрали вскорости его с бригадой на один пункт, который он окрестил про себя «Монахом»: острая вершина чернела голой скалой, а пониже ее опоясывал белоснежный воротничок льда.

Чтобы надежно заложить геодезический центр в монолитную скалу, пришлось на полметра разобрать податливый базальт, разрушенный сверху трещинами от времени, воды и холода.

Виной всему в этой истории, как теперь думал Солдатов, было весеннее солнце. Под ним, ярким, приполярным, незаходящим, горели человеческие души, и в некоторых, в процессе горения, образовывались темные пятна. Проявлялись они — выплывали — в трудностях.

На «Монаха» бригада угломеров-наблюдателей прилетела почти сразу, как его закончили строить солдатницы. Руководил бригадой красавец и здоровяк с ершистыми черными усиками. Все в партии называли его — Виктором. И в этом Солдатову не повезло: прилетел бы кто другой, и жизнь, возможно, пошла по-другому — не вернулся после сезона в Якутию, а работал бы себе три последующих года в зарубежной стране, подальше от Полярного круга и поближе к экватору.

Днем в лунку, где была заложена чугунная марка центра, натекла талая вода, а ночью она, естественно, до дынышка промерзла. Утром Виктор не нашел забетонированную в скалу отливку, хотя если бы верил, что она там есть, то одним только дыханием этой веры растопил ледок в две ладони толщиной. Но Виктор, как и большинство людей, впрочем, судил по себе и...

Он горел желанием быстрее сделать работу и нашел самый быстрый и легкий выход из положения — кинулся к радиостанции. Взмолвленным — тяжестью жалобы на

грех товарища и своей, тем не менее, принципиальностью — голосом Виктор сообщил, что работа остановилась из-за брака; а чтобы отрезать себе отступление в благодушие и подтвердить, что на него возлегла ответственность, с трудным вздохом добавил номер радиogramмы и свою подпись. А для того чтобы завести дело, этого вполне достаточно.

Радиogramму тут же подшили к делу о браке, а радисту приказали выйти на связь в запасное время и передать, что к Виктору вылетел вертолет со всем необходимым: с цементом, инструментом, маркой. Пусть дождется и переделывает.

Рабочим начисляли зарплату по «сдельщине», а это, для экономии времени, своего и чужого труда, мощный стимул, и перед ним не устоял даже слой льда над солдатской маркой. Ваня, рабочий бригады Виктора, взял камень и долбанул по льду. Раз, другой, десятый. Камень раскололся. Он подобрал еще и врезал от души. Чудо совершилось: марка, которую многие уже считали несуществующей, вдруг показалась из-под льда.

Правда, от усердия Вани она несколько изменилась — в горячем трудовом порыве он сшиб сферическую головку с накерненной геометрической точкой-центром. Но, запустив под соболино-кроличью шапку свою мощную заско-рузную длань, решил по-простому: а хрен, мол, с ней, со сферической головкой. Шляпка-то марки с надписью цела, хвостовик-то в монолитной скале сидит насмерть, остальное горе — не беда.

Ваня без колебаний преодолел по скалистому гребню триста метров, отделявшие его от Виктора-начальника, и доложил суть кратко и прямо.

Но вертолет уже летел, а каждый час его эксплуатации стоил двести рублей. Виктор все взвесил стремительно. Отчаянно сверкнув смелыми глазами, он решил: будь что будет — пусть все остается, как есть.

И сказал он Ване: «Иван! Это очень плохо, что ты так не аккуратен. Отколол самую важную деталь». На что Ваня резонно ответил: «Не лечи мозги, начальник. Я работаю в поле второй год и такой случай помню. Мишка-наблюдатель просто напильником крест нацарапал на шляпке в прошлом году и сказал: точка, она и есть точка. Что сверлом ее высверли, что кернером выбей, что крестом обозначь — не один ли... то есть, извиняюсь, не все ли равно. Я в школе еще двадцать лет назад это проходил, начальник». — «Да, Ваня, правильно. Хорошо. Но борт к нам зайдет по-

путно, так что ты не переживай. Все в порядке. Не будем это заострять. Давай-ка лучше готовиться к работе. А когда борт прилетит и все нужное привезут, ты марочку-то перезаложи. Поставь нормальную. Для аккуратности. А я нарядик тебе аккордно...»

Но Ваня был не дурак. Он поставил крест на марке Солдатова, и осталась она, как и была заложена: со своей надписью и номером. А оттиск, как и положено, находился в материалах Солдатова.

А тем временем Кузьмич усугубил свое положение тем, что не сдержался и приложил свою руку — правда, на пятьдесят процентов. И Солдатов и некоторые другие рассудили потом, что надо было приложить на все сто.

На базе работал оригинальный для экспедиции рабочий: человек достаточно грамотный и многого достигший к сорока годам, но изрядно потерявший за последующие пять лет. Бывший бухгалтер небольшой строительной организации, привыкший оперировать громадными денежными суммами, и раньше поддерживал себя на нервной, как ему казалось, работе легким алкогольным допингом, в последние два года просто запил. Под прессом родственников, сослуживцев и, в конце концов, под давлением остатков своей собственной совести он твердо решил объявить пьянству смертельный бой и сменить работу. Маловероятно, правда, что он ушел сам, а скорее всего его попросили сделать это по собственному желанию. Кто-то порекомендовал сначала ему, а потом и его в экспедицию.

В северном поселке, получив первую двухсотпятидесятирублевую зарплату, он подходил теперь к алкоголю уже не как к «легкому допингу», а как к единственному средству, какое может скрасить одинокую жизнь.

Работа часто мешала «душевно» посидеть на берегу Олюторского залива моря Беринга; созерцательно вглядываясь в туманные дали студеного моря; не торопясь, «почеловечески», как любил он говорить, выпить с береговыми бичами «граммульку» из подобранной хорошо промытой прибоем консервной баночки из-под красной икорки. Здесь же, на берегу, он слышал слова, которые крепко запали в падшую душу: если работа мешает пьянке — бросай работу.

Еще не созрел он окончательно — не написал заявления, но уже осваивал эту «освободительную концепцию». И уже несколько раз работу бросал. Правда, пока не добровольно.

Его сажали. Первый раз на трое суток. Дальше — давали больше.

Гольцы стонали под сапогами экспедиционных гранатеров, в тундрах долин останавливались без горючего вездеходы — в радиogramмах просили угольной стали, цемента, прочных палаток, горючего, дровишек, продуктов и тех же самых носких сапог, от которых стонали гольцы. Все это надо было получать, упаковывать, доставлять в аэропорт, подвозить к вертолету рабочему базы. И грузить, грузить.

А Кузьмич стонал от того, что во время отсидок бывшего бухгалтера, — когда тот бездумно занимался уборкой помещения отделения милиции, — помимо своих начальнических обязанностей еще занимался грузами, потому что бригады понемногу начали голодать.

После десяти предупреждений и трех отсидок Кузьмич уволил бывшего бухгалтера за появление на работе в пьяном — совершенно, как утверждали потом в один голос многочисленные свидетели, непотребном — виде.

Бывший бухгалтер сильно обиделся. Он считал себя правым, безвинно пострадавшим, лишенным возможности вернуться на материк к любимой семье.

Бухгалтеру удалось заработать две сотни на дорогу и, купив билет на самолет, он решил бросить перчатку своему «заклятому врагу»: вызвать на разговор, обличить в несправедливости и затем жестоко и беспощадно побить.

Однако укротитель баланса понимал свою слабую в этом деле сторону: в его прежней жизни долгое время отсутствовала всякая физическая работа, спортом, в соответствующий период развития, не занимался вовсе и, в довершение, при одинаковом с Кузьмичом росте весил не сто двадцать пять обезжиренных работой килограммов, а шестьдесят три. Но, как человек смывленный и не привыкший отступать от задуманного, он нашел выход. Говоря его словами, он «принял чрезвычайно полезного для храбрости фруктового вина, вурдолаг, и двинул на базу». Вот тогда-то Кузьмич применил половину своей недюжинной силы.

Бухгалтер, приподнявшись на воздух, как ищущая свободы птица, пролетел к окну и вместе с хилой рамой вылетел вон. Время у него в запасе было, и, отлежавшись как следует под завалинкой, он успел к самолету.

Осенью главный инженер вызвал Солдатова к себе и, усадив вполне радушно на шатавшийся табурет, сказал доверительно:

— Хорошо мы поработали в этом году. Помнишь, так же лет пять назад в Якутии сработали, когда в первый сезон встретились? Я твои пункты наблюдал. Да. И вот нам награда. Знаешь, как самой лучшей экспедиции-победительнице, нам дают объекты за рубежом. Вот так. Но не все туда поедут. Не все достойны. Слышал, Кузьмич рабочего ударил?

— Слышал, будь оно неладно. Только, если уж точно — бывшего нашего рабочего, который пьяный бить его пришел, — сразу уточнил Солдатов.

— Вот. Вообще, знаешь, он себя нехорошо, плохо повел здесь. — Не обращая внимания на слова Солдатова, продолжал главный. — Вызывающе. Докатился. Связался с этим алкашом. Нет, тот тоже хорош. Но Кузьмич-то, Кузьмич? Не умно. Совсем не умно. Так уронить себя. Да это бы ладно. Он же переотчитывался, знаешь? Ну, да бог с ним. Это потом. Но я тебя не пойму. Столько лет работал честно и вот — брак допустил.

— Нет. Не допустил, — твердо сказал Солдатов.

— Не надо. Не надо, знаешь, этого. Ты мужик, и если уж было — имей мужество, — сморщился, как от горького, главный.

— Имею мужество. Но брака не было. Тут что-то не так. Может, Виктор не нашел просто? — спокойно сказал Солдатов.

— Он прислал радиogramму. Официальную. Она в деле. Но это мелочь. Это я могу понять. Один раз любой конь и о четырех ногах спотыкается. Столько лет честно работал — один случай ничего не зачеркивает. Ладно, иди. Да... Вот что. Напиши объяснительную, как Кузьмич переотчитался твоими пунктами весной. Все, все... Иди, — увидев, как вздрогнул и напрягся Солдатов, бросил ему торопливо главный и кистью правой руки махнул на дверь.

— Нет, постой. Не все. Ты что же это? За кого меня принимаешь? Моими руками вымарать Кузьмича хочешь? Да он себя не жалел. Благодаря его опыту и организации перебросок мы и сработали так хорошо. Ты лучше притворись, как будто не говорил этих слов, а то — ты же меня знаешь еще по якутскому предприятию, — все накаляясь и накаляясь, внушал ему Солдатов.

Расстались бурно. Даже не простились.

А уже в городе, куда Солдатов прилетел сдавать материалы, подошел к нему как-то Виктор.

Начал Виктор издалека: говорил, что виноват, что душа у него не на месте, что никто теперь с ним знаться не хочет — ни мужчины, ни женщины, ни в праздники, ни в будни.

— Осознал я. Понимаешь. Полностью. Ну, скажи, ведь это главное? Да? Понимаешь? Давай так, — обнадежившись молчанием Солдатов, продолжал он. — С тебя удержали треть оклада. Так. Должностной оклад у тебя сто двадцать. Сорок рублей я тебе отдам, понимаешь. И пойдем в ресторан, поужинаем. Коньячку выпьем символически — мировую. Скрепим, понимаешь. Забудем давай. Главное...

— Нет, Виктор. Не пойдем мы с тобой в ресторан и за один стол не сядем. Тем более — мировую пить, — спокойно и жалостливо глядя на Виктора, ответил Солдатов.

— Не понимаешь ты меня. Ну почему, почему не можем? Мы же свои люди, работяги таежные, — искренне развел руками Виктор.

— Мне убеждения предков не позволяют. А ты, если, конечно, действительно осознал, напиши рапорт, только честно, как все было. Это для того, чтобы приказ отменили и с меня выговор за брак сняли. А деньги я и сам заработал — тридцать раз по сорок. И еще столько.

— Да пойми. Дело-то забыто. А меня, если напишу сейчас — съедят. У меня грехов накопилось... Помнишь, я весной на вертолет опоздал. Ну, любовь была, понимаешь. Потом еще... С начальником, с вашим Кузьмичом немного повздорил, со своим не все гладко. Только и держусь, что с главным у меня отношения ничего еще. Тебе-то почти все равно, — махнул рукой Виктор, но увидев, как на него взглянул Солдатов, спохватился. — Ну не все равно, не все равно, понимаешь. Просто неумно так. Если я напишу — мне совсем конец. Если не напишу — для тебя ничего почти не изменится. Ты для них временный, понимаешь. Вон, материалы сдал да улетел. И все, понимаешь.

— Понимаю, — сказал Солдатов, слегка накаляясь, — чего здесь не понимать. Я-то понимаю. Ты не понимаешь... Еще, пока. И вообще, пошел ты... Живи как знаешь. Но я должен доказать, что не было у меня брака. Не было. Чтобы ребятам в глаза смотреть, а не мимо. Без этого я не улечу. Это ты понимаешь?

Но недооценил он тогда Виктора. Солдатов сам написал рапорт, однако приказ отменять не торопились. И он,

посоветовавшись с ребятами, поставив в известность Виктора, подал заявление в суд.

Инспектор ОТК дал справку, что брака не было. А на суде Виктор рассказал все. По правде. Только после этого Солдатов «чистым» вернулся в свою родную экспедицию.

Ребята благополучно отбыли на работу за рубеж и, говорят, вот-вот должны вернуться — с автомобилями. Как это ни странно казалось Солдатову, взяли на эту работу и Виктора.

А Солдатов теперь после якутских экспедиций отдыхал и лечился в санатории. Сейчас сидел он на скамейке в парковой аллее, вспоминал и был счастлив. Вспомнить ему было что...

Как-то незаметно Солдатов перестал чувствовать боли, и несколько дней прошли тягуче-скучно. Он спохватился, что без дела может заискнуть, и, проходя мимо санаторной библиотеки, заглянул туда. Начал читать, и все наполнилось новым смыслом, потому что он добросовестно и наивно примерял прочитанное к своей жизни. Но через неделю, изрядно устав от почти круглосуточного чтения, стал припоминать то, что прочел, и к ужасу своему почти ничего не вспомнил. И решил на время бросить это занятие до более подходящего случая.

В Якутске, наверное, еще подмораживало и задували веселые пронзительные апрельские метели, а здесь, на юге, набухали и лопались почки, в ветвях еще голых деревьев возились черные с зеленоватыми искрами на нарядных шеях скворцы, земля просыхала после растаявшего снега.

И как бледная слабая трава еще прячется под сухими прошлогодними листьями, но уже тянется к солнцу, так и люди особенно тянутся и раскрываются друг другу весной. Извечна на земле весна, извечна весной сила влечения живого к живому; и хотя с годами все меньше места остается в человеке для страсти, а болезнь убавляет желание любить еще быстрее и безнадежнее, но так уж устроен человек — настоящего чувства он ждет всегда.

В один из таких дней в читальне Солдатов обратил внимание на молодую женщину. Вернее, что-то толкнуло его извне: он поднял голову и посмотрел. У нее были странные глаза: то совершенно темные, то пронзительно голубые. С первого взгляда нельзя было назвать их красивыми, но в них билась мысль, внимание, насторожен-

ность, и это влекло. Скорее всего просто из любопытства Солдатов стал чаще поглядывать в ее сторону.

Вдруг начал встречать ее везде: в корпусе, у источника, в столовой.

Глаза ее всегда были настороже, и нельзя было заглянуть в глубину, понять, о чем она думает. Не пускали. Ему стало казаться, что они всегда такие непрозрачные, даже когда женщина вскользь взглядывала на него. Но однажды... Она, как обычно, смотрела вокруг, а он на нее и не успел отвести взгляд в сторону. Ее глаза вдруг распахнулись: не было цвета, настороженности, даже мысли размылись, растаяли — была синяя глубина, бездна, душа человека.

Солдатов ничего не узнал про нее, никогда больше не видел, потому что на другой день женщина исчезла — уехала. Но долго казалось, будто близкий, знакомый до конца человек, случайно встреченный после долгой разлуки, прошел мимо и безвозвратно.

А через день без сожаления покинул санаторий и он.

В Москву Солдатов приехал в самом начале мая, и как было договорено — писал и звонил из санатория — поселился временно в квартире сестры, которая перебралась с мужем, пока он не устроится, к свекрови.

С поисков жилища Солдатов и начал новую жизнь. Крайней необходимости в этом не было, квартира сестры была наполовину и его, мог бы и жить, конечно, но не хотел мешать ни ей, ни себе. Наверное, поэтому и не торопился, а бродил по городу днями и вечерами почти бесцельно. Не то чтобы надеялся на чудо, просто не мог привыкнуть к мысли, что пробудет здесь долго. Однако время текло, необратимо отдаляя от прежней жизни.

Из Якутска, от друга своего, Толяна Глыбова, получил письмо и узнал, что его собака — верный Дик сильно затосковал после отлета; сразу выслал деньги на билет и просил, просил убежденно, отчаянно, чтобы нашли оказию, переправили Дика в Москву.

К вечеру, после первого теплого дождя, тихие улицы на окраинах большого города наполнились стойким запахом молодого тополя. Деревья оделись липкими ярко-зе-

леными листьями. Город вдруг показался Солдатову нарядным, необыкновенным.

От умытых улиц, чисто и красиво одетых людей в душе поселился покой. Приятно и непривычно было ходить вечером в мягких легких туфлях по чистому асфальту мимо аккуратно постриженных деревьев и кустов, приятно было смотреть на мужчин, одетых в тщательно выглаженные костюмы. Ему нравились женщины в легких брюках и светлых мужских рубашках, затянутых широкими поясами в узких талиях. Солдатов, видимо, здорово отвык от тепла и лета без комаров, от безопасной и сытой жизни и воспринимал это как долгий, долгий праздник и уже легко и радостно смотрел на расцвеченный пестрыми рекламными знакомый и незнакомый город, где теперь какое-то время предстояло существовать.

Дома он обычно первым делом ставил на газ чайник и садился на раскладушку, застеленную спальным мешком. Мешок он вывернул мехом наружу, а простыни и одеяло на день убирал.

Из своего угла теперь подходил к нему Дик. Пес клал морду на колени, смотрел в глаза. Солдатов закуривал, Дик чихал, и он объяснял собаке, что дым это, конечно, нехорошо, но этим летом нюх вряд ли понадобится. Вероятно, они охотиться не будут и не об этом теперь надо думать, а вот придет хозяин с хозяйкой да и попросят отсюда. Вот тогда будут дела.

Это были замечательные вечера. Он отогрелся в эти дни, болезни забылись. Солдатов пил чай, а пес лежал в углу, положив голову на лапы: терпеливо и внимательно слушал, а когда чувствовал, что это надо — взглядом отвечал.

— Вот мы с тобой и размотали все по свету, — говорил Солдатов. — Была у нас квартира. Там, помнишь. Хозяйка была. Теперь квартиры там нет, а хозяйка хотя и здесь, но ее тоже нет. Может быть, нам к ней вернуться или ее к себе позвать? А? Как ты думаешь?

Дик прикрывал глаза, даже слушать не желая такой вопрос, не то что обсуждать.

— Много у нас с тобой всего было, — продолжал Солдатов. — И ничего не осталось. Нуль. Один фундамент, и тот растрескался. А почему? Ты знаешь причину? Ты не можешь знать, потому что ты не знаешь всего с самого начала. С самого начала тебя и не было. А причина есть. И она в том, что слишком многое мы не прощали себе и

другим. Это жестоко. И особенно жестоко по отношению к нам самим. Но кому-то надо быть таким жестоким. Не прощать, чтобы помнили обиды, чтобы справедливость не умирала. Раньше мы могли с тобой замечать несправедливость, любую, и сказать могли любому — раньше мы были сильнее. Помнишь, какие у нас были дела?

Дик, видимо, не просто прислушивался к интонациям в голосе хозяина, а как-то даже понимал, о чем он говорит. Дик пружинисто вставал и несколько раз нервно прохаживался из угла в угол, бросая частые взгляды, стараясь заглянуть прямо в глаза.

А Солдатов продолжал задавать вопросы, на которые уже сам давно не мог ответить.

— А теперь, как думаешь, Дик, хватит у нас сил начать все сначала? Отдохнуть и жить как прежде? А? Молчишь? Вот и я молчу. Ладно. Посмотрим. Снимем комнату где-нибудь под городом; будем печь дровами топить, как там, в Якутске.

Дик встал и с надеждой внимательно посмотрел на хозяина. Но в этой городской жизни он часто и не понимал его и слушал ровно столько, сколько требовало уважение. Но Дик мог сейчас прямо пойти за ним куда угодно, потому что доверял хозяину и любил только его.

Наконец, Солдатову удалось найти квартиру: подходящую и почти бесплатно. Помогла ему, как всегда, госпожа удача.

Однажды его поразил измученный, затравленный вид начальника жилищно-эксплуатационной конторы, куда он несколько раз уже заходил справляться, не сдастся ли по сходной цене комната. Солдатов спросил просто и прямо — не может ли чем-либо быть ему и сам полезен.

Василь Палыч, так звали начальника, странно посмотрел на посетителя: у него обычно все просили, но чтобы предлагали — никогда. При этом лицо его было удивительно похоже на морду крупного, всерьез удивленного ежа. Усугубляло сходство и то, что левый глаз был с изъяном — неподвижен, как искусственный, поэтому правый казался особенно быстрым, цепким и резким. С минуту он разглядывал Солдатова молча, а потом безнадежно махнул рукой и хотел было проститься. Но, видимо, наболело на душе, и не веря ни в какую реальную помощь, он поведал печальную историю.

Дом на четыре сотни квартир готов к заселению и уже принят от строителей. И вот неделю назад из кладовой техника-смотрителя кто-то украл двести пятьдесят комплектов ключей. Кто и зачем — понять пока нельзя. Милиция ищет — с ног сбилась. И, конечно же, найдет. Но когда?

У людей на руках ордера, некоторые уже заходили раньше в квартиру и назначили день заселения, других прижало, и они готовы въехать вовсе не глядя. Приходят, и дом видят, и дверь квартиры трогают, и ордер показывают, а ключей нет — войти нельзя. Чтобы не повредить дверей, слесарь осторожно вскрывает замки, но это пять, ну чуть больше, в день — работы на полтора месяца.

Весь вечер Солдатов ломал голову, а придумать ничего не мог.

Утром, когда он выводил Дика, ноги сами привели его к этому длинному двенадцатитажному злополучному ковчегу. Солдатов сразу обратил внимание, что на кухнях строители почти везде оставили открытыми форточки, для вентиляции, чтобы выветрились запахи желанной для новоселов свежей краски, и у него мгновенно родилась идея.

Быстрый спуск по отвесной скале, который в альпинизме называется звучным падающим словом «дюльфер», он давно освоил на работе в горах — здесь очень подходил. Не хватало лишь снаряжения.

Ошарашив Василь Палыча обещанием за день, за два открыть все двери, Солдатов кинулся звонить другу-альпинисту, который когда-то работал у него в бригаде. Он застал его дома и уговорил отложить на два дня отъезд в какие-то туманные дальние горы.

Так начались первые острые и счастливые часы в городской жизни Солдатова. Он надежно и осмотрительно привязывался на кровле и скользил на веревке вдоль стены. Была высота — иногда разжиревшие городские голуби пролетали ниже его; был ветер — к сожалению, теплый и слабый; был воздух вокруг — пусть душноватый, пыльный, но свободный, пустой.

Солдатов стремительно спускался до узкой вертикальной створки-форточки, влезал в квартиру снаружи и, не отвязываясь от веревки, проходил к двери; двумя поворотами замочного барашка он отпирал жилье счастливому новоселу.

Василь Палыч каждый раз, когда Солдатов заканчивал очередной спуск и шел к лифту, чтобы снова под-

няться на крышу и перевязать веревки, встречал его бледный и испуганный: рьяный доброхот из соседнего обжитого дома сказал, что если Солдатов разобьется, то Василь Палыча осудят лет на десять.

Через несколько дней Василь Палыч привел Солдато-ва к хозяину двухкомнатной квартиры: тот уезжал в очень длительную и очень ответственную заграничную командировку и не то чтобы квартиру сдавал, а скорее искал надежного сторожа.

А с работой все уладилось просто: место в одном из отделов их главного управления и умеренный инженерский оклад подобрать для бывшего полевика оказалось не сложно.

Пустынные коридоры управления встретили Солдато-ва тишиной. Лето — время экспедиций, и все, кто хотел и мог — разъехались, но тишина оказалась обманчивой — новый человек всегда вызывает любопытство. С этим принимали и его. Впрочем, не таким уж он был и новым.

Солдатов родился в этом городе, здесь учился, и если проработал в западных экспедициях и северных подразделениях десятков лет, все равно многие знали его понаслышке, потому что мир тесен, с некоторыми из тех, кто осел тут раньше, или работал или встречался по делам на Севере. И все же близких знакомых не было.

Вот когда подобралась тоска, вот когда понял, что все кончилось и правда в том, что никогда он больше не увидит сверху задернутый холодной дымкой утреннего тумана таежный распадок, не увидит бирюзового моря далеко внизу под черными скалами с галдящим птичьим базаром, никогда больше не сядет в палатке за радиостанцию и не будет охрипшим голосом просить борта, перебросить на новое место. И самое главное — не будет осени, ощущения усталости и гордости за выполненную работу, и морального права на уважение, на заслуженный непрерывными, без выходных и праздников, трудами отдых.

Чередой пошли длинные одинаковые рабочие дни с удручающей ровностью и простотой работы. В каменном колоде двора почти все время урчали машины, и бензиновая гарь проникала в комнаты громадного здания управления.

Солдатову тяжело было привыкать к новой работе еще и потому, что бумаг он не любил никогда. Эти бумаги

только первое время вызывали волнующие воспоминания, но вскоре он устал от их обилия, и не получалось уже видеть за ними костры, комариные ночи и усталых от бессонницы людей, которые работали где-то очень далеко. И только в конце месяца, когда в отдел собирались отчеты, Солдатов немного оживал. В сводках сухо говорилось, что такая-то экспедиция выполнила столько-то таких-то работ, вот тогда за номерами объектов он видел и таежные массивы, и узлы горных хребтов, и пустынные равнины тундр.

Душные, тянущиеся бесконечно будни медленно складывались в пятидневки. На два выходных дня Солдатов старался куда-нибудь уезжать — из-за хронической пневмонии это же настоятельно советовали врачи. Чаще всего компании не искал — с городскими людьми в лесах было трудно, суетно. Обычно в пятницу собирал рюкзак, брал на поводок Дика и шел на электричку, благо станция была под боком. Мест заранее не выбирал: так было интересней. Остановиться, чтобы поесть или переночевать, мог где угодно — это было привычно. Вернувшись, снова терпеливо погружался в тягучие нудные дела.

Но много и хорошего было в такой жизни: снова начал читать, а так как раньше этим занимался редко, то и открытий сделал для себя немало, и открытий приятных.

Однажды в конце дня Солдатов вышел из отдела покурить, и его окликнули. Солдатов сразу узнал своего однокурсника, хотя тот располнел, порядочно облысел и выглядел много старше своих тридцати пяти неполных лет. Неизменными оставались его широкий в улыбке рот, бегающие, но упрямые, как у боксера, глаза и глуховатый добрый голос.

— Здо-о-ро-о-во, мужи-и-к,— пропел однокашник, радушно распахивая руки.— Слыхал, слыхал, это и ты отъездил. Укатали Сивку крутые горки? Осесть, значит, решил. Ну и правильно, ну и давно пора. Как она, жизнь-то гражданская? Рыбу ловишь, грибы собираешь, раны зализываешь?

— Привыкаю. В бумажках вот закопался,— обрадовался ему Солдатов, дал себя обнять, и сам потискал его.

— Тэ-э-к... Ну давай встретимся, посидим, поговорим, вспомним. Из нашей группы-то знаешь что про кого? —

потирая руки, предвкушал основательную встречу приятель — кто бы мог подумать, встретить после стольких лет! — Мишка Тулупов.

После работы пошли к Солдатову — Дик был хотя и очень умной, но все-таки собакой: нельзя позвонить и сказать, чтобы поел и погулял без хозяина.

Дома сначала вспоминали студенческую жизнь, а потом Мишка, вызвавшийся заварить особенного рецепта «чаечек», начал рассказывать про себя.

— Я тоже сразу, в первый полевой сезон, попал в точную экспедицию. Заболоченная тайга, троп нет, гнуса навалом, но работали яко звери. Молодость была, сила. — С насмешечкой, но и солидно, достойно рассказывал он. — Осенью, знаешь, вышел из тайги на базу, в баню ходил в первый раз за пять месяцев, побрился, ребята постригли, надел белую рубашку, посмотрелся в зеркало и, веришь, Солдатик, заплакал. Жалко мне себя стало. Вот я сейчас какой, думаю, хороший: молоденький, чистенький. А из тайги вышел? Боже мо-о-й. Э-э-э, да кто это поймет...

Мишка замолчал, укутал заварной чайник толстым полотенцем и закурил.

— Кто не попробовал, тот не поймет, — добавил убежденно.

— Да, конечно, это так, — поддержал Солдатов. — А потом? — заинтересованно спросил он.

— Потом-то? — Повеселел Мишка. — Потом к весне один вездеход в экспедицию прислали. Я сумел его заполучить — ну, молодому-то специалисту тяжелее, ему же помогать надо, создавать условия. А то ведь и сбежать может, — Мишка хитро подмигнул. — Эх, одна живем. У меня тут в портфеле пятьдесят граммов сувенирного дагестанского — сейчас по ложечке в чаечек плеснем, вот оно и будет что надо.

Делал все Мишка быстро, решительно, хозяина не спрашивал: хочет он такого «чаечку» или нет, а ему-то как раз и не очень-то можно было. Но Солдатову нравилось действо Тулупова — по-свойски, просто, без слащавых: а не хотите ли, не откажетесь ли. Кто же откажется, если человек старается от всей большой души.

— Да-а, — продолжал между тем Мишка. — Второй сезончик я уже не так жал. Сделаю процентов сто — сто пять, и будя. Больше — это рвать надо. Там недоспишь,

там недоешь, оно вот сказывается,— он грустно посмотрел на Солдатов.— Нет, во второй год я красиво поработал. По правилу древних: все свое ношу с собой. Все при вездеходе: и тебе палаточка большая просторная, и печечка, и дровишечки, и продуктиков на два месяца запас. Ни тебе ходить, ни тебе носить. И порыбачить время оставалось и поохотиться. Птицы-то, слышь, было на озерах, как мух на помойке. Варили, жарили, коптили... — Мишка мечтательно закатил глаза к потолку.— Помощница мне попалась... Дама инте-э-ресна-а-я... Ну, что еще надо человеку в поле? Мечта. Рай.

Мишка вкусно затынулся «Явой» и, отложив сигарету в пепельницу, задумался, погрузился.

Солдатов слушал с интересом и удивлением: так жить в северных подразделениях не приходилось. И не завидовал Мишке, наверное, только потому, что как-то и не верил в это райское бытие да и очень далек был от такой полевой жизни — не мог ее представить.

— А на третий год вездеход у меня забрали, и я на запад, сюда уехал. На Черноморском побережье один сезончик работал. Вот, слушай, где красота. Тепло, светло, мухи не кусают. Купались в соленой водичке. Ну а сейчас, знаешь? В производственно-плановом отделе тружусь. В маленьких, но в начальниках. Так что, если хочешь — переведем под теплое крыло, как говорится. Ну, ты-то как? — спохватился он наконец.— Как здоровье?

— Да неважно со здоровьем,— неохотно ответил Солдатов.— В поле пока не ходок. Комиссию не прошел. Сейчас вот отпуска использовал, в санатории побыл. Ничего.— Солдатов смотрел прямо перед собой, но куда-то очень далеко.— Не повезло. Да, впрочем, это случайность — все у нас так работали. Условия,— туманно поворачивал он кистью.— То на оленях, то на лошадях — вьюком. А бывало и без ничего, без транспорта приходилось. На себе носили. Снег, речки: ревматизм. Позвоночник вот немного повредился. И язва месяца три назад замучила совсем.

— Во-во. Слыхал про твои подвиги.— Наставительно и укоризненно произнес Мишка. Голос его окреп, в нем появилась ирония и, пожалуй, снисходительность.— Процен-ты ломил — два задания за сезон. Ну и что? Вот быстрее и изнашивался. Да еще в горах небось рабочего одного не добирал, сам за него вкалывал. Экономия, конечно, а тебе за это денежку добавляли. А что она, эта денежка?

Два червонца и весь шиш до копейки. Так ведь? — торжествуяще выпалил Мишка.

— Да. Так, — просто ответил Солдатов и посмотрел на Мишку уже твердо, тяжелым своим, долгим взглядом, в котором едва угадывались усталые смешинки, которые и вселяли надежду, что глаза его все-таки не злы.

— Вот-вот, — Мишка взял из пепельницы дымящуюся сигарету, но она истлела, и он со смаком закурил новую, несколько раз глубоко затянулся и отвалился на спинку стула. — Ну, не выполнил бы задания, ну, значит, нельзя. В следующем году можно сделать. Сейчас не война, зачем здоровье гробить. А? Кому это надо. — Мишка говорил искренне, с болью даже.

— Что же поделаешь, если так складывается. Есть же сроки. Карты ведь нужны, — возражал Солдатов.

— Тут с какой стороны ни подойди... — не слушал Мишка. — Можно и в три года выложиться, а потом какой от нас толк. Будешь на уколах жить. А может, лучше потихоньку два-три десятка лет в поле тянуть? А? Может, так-то больше пользы принесешь? — Мишка поставил чашки и разлил чай.

— Так-то оно так, — опять нехотя возразил Солдатов, — да ведь условия везде разные. Есть Север, есть пустыня. — Он хотел сказать, что есть еще Крым, но там работы всем не хватит желающим. Но вовремя осекся и прибавил другое: — А есть средняя полоса, Европейская часть России, Кавказ — там же и климат полегче и снабжение получше, потому что — жилуха.

— Ладно. Это, конечно, верно говоришь, но себя беречь надо. Давай-ка, — Тулупов щедро повел рукой на чашки. — Заварочка. В буфете нашем достал. Ну, сам понимаешь, — заюлил глазами, — не всем. Любителям, — подмигнул он Солдатову. — Тебя познакомлю, и у тебя будет.

— Да брось. Не хлопочи, — смущенно отказался Солдатов. — Я в лесу в котелке завариваю на костре, там любая трава с дымком хороша.

— А вот я слышал, — тихо, задушевно, прихлебывая с видимым удовольствием пахучий чаек, заговорил Тулупов, — ты ни разу из своей бригады ни одного бича не прогнал. Что ни разу лодырь не попался — не поверю. Воспитывал, наверное, а сам за него работал в процессе, так сказать, трудового воспитания. Знаю, не один ты такой. И я пробовал. И какая же здесь справедливость, что ты за него ломался, а он зарплату получал? Он раз съез-

дил — и в жилуху, а наше дело из года в год, без отдыха,—вкрадчиво вопрошал Тулупов.—И потом... Как-то странно повелось у нас. У всех людей, как у людей: отработал восемь часиков — и до свидания, всего наилучшего. А мы — круглосуточно, только и оторвешься, что поест да поспать. Ну, бывает, погода испортится, лежим. Но что это за отдых за такой, я спрашиваю, когда лежишь и от холода дрожишь.

Солдатов потерялся и не знал, что отвечать. Он заговорил о ребятах, с которыми довелось работать три сезона назад. Очень хотелось узнать, как они потрудились в жарких странах, и Мишка удовлетворил любопытство — знал в подробностях, заинтересованно.

И поздним вечером, проводив Тулупова, и позже он вспоминал Мишкины слова, мысленно повторял непростые вопросы. Не потому, что раньше такого никогда не слышал. Нет. Но теперь, для себя самого, важно было ответить.

Через несколько дней к Солдатову заехал человек, которого он никак не ждал и которому, сам удивлялся, почему-то обрадовался.

Когда Солдатов видел красавицу «Волгу» «ГАЗ-24», плавно кланяющуюся выбоинам и стремительно рвущую ветер на гладком прямом шоссе, в нем не раз царапалась зависть к счастливому владельцу.

Действительно, это замечательная машина. Он всегда уважительно и опасливо переходил перед нею дорогу, потому что, увидев еще издали, знал и твердо помнил, что, обладая мощным двигателем и большой скоростью, она настолько приземиста, настолько отвечает обтекаемыми формами своей неудержимой скорости, что совершенно незаметно ее движение вперед, обманчиво думать, что она еще далеко. И будьте уверены, торопитесь уйти с дороги, ибо через очень малое время она будет уже опасно рядом и трудно ей тогда свернуть с привычной инерционной прямой или остановиться — даже если на пути человек.

Под такую вот красивую автомашину, однажды вечером, чуть было и не угодил не освоивший еще как следует правила уличного движения, не привыкший никому уступать в тайге дорогу старый и мудрый Дик.

«Волга» рванулась из-за поворота неожиданно, как из засады. Правда, тут же резко затормозила, но перепуга-

ла обоих пешеходов: и бедного Дика и его осмотнительного на улицах хозяина.

Дверца со стороны водителя стремительно распахнулась; и Солдатов, подумавший было, что владелец-хам хочет свалить неприятную возможность наезда со своей больной головы на их с Диком здоровые, приготовившийся уже без рассуждений развернуть водителя за широкие плечи и дать ему хорошего пинка — Солдатов остолбенел.

Перед ним, улыбаясь черным от длительного загара лицом, шевеля ежистыми усиками, стоял... Виктор.

Вышло как-то так, что они, забыв про все на свете, обнимались и похлопывали друг друга минут пять. Причем Дик, не разобравшись сразу, схватил Виктора за ногу и, слегка сдавив челюсти, скосил злой взгляд на хозяина — ждал команды, когда позволят порвать этого автолюбителя всласть.

А Солдатов, наоборот, чувствовал, что даже такое внезапное появление Виктора ему приятно и радостно.

— Ха! — сказал Виктор. — Наконец-то я тебя застукал. Второй вечер попутно заезжаю и стою здесь в засаде по полчаса.

— Постой, постой, — весело и недоуменно отстранил его от себя Солдатов. — Да как ты узнал-то, что я в городе да еще что мы с Диком в это время здесь гуляем?

— Да Тулуп же сказал! Тулуп, — давясь от смеха, как всегда стремительно разъяснил Виктор. — А остальное... Когда собаку-то гулять выводят — сразу после работы; а где здесь еще-то гулять можно — ты сам посмотри, ну... Тут и соображать-то нечего. Адреса он не вспомнил, а схемку нарисовал. Во! Знаешь, я на сегодня свои лимиты исчерпал, — эта машина, будь она неладна: тому надо, этому давай, обещал уже давно, ждут меня, понимаешь. Вот. Я заеду на днях или, во, в пятницу лучше. И за грибами. А хошь — на рыбалку. Там и потреплемся. Всласть, понимаешь. Ну, лады? — не давая Солдатову ничего сообразить, отрезая возможность отказаться, выпалил Виктор. — Все. Договорились, понимаешь.

— Давай. Заезжай. Не знаю, как получится с грибами, а чайку попьем. Довезешь до леса — попьем нашего. С костерка. — Очень радостно согласился Солдатов. — Значит, съездил, поработал и привез, — то ли удивленно, то ли грустно добавил он.

— Значит, понимаешь, поработал. И привез, значит.

Ну, расскажу. Там ребят наших много было. Все узнаешь. В свое время.

— Виктор, а чего ты цвет мрачный такой взял, черный почти?

— Ну, почему мрачный. Нормальный. Все такой брали. Он практичный. Зацепишь где, не видно на черном-то, понимаешь,—с некоторым удивлением объяснил Виктор.

— Ну, а как ездит? Как вообще? — туманно спросил Солдатов.

— Э-э! Да, хлопот с ней... Не было печали: то профилактика, то замок вот врезал — пятьдесят рублей, то тормоза прокачай, двигун-то мощный, без тормозов, сам понимаешь. Горючку жрет, как аэроплан. Теперь гараж... Забота. Никак, понимаешь, не получается.

— Ну, брось ты. Заныл. Получится. У тебя все получится. Всем бы такие заботы. А зато куда хочешь — быстро. Эх, на рыбалочку бы на такой.— То ли мечтательно, то ли язвительно добавил Солдатов.

— Да на хорошую рыбалку она не очень,— пренебрежительно пнул ногой скат Виктор.— Проходимость не ахти: проселочных дорог не любит. Чуть только дождик, и села.

— Ну, брось, брось,—искренне остановил его Солдатов.

— Нет, ну есть, конечно, и преимущества. Мобильность. Хорошо по делу. В городе удобно. Престиж, опять же, понимаешь,—вспоминал и перечислял Виктор.

— Слушай. Давай попробуем. Прокати,—неожиданно для себя попросил всегда сдержанный Солдатов.

— Са-а-ди-и-сь,—с удалым размахом распахнул дверцу Виктор, и Дик, только взглянув на хозяина, первым прыгнул в машину.

— А скажи честно,—усаживаясь на заднее сидение рядом с Диком, спросил Солдатов,—работать там тяжелее или легче было, чем на Севере?

— Да тоже, по-всякому было. Но не так, конечно. Да расскажу вот как-нибудь подробно, сам все поймешь.—Виктор посерьезнел и замолчал.

— Значит, личная собственность там тоже... обошлась? — задумчиво проговорил Солдатов.

— Ага. Стоила,—серьезно подтвердил Виктор.

Машина плавно тронулась, и глуповато-радостное чувство охватило Солдатова. Он сидел выпрямившись и, помимо своей воли, улыбался. Когда «Волга» набрала ско-

рость, ему вдруг открылось, почему именно дети так любят кататься на машине и что значат эти детские восторженные слова: «Дяденька, прока-а-ти-и!»

Впервые за многие годы лето для Солдатова прошло спокойно и скучно. Он понемногу занимался спортом, назначения врачей выполнял истово с одной только навязчивой целью, что весной снова будет готов к бесшабашной экспедиционной жизни; и к концу лета прогрелся до самых костей, до самых своих легочных глубин, болезни почти не вспоминались, даже на работу стал ходить пешком и с удовольствием. Поверил, что снова услышит запах грозы в горах и снова, слушая затаенный стук своего сердца, будет подкрадываться к снежным баранам в крутых скалах.

Тепло кончилось внезапно. Нудные дожди промочили насквозь землю, дома и деревянные заборы в старых переулках. Сам воздух, казалось, стал тяжелым и сырым, как полотенце после бани.

Но и теперь в этом можно было найти приятное. Солдатов надевал плащ, теплые носки в толстые ботинки и вечером выходил на улицу.

Шел дождь. Иногда ветер порывами бросал мелкие капли на жестяные крыши, и они дробно и сильно шумели.

Только в эту осень он понял, почему раньше так любил именно эти дожди. В тяжелых ботинках и сухих носках, в непромокшем еще плаще ему делалось тем уютнее, чем мокрее и темнее становилось вокруг. Можно было идти лицом к хлещущему дождю и чувствовать себя непорочным, сопротивляющимся, живущим.

После пасмурной слякоти разъяснилось. Летнее тепло покидало тело земли. Рыжая, полегшая трава на пустырях, под сырыми заборами, умирала и грустно пахла осенью.

Небо было холодно и спокойно. Солнце опустилось за горизонт, и его рассеянный свет мягко освещал далекие, поднимающиеся от самой земли облака. От того, что они были далекие, темные и от того, что поднимались от самой невидимой кромки земли, облака казались горами.

Зубцы были четки и плавны, а выше через них пере-

валивались белесые, просвеченные снизу розоватым светом пушистые комья ваты, и казалось, это туман переваливается через седловины хребта. Местами легкие ватные облака совсем закрывали темные зубчатые гребни или вечными нетающими снегами белели на вершинах.

Солдатов смотрел на них долго и забыл, что это облака, что до них никогда не дойти.

Почти затухшая теперь тоска по Северу кольнула сердце, и в этом месте, в груди стало тепло и беспокойно. Потянуло к суровым вздыбившимся вершинам. В мыслях он уже шел к ним, чтобы подняться на склоны, почувствовать запах гор, оглядеть сверху и снова, как прежде, жить там.

Дома Солдатов долго сидел в своей комнате, молча курил, не обращая на Дика внимания, а потом достал дневники и фотографии.

Ему попалась пачка фотографий давней давности, когда Солдатов работал на хребте между Колымой и Индигиркой.

Тогда, десять лет назад, он был еще очень богат. Сказочно. Он был богат настолько, что никогда не считал, сколько платил.

Он ничего не хстел для себя потому, что мог иметь все, что захочет — стоило только пожелать. И он не задумывался еще о том, что жить, может быть, придется долго-долго и его богатства может не хватить.

Свое богатство он получил по наследству от отца и матери. Они были обыкновенные двужилые, непобедимо терпеливые русские крестьяне и передать по наследству Солдатову ничего не могли, кроме своего выкованного многими поколениями здоровья.

Его внимание сосредоточилось на нескольких фотокарточках, и он их отложил.

Обвисшая, разорванная со входа палатка, полузасыпанная, облепленная снегом. На обратной стороне прочел: «1964 г., гора Комарова». Мог бы и не читать, помнил и так. Маленькая палатка стояла на месте посадки вертолета, на седловинке плеча, выше места, где жили. В ней оставалась радиостанция, потому что ниже было худшее прохождение радиоволн. Солдатов приходил в палатку к сеансам связи и еще вел метеодневник: замерял температуру, записывал плотность облачности, примерно

определял силу ветра. Тогда, третьего июня, здесь было под утро минус двадцать девять.

Солдатов не любил почему-то фотографировать, и эти фотографии делал по приказу начальства — нужны были материалы по технике безопасности. Нужны были, потому что в этих гольцах, в соседней бригаде, они потеряли тогда первого человека.

Забросили на работу в самом конце мая — двадцать пятого, если уж точно. Весь хребет еще был в снегу, и только самые клыки вершин чернели каменными голыми стенками, да местами из снегов поднимались пирамидовидные темные пики. Высадили под самой вершиной, на заснеженное плечо предвершинного гребня. А рядом была вторая вершинка, чуть ниже.

В Усть-Нере они радовались солнцу и теплу. Откуда было знать, что это еще совсем не лето и что севернее и выше его не будет вообще. Откуда было знать, что в таком снежном году тепло и солнце их враги, погубители.

Как только ушел борт, — просто свалился с плеча и падал, падал, им даже страшно за него сделалось, пока не набрал скорость и не достиг более плотного воздуха, — в ушах сразу возник свист, шипение и хохот ветра. Через неделю от этого непрерывного свиста они чуть не сошли с ума.

Часа два пытались поставить большую палатку на жестком снегу. Они бы и через полчаса могли понять, что не сумеют этого сделать, если бы не самонадеянность — как это пятеро здоровых мужиков да не справятся с какой-то палаткой.

Кончилось все тем, что ветер наполнил палатку как парашют и потащил вместе с ними к сбросу в цирк. Держались крепко, проволокло метров двести, благо снежное плато понижалось не очень круто. Ниже, метров за тридцать до пропасти, ветер послабел, и палатка «погасла». Вот здесь, выкопав в снегу яму на полную высоту стоек, ее и запрятали. И обжились, отсюда ходили работать.

Приданный экспедиции альпинист в это время находился в его бригаде, потому что их горка показалась самой сложной. Продукты и снаряжение рассчитывались на четверых — он был пятым. Солдатов вспомнил — на одного не хватало зимней оленьей шкуры: такая совсем не пропускает тепло, ее можно стелить под спальник прямо на снег. По жребию альпинисту досталась тонкая конская шкурка, и каждое утро начиналось с того, что альпини-

ста вместе со шкурой и чехлом спального мешка отдирали ото льда — примерзал, бедный, сам выбраться не мог.

Поначалу это было даже смешно. Пока... Кто-то,—они так и не вспомнили кто,—зашивая куртку, легкомысленно воткнул иголку прямо в стенку палатки. И, в довершение к «удобствам» альпинистского спального места, за ночь через эту дырочку ему на голову наметало полведерка снежной пыли. Вот тут-то и прекратились утренние шутки — начали серьезно побаиваться за здоровье гостя.

Но больше всего Солдатову запомнилось, что они тогда все свободное время рылись в снегу. Копали проход к яме, где умывались, заглубляли траншею в отхожее место, тоннель и пещеру для бензина и дров, выкопали склад для продуктов.

Однажды мутное, как размазанный яичный желток, выкарабкалось из пиков и туч солнце; и, радуясь такому погожему дню, они рванулись на свою вершину. В первый раз чуть только не зубами цеплялись за камни, втискивали пальцы в трещины — шли на проклятую гору в лоб. И не поднялись: камни на скалах шатались, сыпались, держаться было совершенно не за что.

Подкараулив затишье, бросались в обходы второй, третий раз. Но возвращались опять. Они так и не зашли той весной на гору Комарова, и Солдатов часто думал, что, может, поэтому на соседней вершине, на Силяпе, погиб Генка? Если бы ему повезло быстро сделать работу на своей горе, Силяп наверняка достался бы его бригаде, а не Левиковой. А у Солдатова бы никто не погиб, ему бы повезло — он верил.

Правда, позже Солдатова успокаивали, что совесть его чиста, объясняли, что Левик считался молодым специалистом, и если бы гора Комарова была безопасней, то Солдатов не бросили бы делать ее. И альпинист бы тогда не у него работал. А Левику предусмотрели, что казалось проще, и с ним — ставить на работу, учить — полетел сам Сороков, опытный, знающий дело начальник партии.

Солдатов тогда записал в дневники кое-что по свежим впечатлениям: где бригадников Генки расспрашивал, где по рассказам пилотов, а где и самому было понятней, чем даже многим другим. Тогда Солдатов разбирался с собой строго — была его вина в этом деле или нет.

Левик с бригадой поднимались на Силяп уже в четвертый раз, хотя почти все на вершине было сделано. Оставалась мелочовка, с которой можно управиться часа за два в хорошую погоду. Но не было пока пирамиды Солдатова, и кто знает, не возникнет ли на этом месте «дыра» — надо было попытаться подыскать вариант, чтобы вообще обойти его горку: у большинства в партии складывалось мнение, раз солдатовцы вместе с альпинистом не могут подняться, значит делать этого вообще не стоит и от проекта надо отказаться, пока еще не поздно и возможно хоть что-то придумать.

В этот день Левику казалось, что, выходя на вершину, они наконец-то ничем не рискуют: ветер поубавился, снег валить перестал, путь проложен и проверен. Вообще, подъем предстоял для него даже приятный: сам Сороков поведет, начальник, у начальства голова большая — пусть она и болит, а ему можно и отдохнуть от ответственности. У него, молодого специалиста, своих технических трудностей по горло.

Сороков перед выходом рассуждал осторожно, с оглядкой: да, на старый наст навалило свежего снега — это лавиноопасно: да, снег нападал южный, сыроватый, тяжелый — это опасно вдвойне, но ночами температура опускалась до минус двадцати, и наверняка пласты смерзлись насмерть; и главное, вот уже полмесяца они здесь крутятся, а нигде ни одна лавина не сошла. Правда, о таких явлениях в Заполярье на таинственном хребте Черского пока рассуждали только теоретически, а практически сталкивались лишь с маленькими сходами, на которых можно верхом ездить.

Мысли рабочих бригады были много богаче: они оглядывали клыкастые пики вокруг и прикидывали — бог или дьявол занес их сюда, они думали о своей вчерашней и сегодняшней жизни, о зарплате и еще о многом и многом. Ну, а идти или не идти? Есть приказ — наверх, там работа, ее надо делать.

Такими, в памяти Солдатова, складывались настроения в бригаде Левика.

Они шли, как всегда, цепочкой, часто менялись местами — первый больше уставал. Сосредоточенно ставили ботинки в темные, оплавленные солнцем старые следы — это было приказано строго, только в свои старые следы, чтобы не подрезать снег в других местах. Размеренно прими-

нали свежий слой, смахивали со лбов капли пота иправляли не тяжелые в этот раз рюкзаки.

Подходов к вершине для них было два: один по скалистому ребру, второй по снегу. Но даже при беглом взгляде на холодные, круто падающие скалы желание идти по ним пропадало. Да и зачем было туда лезть, когда рядом кулуар, в нем удобно лежит снег. Только в самом верху заснеженный желоб становился узок и крут, но там его можно и пересечь, выйти на ребро.

В середине кулуара первым шел Замберов, за ним Левик, потом Клещенко, последним Сороков. Раньше они и резали снег здесь от кромки до кромки: перебирались на плато ледничка.

От скольких случайностей, мелочей зависит жизнь, и почему-то, когда она действительно зависит от мелочей, на них не обращают внимания.

Замберов был в середине лотка, Клещенко шел в пяти метрах позади, Левик уже спустился со скал и уже прошел по снегу двадцать шагов, Сороков еще только подходил к кромке. Он правильно выбрал место замыкающего — оно должно быть самым опасным, а трое идущих впереди — всегда перед глазами.

Наст дрогнул, и какие-то мгновения они плыли, стоя на нем, балансируя руками. Но это длилось только мгновения, а потом уже ничего нельзя было ни понять, ни успеть. Шелест снега, совсем не злобный, сразу, вдруг, вырос в гул. И все ринулось вниз, упало. Пласт скользил, падал, собирая впереди себя глыбы снега, потом все смешалось. Несколько раз в белых глыбах и вихрях мелькнули черные фигуры.

Сороков большими прыжками догонял, прыгал по камням вниз. Он не помнил, сколько раз прыгнул, не думал, что может разбиться или сломать ноги — он вообще не сознавал пока, что происходит, не успевал понять, а только стремился не потерять из виду своих людей.

Когда через несколько секунд все кончилось и где-то внизу снежный конус с шипением остановился, Сороков почувствовал сильную боль в животе, а вместе с ней пришел ужас — сошла лавина. Эта лавина унесла с собой людей, их больше нет.

Что-то произошло и с ним: внутри в животе от прыжков по камням все, казалось, оторвалось. Но резкая парализующая боль проходила и сменялась долгой, ноющей,

про которую он сейчас же забыл, потому что торопился спуститься туда, где лавина остановилась.

Первым, кого он увидел, был Левик. Его совсем не завалило, он лежал на самой поверхности, но почему-то не шевелился. Поза его была странной. Сороков пригляделся и не увидел у Левика ног.

Сороков бегом добрался до него, хотел было перевернуть на спину, чтобы увидеть лицо. Обмякшее, тяжелое Левино тело немного подалось, но не переворачивалось. Сороков не понимал, что у него с ногой, и все еще пытался его перевернуть, хотя бы для того, чтобы тот не задохнулся, если жив. Вдруг Левик застонал, и от неожиданности Сороков отпустил его, начал ощупывать ногу, там, где она погружалась в снег. Снег быстро цементировался, и он, обламывая ногти, разрывал край глыбы, пока не раскопал до ступни. Нога была, на первый взгляд, не поломана. Даже вывиха он не заметил.

Левик быстро пришел в себя, и он оставил его на снегу. Знал, что если у человека кости целы, то страх его поднимет быстро и без посторонней помощи.

Сороков спустился ниже и стал вглядываться в хаос снежных комьев и глыб. Что делать дальше, где кого искать, он еще не знал. Вдруг показалось, что в нескольких десятках метров ниже дрогнул снежный ком. Он пробежал туда. На его глазах ком двинулся вверх и в сторону, и появилась на поверхности судорожная, какая-то оторванная от реальности человеческого тела рука.

Сороков еще не успел подойти вплотную, когда за рукой вслед из спрессованного снега появилась голова Замберова. Глаза его, обращенные на Сорокова, были мутными и совершенно бессмысленными, лишенными всякого человеческого рассудка. Замберов по-рыбьи несколько раз глотнул воздуха, потом стало заметно, что он напрягает мышцы, дергается, и на поверхности появились его широкие плечи.

Руки Сорокова кровоточили, но он не чувствовал их, они просто перестали подчиняться. Тогда сунул руки в карманы, чтобы согреть, и обнаружил рукавицы.

Замберова откапывал со спины, потому что минуты три у того продолжались судорожные приступы кашля и рвоты, он закатывал страшные, лишенные мысли, боли и страха глаза и только извивался, стараясь выбраться поскорее из цепкого смерзающегося снега.

Откопав Замберова и положив его на снег головой к

вершине, Сороков посмотрел в сторону Левика. Тот, хромая и спотыкаясь, шел к ним, но шел сам. И тогда Сороков вздохнул с облегчением, и начал внимательно, последовательно оглядывать конус лавины: вот сейчас где-то увидит веселого рыжего пацана Генку, сейчас они с Левицом откопают и его, сейчас перекурят, отдохнут, придут в себя и начнут все сначала.

В середине дня в бригаду Солдатова неожиданно прилетел вертолет, и по лицам пилотов он сразу понял — что-то случилось. Вертолетчики оставили основной груз на месте и полетели к Левику почти налегке: с запасной палаткой, продуктами, спальными мешками. Зачем-то их просили захватить с собой и лопаты. Рабочие спрашивали у Солдатова — зачем, и он уже догадывался, но не сказал.

Сороков лежал поверх спального мешка, и видно было, что его мучают боли. Левик стоял за палаткой, держась за стойку и опираясь на левую ногу: он без всякого выражения смотрел на закрывающийся дымкой слабого тумана хребет.

Лица у всех троих изменились, но их можно было узнать, только заострились черты да сильно запали глаза. Солдатову они казались странными и непохожими на себя, беспокоили — только позже он понял, что на их лицах отсутствовало всякое выражение, присущее живому человеку — они окаменели.

Левик привел рабочих на место, показал, и они молча сразу начали копать, только Валентин, альпинист, галсами побрел по склону, внимательно изучая конус выноса лавины.

А Левик, ковыляя, ушел низом к палатке. Этим же бортом всех троих отправили в больницу в Усть-Неру.

Альпинист Валентин свое дело знал, и через двенадцать дней в снегу нашли Генку, только был он теперь не рыжий, не конопатый, а совершенно белый.

Не совесть мучила Солдатова тогда, да и позже. Он не мог винить в Генкиной смерти ни себя, ни своих ребят. В то время у них были трудности, свои трудности, и сказать, что Солдатов не сделал всего, что только было в силах — этого сказать не мог никто.

И сам себя он не мог обвинить, потому что лучше дру-

гих знал — больше они сделать не могли. Не могли подняться на свою гору, не могли до вечера разыскать Генку, хотя до вечера под снегом он, возможно, был еще жив.

Солдатов мучило другое — нужно или не нужно было платить за работу такую цену.

И ответить себе не мог...

Проснулся Солдатов по привычке рано. Каждое утро, сам того не замечая, он делал множество дел. Сегодня они мешали ему, потому что приходилось вспоминать, что надо бриться, заниматься гимнастикой, мыться холодной водой, готовить завтрак. Равнодушно выпив чаю и рассеянно поздоровавшись с соседями, он вышел на улицу.

Утро уходило за торопливыми шагами последних прохожих, поспешающих на работу, и вокруг становилось пустынно и праздно. Солдатов представил, как появится на работе и будет встречать людей, как придется разговаривать с ними о кино, об отпусках, о погоде и еде, и все это показалось бессмысленным и ненужным. Сейчас он был слишком далеко от длинного казенного коридора, от своего стола с бумагами и не мог с собой бороться.

Он позвонил на службу: напомнил, что у него есть законные отгулы, сказал, что прийти сегодня никак не может, и ему разрешили.

Выйдя из телефона-автомата, Солдатов побрел без всякой цели, а потом куда-то ехал и смотрел в окно.

Автобус нырнул в тоннель и неожиданно в стекле Солдатов увидел свое отражение. В первую секунду он даже не сообразил, что это его лицо. Сумрак смягчал черты, они несколько расплывались. Незаметны были темные круги под глазами, нездоровый от бессонной ночи цвет кожи, а только резче очерчивались скулы и подбородок, от чего все виделось более правильным. Захотелось курить. На первой же остановке он вышел.

Во дворе больших старых кирпичных домов увидел скверик и присел на скамейку спиной к улице. На душе было пусто. Он закурил, слушал шум улицы и не думал ни о чем.

Близко за спиной по асфальту прошаркали чьи-то тяжелые шаги. Шарканье смолкло совсем рядом, и Солдатов оглянулся.

Мусорщик, согнутый выше пояса старик, в больших, почти новых резиновых сапогах, склонился возле выбро-

шенного кем-то пружинного матраца. Он с трудом согнул тощие ноги в высоких жестких голенищах, присел на корточки и, отложив в сторону свой мешок, стал бессильно дергать обивку. Скрюченные почерневшие пальцы старика, большой и указательный, шевелились, как вороний клюв.

Солдатов перевел взгляд на облака: бесшумный самолет белой раскаленной иглой инверсионных газов прошивал плотную голубизну неба. Солдатов достал еще одну сигарету.

В последнее время работы на Севере многое изменилось. За многие годы Солдатов привык, что самое тяжелое, опасное и труднопреодолимое в тайге — расстояние; а теперь в экспедициях появились мощные вездеходы и вертолеты, легкие радиостанции, и пешком уже ходили мало, на себе грузов не носили; легче, устроеннее сделался быт. Но, с другой стороны, и понять тайгу или тундру можно было только так, день за днем передвигаясь пешком от одного места работы до другого, живя тем, что она давала, не противопоставляя себя тайге.

Своих действительных врагов, мешавших работать, он давно узнал и, по мере сил, с ними боролся: боролся со своими слабостями, страхами, безволием, со своим незнанием. А к деревьям, травам, птицам, зверью, ручьям, горам, ветрам стал относиться как к живому, которое очень легко убить и не заметив этого; но совсем нельзя покорить. Да и зачем приручать, одомашнивать каждого глухаря, когда известно, что после этого он исчезнет и появится еще одна курица.

Новые, молодые, полные сил и напора, но сугубо городские ребята, приходившие теперь в экспедиции, и пугали и смешили его. Смешили тем, что, только зайдя на вершину и спустившись, считали ее уже покоренной. Но горы, жившие сотни миллионов лет до появления человечества, — так иногда думал Солдатов, — будут жить еще столько же и после того, как умрет «покоритель».

Пугало же Солдатова в молодых то, что они бросались словами, даже не пытаясь понять их смысла, смотрели на мир вроде бы такими же как у него глазами, а видели этот мир по-другому. Если Солдатов видел вырубленную тайгу, то он так просто и думал, что ее вырубili, и она исчезла; но молодежь вокруг него утверждала, что будто бы тайга есть, только ее покорили.

Сегодня Солдатов впервые задумался над тем, что дело

его худо вовсе не от болезни, что возвращаться обратно ему будет трудно из-за другого — не очень-то нужен становился его прошлый опыт. Вернее, в последние годы этот опыт все реже и реже помогал ему догонять молодых.

Но бывало еще... И в прошлом сезоне, и в позапрошлом... Из-за туманов застревали на взлетных площадках вертолеты, в тундрах ломались вездеходы и, жадно раскрыв капоты, ждали запасных частей; кончались продукты и горючее, а надо было не просто выживать, но делать и делать свою работу.

Сигарета погасла, Солдатов не стал закуривать новую, и до его обоняния, не оглушенного еще городским обилием резкой пахучей информации, ветер донес запах старика — душную приторность перегорающей свалки и терпкую горьковатость лежалой нестираной одежды. Матрац был уже разорван, мусорщик запускал пальцы в дремучее брюхо и тянул длинные свалявшиеся куски. Вата обрывалась, и он запихивал ее в мешок. Все это показалось Солдатову непонятным и ненужным, был он сейчас далеко в своих мыслях от этого места. Он вспоминал поле.

В трудных ситуациях Солдатов оживал. Тогда только бытие наполнялось истинным смыслом. Он любил жить на пределе, когда цель и понятна и верна, когда бывал твердо уверен, что эта работа — благо. Вот тогда все несущественное уходило в ничто: начальство, зарплата, мелочные трудности — было только счастье конкретной цели — работа, которую нужно сделать.

Раньше Солдатов умом понимал, что его жизнь может измениться; видел, как это случалось с другими, старшими по годам товарищами: старели, слабели, уходили — он знал, что даже десяток лет в поле бывает пределом; но теперь открывалось, что сейчас, сегодня, это происходит с ним. Солдатова поразила простота и жестокость необратимости хода жизни: все, чем раньше жил в поле от весны до осени, для него закрывалось — проходила молодость. И той жизни не будет снова, она становится прошлым, воспоминаниями.

Старик добрался уже до самых внутренностей — пружи. Схватился за одну, она, видимо, мешала, и долго безнадежно дергал, потом равнодушно бросил и снова, с другой уже стороны, начал вытягивать грязную вату.

«Зачем это он,— подумал Солдатов,— ах, да, сдаст в утильсырье и получит деньги. Как же терпят его дома? Ведь насквозь пропитался запахом свалок. Да и зачем

ему деньги — пенсию ведь платят. А может, ему не платят. Отбывал наказание, например, за какое-нибудь преступление и вышел на свободу уже стариком? А может, неудачник или просто жадюга — копит и копит.

Да нет же. Чепуха. Это у меня от настроения. Все проще и светлее. Скорее всего, внучке нужна книжка, а она продается только на талоны за сданную макулатуру и тряпки. Вот он для нее и старается. Или вот такой же, как Василь Палыч, попросил. У него план на утиль, а выполнять некому. И вообще, это пижонство, морщиться при виде ассенизатора, мусоросборщика. Столько под ногами добра, труда валяется — поколениям хватило бы. А подбирать — морщимся.

Господи, да о чем это я и зачем?» — спохватился вдруг Солдатов.

Старик поднял голову, привстал и, переступая сапогами, повернулся в сторону Солдатова. Бледные с фиолетовыми пятнами губы старика были вялы. Он шевелил ими, как будто дожевывал кусок, часть которого уже проглотил. Глаза мусорщика слезились, и Солдатов не мог понять — видит его старик или нет.

Дома не оказалось хлеба, и мотнув Дику головой на дверь, на что тот заулыбался глазами и пастью, они вышли на улицу. И Солдатов снова долго бродил.

К вечеру захолодало. В неосвещенном переулке Солдатов поднял голову и увидел над собой черное далекое небо с холодными равнодушными звездами. Сколько раз там он видел над собой этот безжалостный космический холод, и сейчас удивительно было ощутить небо таким же здесь. Кругом за толстыми стенами домов жило много разных людей, в окнах теплые и мягкие огни, где-то недалеко жужжали одинокие вечерние троллейбусы, а небо оставалось неизменным и над городом — стужа, беспредельность и равнодушие.

Дома Солдатов долго не мог согреться. Он поставил на газ чайник, а сам прилег на раскладушку в теплый мех и молча уставился в потолок.

Из угла подошел Дик. Он положил морду на руку хозяина и с беспокойством пытался заглянуть в глаза.

Солдатов поднялся, сел и закурил длинную сигарету,

а пес, даже в этом чадающем автомобильными выхлопами городе не смирившийся с табачным дымом, отошел в сторону и обиженно косился на хозяина. И Солдатов понял его взгляд: вот, мол, подошел к тебе на минуту помолчать вместе, а ты и минуту не можешь без табака; прямо в самую морду дым пускаешь.

Он заговорил с собакой, успокаивая ее. Дик внимательно слушал, соглашался, но вдруг повернул голову к двери и насторожил уши. Солдатов подумал, что закипел чайник, и пошел на кухню. Чайник действительно начал закипать, но Дик уселся у входной двери и, повернув к ней ухо, доброжелательно прислушивался.

Солдатов распахнул дверь — никого не было, и только через долю секунды у ног он увидел мальчика. Это был сосед по площадке — Вася или, как называл его Солдатов, Васисуалий.

— Ты чего? Не спишь, под дверями бродишь, где родители?

— Мамка шас придет,—набывчившись, отвечал сосед.— У нас свет погас,—сообщил он мрачно.

— Ну, заходи. Дождемся вместе твою мамку,—радушно предложил Солдатов.

Васисуалий уже бывал у него и сейчас уверенно, без лишних церемоний прошел в комнату, увидел на столе яблоки и, не замешкавшись даже на секунду, тихо, но требовательно заговорил:

— А помнишь, я тебе давал... Конфету.— Васисуалий деловито шагнул ближе.

— Держи, паря. Давал так давал. Куда же денешься. Тебе очистить или ты так ешь,—спросил он шестилетнего начавшего терять молочные зубы мужчину.

— Я так. А потом еще можно? — наглея, спросил Вася.

— Можно. Хоть все трескай, для хорошего человека не жалко,—засмеялся Солдатов, и Дик поддержал его — ткнул Васю в грудь носом.

Васисуалий был деловым человеком. Он со зверским лицом безжалостно вгрызся в яблоко и, даже не дожидаясь еще первый кусок, захватил второе, уселся на раскладушку и попросил сказку.

— Ну, вот что, парень,—строго сказал Солдатов,—ты доедай яблоко, а я себе чай заварю пока. Жевать перестанешь, тогда и расскажу, сказки надо отдельно слушать от яблок. Понял?

— Понял,—ответил Вася, согласный на все.

Когда Солдатов вернулся в комнату, Вася уже приготовился: сидел на раскладушке с приоткрытым ртом, смотрел на Солдатова с нетерпением и ожиданием.

— Ну, раз так, слушай,— махнул рукой Солдатов.

«Далеко-далеко, где всегда холодно-холодно, появилось солнце. Оно пригрело угрюмый северный берег, и ветер, который правил холодом, задремал.

Семечко березы, прилетевшее вместе с бурей в эти края, дало росток. Он не знал здешних порядков: не знал, что это северный берег и что есть ветер, который задремал. Росток поднялся, увидел солнце и начал к нему тянуться. Рос, рос и понял, что так просто солнца не достать — начал пускать корни длинней.

Трава знала, что есть ветер, который правит холодом — макушка бугра, где она росла, давно уже была лысая. Но она увидела, что пришел какой-то росток березовый, тянется к солнцу и не боится ветра.

Вздыхнула трава и решила тоже к солнцу подниматься. Приподнялась над землей и разговорилась с березовым ростком.

— Кем ты хочешь стать, росток?

— Я хочу стать большой березой, чтобы меня далеко было видно и чтобы ко мне шли люди. Такой была моя мать. Голова ее доросла почти до солнца, а волосы, зеленые-зеленые, длинные-длинные, свисали до самой земли. Люди к ней приходили. Она шумела им листьями и украшалась сережками. Ей было хорошо, потому что люди говорили, какая она белая, стройная и красивая.

— А ты не знаешь, какая под ней была трава?

— Я не видел. Тогда я был совсем маленьким и умещался в семечке, но я слышал, как птицы говорили, что вокруг моей матери была густая, сочная трава. Они говорили, что мать защищала ее от ветра.

Трава подумала, зачем рассказывать ростку про ветер? Испугается еще и спрячется. Пусть растет. Он выше поднимется, и траву не видно будет. Чуть что, его ветер и сдует, а если не сдует, то траве под ним будет хорошо.

Стали они вместе каждый по-своему расти.

Проснулся ветер, зашевелился и взлетел вверх. Увидел росток и только хотел сдуть, разбежаться взялся — смотрит, а далеко-далеко много других ростков хотят березами стать, к солнцу тянутся.

— Этого еще успею,— подумал ветер.

Росток видел, как поднялся и улетел ветер, но ничего не понял. А трава сразу догадалась, куда и зачем умчался ветер. И решила помочь ростку, как-нибудь, чуть-чуть, незаметно.

— Вырасту побольше да хоть немного прикрою его, может, и он потом меня защитит.

И еще, по правде говоря, низкой траве было стыдно бросать росток в беде, потому что она его не предупредила, что нельзя в этой северной стране к солнцу расти.

Хотела трава выше подняться, да не может, за много лет набралась страха и отвыкла.

Вернулся ветер. Многие ростки он погубил. Какие сломал, какие совсем из земли вырвал, но и его потрепали — не такой напористый он стал.

Устал ветер и решил с ростком договориться.

— Эй,— прогудел ветер,— ты куда это растешь?

— Вверх, к солнцу,— наивно ответил росток.

— Несмышлениш. Разве в моем холодном королевстве это можно. Вот я сейчас отдохну, разбегусь да и вырву тебя с корнем. Но могу и помиловать. Ты стелись по земле, ползи, как все делают.

Но росток чувствовал в корнях силу, да и не умел он по земле стелиться. Не учила этому мать — старая высокая береза. Отказался он спастись.

Рассвирепел ветер, слетал дальше на север, попросил еще холода и понесся на росток. Сорвал с него все листья, некоторые ветки поломал, даже ствол закрутил, и, хотя не смог совсем из земли вырвать, от обиды и боли росток закаменел.

— Ну,— думает ветер,— и этот готов.— Закидал снегом и улетел.

К весне большому и сильному Тихому океану надоел холод, и послал он на берег свой теплый ветер. Прилетел теплый ветер, растопил снег, смотрит — стоит над землей маленькая каменная березка, совсем еще даже росток. Скрученная, но не сломанная. Дунул теплый ветер — не оживает. Полетел к океану помощи просить.

Океан любил твердость. На своих берегах он имел дело с камнем и уважал его за неподатливость. С приливом пришел он к каменной березке, осмотрел, обмыл ей корни теплым течением и оставил кусочек своего большого гулко-сердца.

С тех пор расселилась каменная береза по берегам се-

верных морей, и ничего теперь не может поделать с ней холодный ветер.

Теплый ветер устанет за лето, уйдет в океан отдыхать, а холодный тут как тут. Налетит на березу, сорвет все листья, даже ветки, которые подлинней, обломает и унесет. Скрутит всю. И стоит тогда береза, словно мертвая.

Но не верь, Вася, холоду. Вот вырастешь большой, придешь на берег Великого Тихого океана — приложи ухо к стволу каменной березы. Если будешь терпелив, то наверняка услышишь, как под корнями бьется прибой — сердце океана.

И увидишь, как под березой теперь растет трава. Она уже не такая жалкая и потрепанная, какой была раньше всякая травка в холодном королевстве. Под березой она выше и свежее, а местами поднялась так высоко, что даже закрывает усталую поломанную ветку».

— Ну, как сказка, Вася? Все понял? — спросил соседа Солдатов.

— Понял, — серьезно ответил Васисуалий. — Вырасту, поеду. И мамку с собой возьму.

Когда Солдатов благополучно проводил Васю домой и, согреваясь, пил чай, Дик грустно лежал в углу, положив голову на лапы и по таежной строгой привычке очень старательно не смотрел на него — когда хозяин ест, заглядывать в рот неприлично, кусок может быть и последним.

— Нет, Дик, не станешь ты городской собакой. И без работы ты здесь зачахнешь. Как, впрочем, и я. Но мы с тобой еще что-нибудь придумаем. Ведь придумаем, старина? — спросил Солдатов серьезно, и Дик, как всегда, быстро с ним согласился.

Согревшись, Солдатов подошел к окну. Пустырь перед домом освещали фонари, а дальше за пустырем строился еще один многоэтажный дом. Почву оголили бульдозеры, во многих местах торчали обломки досок и бугорки битого кирпича. Земля подмерзла, и ветер гнал по ней пыль. Солдатов почти физически ощущал ее повсюду. Сейчас казалось, что пыль скрипит на зубах.

— Дик, иди ко мне. Ди-и-кий. — Дик с удовольствием дал потрепать себя по голове, хотя рука у хозяина была тяжелой, и, встав лапами на подоконник, тоже посмотрел на улицу.

— Видишь, Дик, в Якутске так было. Каждую осень.

Только не всегда мы с тобой успевали к осени вернуться.

Солдатов подумал: «Почему здесь такая пыль? Ах, да, наверное потому, что уже мороз, а снег еще не выпал. Сухо. Обычно здесь снег ложится на сырую землю».

— Ты помнишь, Дик? В тайге тоже, бывает, первый снег ложится на сырую землю, только там он уже не тает. Да, вот тут у нас где-то в дневничке все записано.

Солдатов открыл старый полевой дневник — и окунулся в давнее, и про все забыл.

Он листал страницы и вспоминал, как самый первый снег застал его в тайге. Он тогда закончил работу на Вилюе, в болотах и лесах. Потом, через три года, в этих местах открыли газовое месторождение — на нем теперь работает якутская электростанция.

Уже под самую зиму их перебросили на помощь. Да в гольцы. Хорошо, что не высокие. Там и было. Вот.

«29 сентября. ...Я торопился и, возможно, задал высокий темп. Конечно, мы устали и не ели, как следует, уже двое суток, но торопиться было необходимо. Скоро выпадет снег, а с ним, если не успеем выбраться в поселок, большие придут неприятности.

Мужики отставали. Несколько раз поджидал. Потом договорились, что они догонят, когда я буду работать на горе. Я показал им запроектированную вершину и ушел вперед.

Там все и пошло наперекосяк. На этой вершине была «невидимость», и я перебрался на ближайшую. Миша с Димкой пошли на первую. Там меня не нашли. Уже стемнело, и они растерялись. Кричали, звали. Им показалось, что я ответил сзади, и они благополучно вернулись на тропу.

Я их тоже искал. Но упорно и активно только после того, как закончил работу. Пошел на первую вершину, туда, где они должны были меня искать. Поскользнулся на россыпи. Смешно даже — ни скал особых, ни крупных камней, а я... Слегка ободрался в темноте.

Искал, искал, стало совсем темно. Решил сойти чуть ниже, до лиственниц — ночевать. Утром, в шесть, съел треть куропатки и один сухарь. Вот и все за целый день. Пока выбирал место — стемнело окончательно. Нашел сухое дерево. Удалось раскачать и повалить. Часа полтора пережигал посередине — два ствола будут гореть и греть.

У меня была пустая консервная банка. Вскипятил в ней воду, бросил бульонный кубик. Муть это все — такая же вода, только стала противней на вкус. Сил совсем не прибавилось, а есть захотелось сильнее. Был бы чай — я бы не горевал.

Дослал патрон в патронник и дремал. Просыпался, передвигал стволыки лиственницы, подвигался к огню и дремал снова. Холод под утро был собачий. Снова выпил кипятка — два кубика оставил на потом. Пойду на голец — посмотрю, чего я там в сумерках наработал, и мужиков своих еще покричу.

Правильно, что ночью я сидел с карабином на коленях — береженого бог бережет. Ночью подбирался медведь, а они, ходят слухи, в этих местах шалят — убили двоих геологов ниже по Аллах-Юню.

Все на вершине сделал хорошо. Мужики не подошли. Выстрелил один раз. Тишина. Решил идти на тропу, где наши рюкзаки и спальники. Это все, что у нас есть. Ну, еще кусок брезента от дождя. Если со мной... что-нибудь, пишу для того, кто найдет. Станет понятно, что, кроме меня самого, никто ни в чем не виновен.

Не знаю, может быть, потому, что я ободрался и потерял немного крови, а скорее просто от голода, но идти тяжело. Люди врут, когда говорят — трое суток шел голодный и ничего. У меня — чего. Через несколько десятков шагов перед глазами круги. Сажусь. Когда перестает кружиться голова, встаю и иду снова.

30 сентября. Не помню, как дошел, но к вечеру был на тропе. Ребята меня не ждали. Рано утром сходили на голец, увидели мою работу на втором, а там подумали, что меня задрал и утащил медведь. На тропу к костру они пришли днем, и как раз в это время с реки Белой в поселок конюх геологов перегонял лошадей. Они работу закончили, и людей вывезли самолетом. Даже смешно, три месяца по этой тропе никто не ходил, а тут на тебе.

Ребята просили сообщить начальнику партии, что я пропал без вести, а они остаются искать труп. Конюх поделился продуктами. Мизерно мало.

Представляю, что будет теперь в поселке. Надо торопиться, бегом бежать, пока Матвейч не поснимал отовсюду людей и не кинулся с ними на поиски. Решили утром идти в поселок, тем более что мы свою работу сделали. Я, правда, хотел еще прихватить — помочь соседней бригаде.

Утром все вокруг сделалось белым от снега. Еле выбра-

лись из-под своего брезента. Было, конечно, очень красиво, но страшно. Днем, во время перехода, все промокнем от снега насквозь, и если ночью ударит мороз даже градусов до десяти — двадцати, то все — нам крышка. А небо-то быстро очищается от тучек — похоже, резко нынче заходит.

3 октября. Мы двинулись в поселок, но дойдем ли? Тропы почти не видно. И еще одна неприятность: утром я порубил ногу. Движения были скованные, чувствовалась вчерашняя усталость, вот я и не рассчитал — ударил топориком чуть ниже колена. Но руки были вялыми и поэтому рана оказалась не глубокой.

Перевязали кое-как мою несчастную левую ногу, а она сейчас нужна как никогда, и пошли, было уже около полудня.

Тропка, и летом едва заметная, сейчас, когда выпал снег, почти потерялась. Сапоги у нас лысые, разбитые и дырявые, черт их возьми. Чаше шли прямо по руслу ручья — воды совсем мало, зато здесь нет кустарников, плохо только, что камни очень скользкие. Идем, как водолазы: в сапогах вода, снег сразу тает на голове, на одежде и по телу тоже стекает вода.

Не останавливались ни разу, и останавливаться не будем, пока не дойдем или не упадем: так решили. Понимаем, не придурочные, что как остановимся, сразу замерзнем.

Повезло нам неожиданно и до смешного просто. В середине ночи, когда мы подобрались под самый перевал, обнаружили зимовье. У меня на карте оно не помечено, видимо, новое. Крепко срубленное несколько лет назад — странно, что мы и в поселке ничего о нем не слышали. Внутри сухо — крыша не протекала. Железная печь из полубочки набита дровами, а на столе лежала почти целая буханка окаменевшего хлеба и соль. У оконца на гвоздике висела записка — мы подумали, что конюх оставил, а он сюда и не заходил, мимо проехал. Летом здесь, оказывается, побывали школьники, прилетавшие в каникулы к родителям в поселок. Они и оставили зимовьишко в аккуратности.

Обсохли, поели, поспали два часа — вот после этого действительно бегом побежали. Только я немного хромал.

Успели вовремя. Матвейч уже нашел троих — по две пары на те гольцы ему показалось достаточно — и собирался на розыски».

Сейчас Солдатову было смешно читать такие вещи: каким, оказывается, желторотым неумехой он был в свой первый полевой сезон. Но потом, как-то сразу, после осенней заброски грузов на лабазы, он стал на ноги твердо. Та осень и начало зимы для него показались особенно тяжелыми, потому что были первыми.

Дик наклонил голову, свесил язык и смотрел на хозяина.

— Да, да,— подтвердил ему Солдатов,— первый год был самым тяжелым. У всех, не только у меня.

Он вспоминал, как начались морозы и в колючем шестидесятиградусном воздухе города густым неподвижным туманом повисла ледяная пыль, вымороженная из дыма и влаги, но он постепенно отходил, отдыхал от полевых дел.

Морозная мгла пропала неожиданно. На смену сумеречным зимним дням пришел слепящий свет,— утрами стало больно смотреть на просевший слюдяной снег. Он не знал, что делать, и ходил возбужденный; чутко прислушивался. Говорили, что там, где они работали осенью, будут прииски. Когда улетела первая партия, он понял, что должен еще раз посмотреть те места. Именно те.

Под самолетом над снежными сопками, покрытыми темной щетиной лиственниц, плыли редкие, под цвет снега, облака. Господствующие вершины рвались голыми черными скалами к небу и вырастали прямо под нежным беззащитным брюхом самолета. Солдатов видел на них пирамидки геодезических пунктов. Его работа. Ее было много, так много, что он не заметил окнá там, где им помешал проворовавшийся завхоз. А может быть, окнá уже и не было, ведь кто-то работал и после него.

Солдатов думал, что теперь эта земля вся могла поместиться на листе бумаги, на карте. Теперь можно поставить крестик, сказать — здесь цинк, здесь золото. Можно нарисовать, где удобнее, дорогу и построить ее; теперь можно планировать, строить и брать.

Солдатов встал, подошел к окну и прижался к стеклу лбом. Стекло было холодным, и холод приятно отзывался во всем теле. Сердце успокоилось.

На улице в свете фонарей мелькали редкие тени снежинок. Сзади подошел Дик, встал рядом и прислонился

головой к его ноге. Солдатов, не отрываясь от окна, положил ему ладонь на голову. Дик замер, наверное, от удовольствия. Этой руке он доверял. Всегда доверял, только однажды...

— Помнишь, Дик, прошлую осень? Ты молодец, что ушел тогда в тундру. Нет, я бы тебя не убил, но, пожалуй бы, и не заступился. Глупо вышло. И виновен-то, Дик, во всем я. Один я. Да ведь сколько веревочка не вейся...

А красивая была осень. Зима начиналась ночами. Морозно, ясно. Красиво было, пока было что есть. Ребята домой рвались. И пусть бы себе рвались, а жалеть их было не надо. Когда продуктов всего на пять дней осталось, надо было борт звать и сидеть, и ждать. Три дня бы потеряли. Ну, четыре. А я, Дик, согласился... на подсосе поработать. Вот и доработались. Ушли на три дня, а вернулись через неделю.

Тогда ты, мудрец, в тундру и убежал. Догадался, что тебя съесть могут. Хитрюга ты, Дик, хитрюга. Никого на выстрел не подпускал,— Дик внимательно слушал хозяина, склоняя голову с одного бока на другой, и глаза его смеялись.

Иди, иди сюда. Помнишь, как мы с тобой в тундре встретились? На десятый день, что ли? Куропатку я подстрелил. И два патрона еще оставалось. Да тебе, если бы я захотел, ножа бы хватило. Ну, зачем ты тогда подошел? Эх, чудило. А если бы кто за мной следом шел из беденьких, голодненьких? А? Что тогда было бы?

На какие же сутки борт пришел? На пятнадцатые. Да, интересно, а что ты сам в тундре ел? Ничего ведь не было. Всякая тварь от шторма попряталась. Хотя тебе это все нипочем. Ты — найдешь. А вот где и что ты пил? Снег-то кругом был соленый.

Это Солдатов помнил четко. Крепко тогда попались. Вертолет не мог пробиться, потому что между вертолетной базой и тем местом, где они засели, был горный хребет. Ветер постоянно рвал облака об его пики. Охотское море сильно штормило.

Берег был пуст. Все живое попряталось от соленых морских брызг и страшного бьющего ветра. Не было даже чаек, бакланов — и они попрятались куда-то. Ничего.

Сначала урезали, сэкономили, но теперь уже не ели ничего, а только пили кипяток да курили старую махорку, которую не выбросили по привычке.

Оставались только четыре жестяные коробочки — неприкосновенный запас: если еще через день борт не придет, решили идти на берег залива и добираться до поселка.

Рядом, в пятидесяти километрах — правда, для голодного человека это почти неделя пути — застряла еще одна бригада. Они были в таком же положении, знали, часто общались по рации. Вместе и решили выходить на берег в самом крайнем случае, когда не останется надежды.

На пятнадцатые сутки вылезли из палатки на далекий еще гул вертолета. Вертолет из-за хребта прошел сразу к ним. Это ясно видели — с большой ведь надеждой смотрели.

Когда помогали пилотам грузиться, их шатало от слабости: пять, семь килограммов груза казались непомерно тяжелыми. Со стороны это, вероятно, выглядело очень смешно, когда, приседая на ослабевших ногах, неуклюже валились в снег. Но никто из экипажа не смеялся. Вертолетчики поначалу просто отворачивались, потом как-то сразу все стронулись и погрузили все сами. Наверное, дошло, что ребята на связи не ввали, заначек не было.

У Солдатова тогда опять поплыли темные круги в глазах сплошняком, и он осел в снег. Сильно хотелось пить, во рту пересохло — он зачерпнул снега, и снег был соленый.

Потом пилоты дали закурить хороших сигарет, и кучей задымили, оглядывая тундру и прощаясь с ней.

В этот момент Солдатов засомневался: заберет ли вертолет всех сразу — показал на дальний увал, где сидела вторая бригада. А командир спокойно так ответил, что сейчас к ним и не полетят. Так, мол, решили на базе: первыми вывезти его бригаду.

Солдатов насторожился, но командир улыбнулся и успокоил его: «Погоду дали надолго. Хороший прогноз. Вас отвезем и через три часа их. Все дела. Иначе горючего не хватит».

Они понурились, курили и изредка украдкой бросали тоскливые взгляды на далекий, почти призрачный увал — чуть поднятую снежную полосу на горизонте.

Солдатов поочередно посмотрел на своих ребят и решительно сказал:

— Тогда вывозите их первыми. Они дольше сидят.

— Да ведь вас уже загрузили, и начальник мне задание

на эту точку подписал.— Возразил командир не очень, впрочем, уверенно.

— Могли бы зайти мимоходом, хоть продукты оставить,— ворчливо подал голос Ташлыков.

— Продуктов не дали, потому что вам есть сейчас надо начинать понемногу, и то под наблюдением врача,— ответил командир сосредоточенно и добавил:— А у нас только бортовой «НЗ».

— Ну, тогда, чтобы не разгружаться, давайте залетим и оставим ваш «НЗ» и наш,— попросил Солдатов.

— Ну и глупо,— ответил тут же командир.— В вертолете запасная бочка с бензином. С вами и с вашим грузом, считали, еле поднимемся, да опять посадка, да опять взлет — время потеряем и горючку. А через хребет идти — не шутки. Может, обход по перевалу искать придется.— Сказал командир и осекся.

— Вот именно, через перевал, в обход,— медленно проговорил Солдатов и посмотрел на него укоризненно.

И тогда один из рабочих, угрюмо глядя в землю, сказал:

— Сезон кончился — я себе теперь сам хозяин. В вертолет не полезу, пока вы к ним не слетаете и «НЗ» не сбросите. Чего садиться-то, коробки можно и так бросить,— уже тише и примирительнее договорил он.

Командир махнул рукой, и они со вторым пилотом пошли к машине. Вдруг второй остановился, зачерпнул снега и лизнул. Он сморщился, выплюнул и молча показал командиру глазами, мол, да, действительно. Вот когда они поверили Солдатову.

Они трое и бортмеханик остались на земле и молча внимательно следили за фантастическим насекомым, которое стремительно убывало в размерах.

И вот еще одна осень. Первая после Севера осень в родном городе, далеко от тайги и тундры, которым он отдал часть самого себя: лучшие свои годы.

Еще с вечера у Солдатова ныло сердце, видимо, погода менялась. Он долго не мог уснуть. Вспомнил всех, кто, работая с ним бок о бок, расплатился с Севером щедрее, чем он — кто отдал гольцам, тундрам и таежным распадам не часть, а всего себя. Вспомнил всех, о ком слышал в северных экспедициях, и тех, кого похоронил сам.

Он вспомнил Якутское кладбище со стройными сосенками на желтом песке, могилу самого близкого из дру-

зей — строгую и чистую всегда. Вспомнил, как приходил туда каждую осень и как был там в последнюю.

Вдруг, только сейчас, до Солдатова дошло, какая мысль, не дооформившись в ясные слова, мелькнула этой осенью у могилы его друга Сереги.

Когда шел через кладбище к нему, то обратил внимание на множество свежевырытых могил, а в одной яме и сейчас работали двое бородатых здоровяков. В самое сердце Солдатова кольнула боль — он подумал о какой-то страшной катастрофе, о гибели многих людей. И остановился, уставившись на здоровяков, и не знал, как спросить — что случилось?

Один из них, рыжеватый, легко, без видимого усилия, в один мах вышагнул из недорытой могилы и в два широких шага приблизился к Солдатову, протягивая в ладонях зажженную спичку. Солдатов только тут увидел, что держит в пальцах незакуренную папиросу.

— К кенту? — густо, как смолу, вытолкнул в одно слово рыжеватый и заглянул ему в глаза, отыскивая следы недавней тоски и боли.

— Да, — ответил Солдатов и прикурил. — Пять лет назад разбился, — добавил, глядя в сторону.

— Экспедиция? — спросил могильщик с какой-то гордой надеждой и, не дожидаясь ответа, сам утвердительно кивнул: — Ну.

Они, видимо, достаточно покайлили мерзлоты на шурфовках, но не были профессиональными могильщиками. И яма для них эта была не посторонняя — так понял Солдатов.

Докулив, спросил напрямик:

— А для чего эти-то выкопали. Для кого?

Рыжеватый вдруг скривил лицо от смеха, и оно сразу глянулось лет на пятнадцать моложе.

— А для нас, — он густо захохотал. — Только если мы захочем. А мы возьмем и не захочем. — И, немного спустя, посерьезнев, добавил: — Горсовет. Заранее. По статистике. Осенью глубже всего оттаивает. Правильно, однако. Не приведи господи зимой долбить. Эту мерзлоту.

«Так вот оно что, оказывается. Люди еще живут, а ямки — вот они», — только и подумал тогда Солдатов.

А теперь он ясно понял, что если бы увидел это на много лет раньше, то жил бы по-другому: торопясь и отсчитывая ежедневно — сколько ему еще осталось.

С пятницы Солдатов решил начинать в своей жизни поворот. Его не устраивало больше, как складывалось теперь: дни проходили бесследно, такие пройдут — и ничего будет вспомнить, а главное, он перестал понимать — куда и к чему плавание по течению приведет?

Вечером заставил себя обдумывать: к чему идти, на что он еще годится? Если уезжать, то куда? И зачем откладывать? Если оставаться, то для чего?

Вопросов было много, и он начал искать главный. Но не суждено было нащупать главное ни в субботу, ни в воскресенье.

Поднял Солдатов требовательный, злой и долгий звонок в дверь. Пришел почтальон.

«ЖДИ ЗАВТРА РЕЙСОМ 412 ГЛЫБОВ». Вот и все, что было написано в телеграмме. Последний раз они виделись с год назад, но тогда Солдатову удалось побыть у него только пару дней.

Глыбова он знал давно. Первые лет пять работали в одной экспедиции в Якутии. Так уж сложилось, что из пяти геодезистов, которые начинали с нуля якутский отряд, их и осталось, связанных накрепко, двое: еще двое существовали только в памяти — ежегодно, в один и тот же день в начале зимы, они, неотступно и только вдвоем, приходили к ним на кладбище, — а пятый почти забылся. Ни Глыбов, ни Солдатов с ним не встречались — зачем это делать, когда трудно смотреть друг другу в глаза.

Утром, когда Солдатов уже собирался ехать встречать самолет, все еще не верилось, что вот сейчас он Глыбова увидит. А в аэропорту, глядя на отруливающие к взлетной полосе мощные, лоснящиеся матовым блеском машины, которые меньше чем через половину суток будут делать разворот над ленскими террасами, всматриваясь в каленные ветрами лица залетных бородачей, почувствовал, как защемило душу — хотелось сейчас же лететь туда.

Так уж устроено: то ли раньше в нас бывает больше сил и мы больше радуемся и больше можем; то ли со временем плохое забывается или спрессовывается в коротенькие эпизоды, но сейчас вспоминалось самое хорошее: сладкая тоска по дому возле холодных бессонных костров, вкус крепкого дымного чая и свежего, с кровинкой сваренного медвежьего мяса; а главное, еще бы раз прилететь из тайги к друзьям, которые пережили не меньше, а думается, больше, и которые понимают его до конца.

Глыбова он едва не пропустил. Тот шел напрямик к

стоянке такси. Шел косолапо, ссутулясь, будто прятал подбородок от мороза — долгой пожил на Севере, привык. Но был он все такой же, и первое, что услышал Солдатов — знакомый во всех оттенках скрипучий смешок.

— Эх ты, паря, посвежел на московских харчишках. Не узнать, однако. Чего встречать-то пришел — сами бы доехали. Ну-у, знакомься, жена моя, Галя.

Рядом с ним стояла женщина лет тридцати в куцей плюсовой куртке-жакете какого-то нелепого яркого фиолетового цвета. Она, застенчиво улыбаясь, деревянно протягивала прямую ладонь. Солдатов растерялся и вместо поздравления сказал совсем некстати уныло:

— Здравствуй. Женился, значит, Глыбов.

Они быстро переглянулись и сразу оба рассмеялись чему-то своему, Солдатову совершенно непонятному.

Вечером, когда Галя легла, они с Толяном засели на кухне и впервые за день почувствовали себя вдвоем.

— Как здоровьице-то? Назад не тянет по тайге пошастать? — хитровато, но и с грустинкой спросил Глыбов после долгого мирного молчания.

— А-а, знаешь, сколько уже времени прошло, а все как-то не так здесь, — медленно и очень серьезно ответил Солдатов. — В Якутии, в последний год, тянуло сюда — родня, родина. Все вроде бы понятно. Да еще врачи, комиссия. Не советовали оставаться — да ты знаешь. А прилетел... Не на месте вроде как-то. И понятно все. И не реально. Подлечился, отдохнул... И не могу больше.

Толян сочувственно покивал головой, полуотвернулся и рассеянно поглядел в окно.

— Ничего. Какие наши годы. Вернешься еще. Не все же в поле работать, можно и другое дело найти. — Уверенно сказал он немного спустя.

— А помнишь первый год на Вилюе-то? — спросил Солдатов, чтобы сменить невеселый разговор. — Помнишь, как у нас тогда получилось. Знали уже друг о друге, да и немало знали, а до осени так и не встретились. Мне сейчас смешно даже, что так могло быть. Ты о чем думал, когда искать меня пошел? — спросил он Глыбова, чтобы уйти от разговора о своих делах, про которые тот деликатно затевал выспросить. Солдатов взглянул на него вскользь, но так, чтобы Глыбов все это понял.

— А-а, это когда ты без вести пропал, что ли? — тихо спросил Толян. — Ничего такого особенного не думал.

Ну-у, что совсем плохое что-то с тобой. Первый год в тайге. Да самостоятельно. Сам так начинал. Попервоначально все вновину, ничего не знаешь — осторожничают все, бегутся. Это уж кто совсем к тайге неспособный — пропадает. Ну, или случай. Случай — дело редкое. Думал, что коней вы потеряли. Потом, когда твоим следом пошел, все понял — ну, думаю, дает. Свою работу делает, а сообщить, придумать, как о себе сообщить, его нет. Он, думаю, работает, разедакий, а ты бегай без пользы, ищи его как проклятый, — сказал Толян тяжело, но и наивно, просто — только он так и умел unbedingt правду сказать. А Солдатов понял, что не это у него сейчас на уме.

— А зимовку помнишь? — погодя спросил Глыбов. Он придавил в пепельнице папиросу и умолк — замкнулся.

Солдатов помнил. В первую совместную зимовку и длинными якутскими ночами, и сумеречными тоскливыми днями они были в зимовье одни. Много, да почти всегда, молчали. К этому приучила летняя работа в безлюдье. Но иногда как прорывало, и они говорили. Ничто не сдерживало там, ни время суток, ни условности общежития, ни напускное равнодушие собеседника — кругом была глубоко промерзшая, безжалостная к неправде земля. Солдатов вспоминал летние экспедиции: опасность переправ через горные реки, риск восхождений на скалистые вершины, боль в ногах и разбитые сапоги, встречи с голодными медведями и свой карабин, к которому привыкал настолько, что не замечал, как часть собственного тела.

Глыбов тогда слушал, покуривал «Беломор» и со смешком скрипел: «Ну, ты даешь, паря».

Сам он о своей полевой жизни почти не рассказывал, а если и заговаривал, то это было как-то буднично и слушалось не интересно. Может быть, потому, что он уже привык к тайге. Он ведь начал работать раньше и успел однажды хлебнуть полтора месяца зимних работ.

— Да, Толян, помню я зимовку. Я теперь, брат, все помню. — После долгой паузы произнес Солдатов. — Ты и теперь там, у тебя это каждый день, а я здесь, в Москве, далеко. Мне и остается только помнить. Ладно, хватит пока об этом. Давай-ка спать. Устали вы, наверное, с дороги. Завтра начнем смотреть Москву, — договорил он.

— Да мы сами как-нибудь разберемся. Тебя отвлекать не хочется, — растерянно развел руками Толян.

— Нет уж. Возьму недельку в счет отпуска и поезжу с вами. Обязательно, — твердо произнес Солдатов.

— Ну, как знаешь. Недельку, однако, не выйдет. Мы всего-то дня на три, на четыре. Да и ждут нас уже,— по доброму, даже как-то виновато, ответил Толян.— Мы ведь к тебе не из Якутска сейчас. На родине были, в отцовом селе. Мать-то у меня совсем старая, плоха. Родни, считай, не осталось. Побывали вот. На обратном пути поживем у нее подольше — остаток отпуска. Сейчас — наскоком: по хозяйству маленько помог да у отца на могиле побыл. Покрысил, поправил. Ну, знаешь сам. Хотим теперь с Галей в Псковскую область слетать. В ту деревню, где ранили его. Там помнят, оказывается. Писали нам.

Глыбов замолчал, и Солдатов спохватился — давно чувствовал, что друг здорово устал, но ему неловко подняться первому и спросить, где прикорнуть. Он положил ему руку на плечо и слегка тряхнул.

— Ладно, время еще будет. Давай-ка спать. Иди в комнату. Там придумаешь — раскладушка **есть**, хочешь — на полу или... А у меня здесь приспособлено. Вот на кушетке спальник раскину,—показал он вдоль стены.

Было слышно, как укладывается Толян, как он немного поворочался и, видимо, уснул. Солдатов же развернул спальный мешок и лег сверху, не раздеваясь. От спальника пахло летним дымом — родимым, единственно надежным и устойчивым дымом костра.

Уснуть не смог. Ему многое хаотически вспоминалось. Но потом, как-то вдруг, ясно и собранно возникла зимовка с Толяном и его давние рассказы об отце. Наверное, на войне все было проще и страшнее, будничнее, наверное, воспринималась тогда как тяжелая, опасная и обязательная жизнь.

Конечно, и Глыбов-старший рассказывал все, вероятно, не так, а обрывочно, по давней памяти; и у Толяна на его рассказы наложилось что-то и свое, и друзей отца, да и через Солдатова это прошло по-своему. Но теперь вот возникло ясно и зримо, как будто все это знал сам — только очень и очень давно. И еще что-то брезжило в памяти — важное, что и Глыбовы-то не знали. Он никак не мог понять, почему именно сейчас необходимо вспомнить все по порядку и подробно. Обязательно надо вспомнить.

Отца Глыбов любил, и хотя рассказывал о нем сдержанно, было в этом столько гордости и уважения, что Солдатов представлял Глыбова-старшего, разведчика, и его последний бой совершенно ясно. Толян же приводил

множество мелких подробностей, говорил обстоятельно, и, наверное, поэтому Солдатов становился как бы участником его рассказов.

Иван Глыбов служил в батальонной разведке. Народ здесь подобрался бывалый и крепкий — из разных мест Сибири, разных довоенных специальностей, но много в них было и общего. Все с самого раннего детства привыкали к жизни крестьянина-охотника, приучались обходиться малым, голодать и холодать. Промышляли зверя в тайге с отцами, а позже, окрепнув, и в одиночку. Эта прошлая жизнь, привычка к оружию, привычка переносить голод, холод и недосып, навыки — просто и цепко выжить в лесу, на снегу, на воде — все это соединяло. Для всех в разведке охота стала профессией, но уже другая охота.

Четкой границы между фашистскими и нашими войсками в тех местах тогда не было, и уже через сутки, пройдя по лесам около пятидесяти верст, они углубились в расположение фашистов. Задача для них была простой: следить, считать и отмечать на карте. И они скрадывали этого зверя, который накапливал танки, артиллерию, сосредоточивал пехоту по деревням вблизи дорог и готовился прыгнуть дальше на северо-восток или на юго-запад. Много раз можно было скрытно сделать один, два выстрела и послать пулю точно под серо-зеленую каску. Можно было даже, при большом терпении и осторожности, из-за ствола сосны ударить сзади ножом в шею, чуть выше автоматного ремня, но задача была другой, и на шестые сутки группа двинулась назад.

Возле маленькой лесной дереvушки Трясухино они разделились...

Вот оно! Солдатов даже встал с кушетки. Это и не давало покоя. Очень похоже, что он на месте этого Трясухино был. Да, конечно, был в своей единственной командировке после Севера. Точно — восток Псковской области. Есть, правда, еще Трясухино, но оно в Калининской области, на северо-западе. А почему запомнил? Да просто там были трудности. Искал маленький хуторок возле Трясухино. По непролазной лесной дороге неожиданно въехал в липовую аллею: больше чем на полкилометра тянулись два ряда старых неохватных лип, а между ними твердая, возможно даже мощенная когда-то дорога — и никакого домика или развалин — ничего. И хуторка тогда не нашел. Он был помечен на карте, но только после самых

тщательных поисков заметил на этом месте следы ямы то ли от погреба, то ли от фундамента русской необъятной печи. Найти хуторок было важно потому, что надо было наверняка сориентироваться, искать старый геодезический знак. Глуховатый трясухинский старичок про липы почти ничего не сказал, кроме того, что дремучее то место называется «Усадьбой»; а про хуторок знал точно: во время оккупации жителей из него выгнали и они ушли в Трясухино, а дома сожгли.

Теперь он знает, где разведчики разошлись по двое: на развилке лесной дороги, в трех километрах от грейдерки и в пяти от деревни. Рядом с этим лесным хуторком.

Степенный хозяйственный алтаец Фролин, земляк Ивана Глыбова, отправился вместе с Федулкиным к деревне; а младший Федулкин и Глыбов, меся кислый осенний снег, побрели через лес к большой дороге, от которой слышался шум мощных двигателей.

Перед вечером они вернулись в Трясухино, но по привычке не сразу расстались с опушкой леса.

Несколько минут было тихо, но когда разведчики уже собрались войти в деревню, там послышались отрывистые голоса. Они обошли чистые места: лесом и кустами подошли так, чтобы просматривалась единственная трясухинская улица.

В центре стояли мотоциклы, а возле них солдаты. Глыбов взял бинокль. Солнце еще не село, и он разглядел, что против большого дома, на постеленных на снег плащах, лежали три тела в серых мундирах. В этот момент дверь дома распахнулась и на улицу вытолкнули двоих мужчин, одетых во что-то грязно-белое. Он узнал их без труда: это были Фролин и Федулкин в одном исподнем белье. Их толкали прикладами. Тот, который казался выше, верно, Фролин, упал. Немцы сгрудились вокруг него и стали пинать ногами. К вечеру подморозило, воздух сделался звонким, и было хорошо слышно, как с размаху шлепающе ударяли по телу сапоги. Потом повалили Федулкина, и немцы разделились.

Младший Федулкин посунул карабин вперед и стал выцеливать.

— Брось, Васька. Без пользы дело,— зашептал Глыбов.— Ужо ночи дождемся. Они их до утра где-нито запрут. Глянь, они, немцы-то, сволочи, никак выпимши. Да, брось же ты, дура,— с остервенением, уже громко процедил он сквозь зубы.

Солдаты расступились. Федулкин вырвал у Глыбова бинокль: два тела лежали на земле неподвижно. Белье на них стало совсем темным.

Три фигуры отделились и торопливо зашагали к крайней избе в сторону Глыбова и Федулкина-младшего.

— Не дури, Васька! Тихо,— сжал локоть Федулкина Глыбов.

Немцы затопали по крыльцу и скрылись внутри. Тут же из избы послышались вопли. На улицу, дико, неестественно, непрерывно голоса, выбежала старуха, схватила за голову руками и остановилась, раскачиваясь. К ней зайцами выпрыгнули две маленькие фигурки. За ними, сброшенное со ступенек сильным ударом, свалилось большое тело.

Старика со старухой погнали в огороды, пацаны бежали следом. Туда, редко захлопав на малом ходу, подъехали два мотоцикла. Из дома с ведром вышел толстенный немец и наклонился к мотоциклетной коляске.

Теперь все хорошо было видно и без бинокля. Мотоциклы стояли в трех-четыре сотнях метров от кустов.

Толстенный неторопливо поставил ведро возле бани. К ней подогнали людей и стали заталкивать внутрь. Пацаны кинулись к старикам, но одному дали пинка, и они оба отбежали. Высокий тощий дед вырвался и пошел было к толстенькому, но его сшибли и вкинули в дверь, а толстенный во всю стену плеснул из ведра.

Оконце в баньке треснуло, и в него просунулась голова деда.

Федулкин встал на колено, изготовил карабин и прохрипел,— стариков-то, паскуды, не жалеют,— но в это время коротко татакнул немецкий автомат и кто-то бросил спичку. Все произошло быстро и неожиданно просто.

— Терпи, Васька! Им не поможешь теперь. Карты ж надо снести, карты. Терпи! — жестко тряс Федулкина за плечо Иван.

Они лежали в кустах. Ветер нес на них треск и жаркий запах полыхающего черными клубами кострища.

Фашисты завели мотоциклы и, вскочив на них кто как, двинулись к краю деревни. Пригибаясь между кустами, земляки отбежали чуть дальше в лес и упали за кочками. Начинало смеркаться.

Снег под Глыбовым подтаял, и колени намокли особенно сильно. Он только теперь почувствовал, что они за-

немели совсем, до бесчувствия. Младший Федулкин лежал, уткнувшись в ладони, и молча и страшно плакал.

Так пролежали они не долго, потому что слышали по звуку, как мотоциклы развернулись у крайней избы, немного погодя стали удаляться к центру деревни, постреляли там и замолкли. Через полчаса стихло, и Федулкин с Глыбовым двинулись на свое старое место.

Перед темными сумерками, когда в небе бледно задрожало несколько звезд, на крыльцо большого дома вышел солдат, огляделся вокруг и напряженно потянулся. В бинокль его было видно очень смутно, но простым глазом силуэт различался.

Солдат, видимо, часовой, обошел дом, порыскал вокруг, как бы подыскивая место, где можно пристроиться в сторонке, не на виду, и, не подобрав ничего подходящего, снова направился к дому.

Он сел на ступеньку спиной к двери, положил автомат на колени и, зябко передернувшись, наглухо застегнул уши форменной кепи под подбородком. Достал и закурил сигарету.

— Как же нам своих-то теперь найти? — спросил Федулкин. — Где их заперли?

— Не дадут они. Ни найти, ни уйти с ними, — мрачно ответил Глыбов. — Ты видал — их раздели. Зачем? Опасаются, что сбегут. Одежу им еще добыть надо. Не, Вася, кончать надо этих самокатчиков. Вот так вот. Наши, где заперты, — услышат, отзовутся. Оденем их и пойдем.

Все стихло, но свет в избе не гасили, и Глыбов с Федулкиным, выждав часа три, медленно поползли к дому.

Подкрадываться было неудобно — часовой сидел на высоком крыльце. Иван помаячил рукой Федулкину, и тот залег напротив. Сам он обошел дом сзади и долго принаравливался из-за угла: как подойти. Он и не смог бы сделать это незаметно, но немец стал поклевывать носом, и Глыбов рискнул: аккуратно прилег и под завалинкой тихо, как червяк, выполз к крыльцу и замер в черной тени.

Пока он полз — ничего, кроме часового и шевелений вокруг, не сторожил, а сейчас решил оглядеться: мало ли, может, кто незаметно вышел или у мотоциклов оставался и караулит. Он едва сумел задавить в себе вскрик: загороженные от Федулкина кустами сирени, на толстой ветке липы качались двое повешенных — его земляки.

Глыбов долго и терпеливо, без единого шороха, распрямлялся, а распрямившись, широко шагнул прямо к ча-

совому и сунул ему сбоку в горло свой узкий, эвенкийской бритвенной заточки, нож; тут же резанул в сторону. Часовой хыркнул, как задохнувшийся на бегу олень, и, задергавшись, задушенно кашляя кровью, завалился на бок.

Федулкин был уже рядом и, пригнувшись, жадно ощущал дергавшееся тело. Он искал гранаты — свои жалел. Вытащив гранату у часового из-за голенища, он привязал к ней одну свою и мотнул Глыбову головой — отойди.

Еще не рассветало. От большака, куда они выходили днем, слышался мягкий гул, где-то, тоже за деревенькой, нарастал другой, не ровный, с громкими всплесками, видимо, потому, что не такой далекий.

Федулкин забарабанил пальцами по стеклу, подождал, а когда затопали по полу и в окне мелькнули тени, выдернул шнурок и пустил связку в окно. Изба как-то странно засветилась внутри и охнула. Они вскочили в вывернутую дверь: почти ничего не было видно — пыль и дым. Кое-где красными и синими язычками посвечивало пламя, в одном месте поярче горел керосин, вылившийся из лампы, першило в горле едкой взрывчаткой. Федулкин подобрал немецкий автомат, проверил затвор и стал стрелять на стоны, на всякое шевеление, в темные углы — коротко, резко, пока все не стихло и не замерло.

— Берем бумаги и ходу. Слышь, Васька, — Глыбов зажег спичку и светил к полу.

Федулкин бросил автомат.

— Очумел? А своих на кого оставим? Братана? Фролина.

— Нету их. На липе против дома повесили, — зло, как глухому, выкрикнул Иван. — Слыхал? От дороги сильнее гудит. Думаешь, про этих забыли? От дороги на мотоциклах в деревню завернуть момент. Уходить надо.

— Не-э-т, Иван. Да ты обознался. Не может такого быть. Когда? Мы ж все время здесь были... — немо зашевелил губами Федулкин. Он резко повернулся и выбежал на улицу.

Глыбов подобрал блестящий никелем плоский немецкий карманный фонарик, включил и стал обыскивать трупы, затаптывать огонь. Он брал, не разбирая, все бумаги: и документы, и письма, и фотографии.

Федулкин подошел к повешенным. После сумрака избы на улице, казалось, развиднелось. Фролина он даже не узнал — его ноги почти касались земли, и он был невероятно высоким. Федулкин хотел обхватить его и снять и,

чтобы было ловчее, стал поворачивать тело. Фролин повернулся неестественно легко и посмотрел на Ваську одним жутким выпученным глазом. На месте другого была пустая глазница со сгустками замерзшей крови и прилипшим мусором. И Федулкин невольно в страхе отстранился.

Уже светало, но чтобы было еще светлей, они зажгли мотоциклы. Перед этим Глыбов обыскал коляски и понял, зачем завернули эти в Трясухино: в мешках и брезентах лежали битые куры, сало, картошка. Он быстро вытаскивал все, что попадалось, и швырял подальше, с надеждой, что потом подберут и спрячут деревенские.

— Васька, слышь, гудит? Пошли,— нетерпеливо говорил Иван.

— Что хошь делай. Пока не закопаю — не уйду. Они еще не скоро. Пособи,— сдавленно сказал Федулкин.

Покойников закапывали наскоро, тут же против липы, в кювете деревенской улицы. А на другом краю деревеньки, из леса, еще еле видимые, показались мотоциклисты и с ходу начали стрелять из пулеметов.

Иван толкнул Федулкина за угол дома: «Зря не па-ли. Надо без шума уходить. Они сообразят — на наши выстрелы отвечать будут, а пока по-дурному на костер пу-ляют. Ну, давай! Ходу! Меня зацепит — не стой. Сидор бери и ходу. Я их, гадов, попрдержу».

За избами, скрываясь из поля зрения немцев, они уходили к лесу. Те притормозили — боялись засады, и разведчики выбрались за околицу.

До опушки оставалось совсем немного, когда их заметили. Федулкину повезло: он добрался до кустов, а Ивана догнала пуля. От толчка в спину он споткнулся, но вскочил и сделал несколько шагов еще. Его ударило снова — правая нога как подломилась, и он скорчился на снегу.

До боли в ладонях сжав немецкий автомат, Федулкин разрядил весь магазин короткими прицельными очередями. Отбросил его и с бешенством запустил в сторону деревни бесполезную для далекого противника гранату. Не дожидаясь взрыва, он, пригнувшись, вернулся к Глыбову, на ходу снимая карабин и передергивая затвор. Федулкин волоком затащил Ивана за куст ольхи и прилег за кочкой рядом. Немцы, после автоматных очередей и взрыва гранаты, стали разбегаться, выбирая укрытия; и Федулкин выцеливал их, плавно водя стволом.

Он расстрелял всю обойму — из пяти выстрелов толь-

ко одна пуля ушла мимо: попадания он ясно видел и слышал по звуку. Фашистов это озадачило. За своей трескотней они сначала не придали значения редким карабинным выстрелам, но потеря четырех человек навела на мысль, что, помимо группы, где-то прячутся снайперы.

Федулкин вытащил новую обойму, одну он всегда держал под рукой в левом нагрудном кармане гимнастерки, и быстро наполнил магазин. Через две избы от края деревни, из-за ограды, заросшей бурьяном, выскочил солдат и, пригибаясь, зигзагами побежал за угол. До него было далеко, но Федулкин все-таки сделал выстрел: по такому удару пули он понял, что попал. Тут он услышал, как заработали моторы мотоциклов и один уже двинулся в его сторону. Федулкин сообразил, что сейчас под прикрытием пулеметов на них кинутся те, что укрылись за крайними избами. И... Все. Тогда конец. Нельзя стрелять — обнаружат. Нельзя терять секунды. Уходить.

Он переполз за куст и, ухватив Ивана за ворот, поволок по снегу в лес.

Зимний лес был редок, и только за елями Федулкин взвалил Ивана на себя. Он еще около получаса, без остановок, но размеренно и стараясь дышать ровнее, уходил в чащу. Там положил его, отошел чуть в сторону и прислушался. Было очень тихо, даже как-то удивительно тихо звенело в ушах после стрельбы. Только справа обтекал их стрекот мотоциклов — он сообразил, что нашли, наверное, просеку или тропинку и пошли наперехват. Сбив с кучи хвороста снег, Федулкин положил раненого и занялся перевязкой.

— Вася, закурить-ко дай, — тоскливо и словно смирившись с безысходным, попросил Глыбов. — Не уйдешь со мной, Вася. Без пользы дело. Оставь, где поудобнее, рядом со следом — встрену их, придержу.

— Ну, чо ты так? Мож, дойду. — Отчаянно, злобно, ответил Федулкин, скорее самому себе. — Езли эти суки щас не сунутся. Пятерых, кажись, положил. Пока они шель-ше-вель, порядком заглубимся. Винтовку твою куда бы? Сумку дай, себе повешаю.

— А след? — горько спросил Глыбов.

— Чай охотники. Не им со мной на следе-то тягаться. Спутаем. Так пойдем — мозги у них поперек станут.

За время перевязки Федулкин отдышался окончательно и дальше пошел ходко и размеренно. Останавливался он ненадолго, почти не курил, выслушивал чутко с боков,

впереди, особенно сзади. И только перед концом дня остановился, видно, основательно.

Теперь ему было много спокойнее, потому что он понял, где немцы промахнулись — кинулись искать большую группу, а на один след, может, поначалу и вовсе махнули рукой. Первые часы они с Иваном выиграли.

Федулкин дотемна шел, выбирая места, где высокая лесная трава была лишь слегка припорошена снегом, по голым краям оврагов, под елями, стряхивая за собой снег. Зима только становилась, снегу было еще мало, да шел Василий крепко: привычно и быстро все обдумывал наперед, так что чувствовал — ниточка, которая потянулась было за ними, оборвалась, и конец найти ох как трудно кому-то будет. Но перед ночью он все-таки сделал восьмерку и, все еще опасаясь преследования, вышел на размешанную гусеницами дорогу. Ушел он с дороги ловко — без следа. Переждал самую темень до луны и шел снова, потому как знал: если не нагонят по следу, будут искать по дорогам и деревьям, на чистых безлесных местах.

Он не помнил, на какие сутки дотащил Ивана к своим, и самый этот момент не помнил тоже. Иван выжил, но где, в каких госпиталях затерялся он больше чем на полгода, Василий разузнать не смог.

Домой Иван Глыбов вернулся без правой ступни и с двумя шрамами на спине. Он часто болел, работать в полную силу уже не мог. В иные дни было ему вовсе худо, тогда воспоминаниями вытеснял он настоящее и глушил думы о будущем.

Рассказывая о последней своей разведке, он иногда давал посмотреть фотографию Вилли Келлера, толстенького добродушного господина с круглыми веселыми глазками, очень, видимо, довольного и жизнью и собой. Показывал он и другие фото.

Когда отец умер, Толик забрал фотографии и возил с собой. Однажды, в первую совместную зимовку, он показал их Солдатову. После его рассказов было удивительно разглядывать эти кусочки плотной хорошей бумаги. Обычные фотографии обычных людей. Фрау Келлер выглядела доброй женщиной. Отдельных портретов ее было два. Один — в полный рост в саду. Скрестив руки на груди, она стояла, опираясь плечом о ствол дерева, и симпатично улыбалась.

На другом — в полроста — кокетливо загордившись букетом полевых цветов.

Были еще карточки: фрау Келлер с маленьким Отто на руках и Отто Келлер в кроватке. Аккуратная надпись на оборотной стороне вещала, что родился он в сорок втором году девятнадцатого февраля. Он вглядывался в полненького крепенького младенца и думал: на кого он больше похож, на Вилли или на фрау Келлер?

— Слушай, Толян, а какой он сейчас, как ты думаешь? — спросил он тогда Глыбова.

— Кто же это может знать, — ответил Глыбов и горько усмехнулся.

Москва утомила солдатских гостей, но все трое были довольны — увидеть удалось многое.

На третий день Глыбовы купили билеты на самолет. Завтра они улетят. Солдатову стало грустно.

— Толик, долго вы там пробудете? И вообще объясни: к кому и зачем вы летите.

— Посмотреть я хочу на это место. Федулкин ездил туда после войны, когда его братана с Фролиным нашли и похоронили. А зачем мы через столько лет? Сам не знаю, как объяснить. Кажется, что там и смотреть...

— Так вот, Толян, послушай, что я ночью-то припомнил. — И он рассказал ему, как побывал в тех местах, как завернул в Трясухино и застал его жителей на распутье: лесная неперспективная деревенька заполошно собиралась переселяться в более крупную, поближе к проезжим дорогам.

Дальше шли догадки — ими он тоже поделился. Теперь Солдатову казалось, что предпримим военным днем Фролин и Федулкин вышли не в деревню, а в хуторок. Там их врасплох и застали немецкие «фуражиры». Наверное, старики с ребятишками успели уйти в Трясухино — это ведь совсем рядом — и укрылись в пустовавшем доме. Фролин и Федулкин отстреливались, но каким-то образом их пленили и привезли в Трясухино. Там же немцы, видимо, дознались, в чьей хате прятались разведчики, и с хозяевами-стариками, мстя за троих своих солдат, зверски расправились. Позже, вероятно, сожгли и хуторок.

— Ну, вот видишь, — внимательно выслушав, сказал Толян, — как все не просто. Разузнать бы все подробно, а это только на месте и можно. Федулкину Василию все рассказать надо. Да и еще вопрос возникает: как про стариков-то, ты говоришь, фашисты дознались? А может, донес

кто-то? Так-то вот. Одним словом, побывать надо,— закончил он убежденно.

Солдатову хотелось, чтобы этот вечер стал самым приятным, и он решил показать им Александровский сад. Возвращались по Калининскому проспекту пешком.

Было тепло, накрапывал реденький дождь. Они не топясь шли вдоль сплошных витрин. За ними поднимались стеклянные дома. Стены убегали вверх и светились золотистым плотным светом.

— Вот, Толян, мечта. Десять лет назад и подумать об этом нельзя было. Красиво?

— Красиво,— спокойно и, как показалось Солдатову, разочарованно сказал Глыбов.

Галя разглядывала витрины, где за стеклами неподвижно и страшновато улыбались манекены. Она с завистью смотрела на модно одетых женщин, и они ее чуть не потеряли. Глыбов взял жену за руку и неожиданно тихо, ласково сказал: «Купим, все купим, как время будет».

Так дошли они до ресторана, и Солдатов предложил зайти в бар выпить по коктейлю.

Солдатов постучал, и швейцар, приоткрыв створку, неожиданно механически, без всяких интонаций, бросил:

— Мест нет. Ни одного.

— А, пойдем отсюда,— проскрипел Толик и, положив Гале руку на плечо, мотнул Солдатову головой.

Солдатов быстро сунул руку в карман брюк и наткнулся на измятую рублевку. Вытащив из кармана кулак, ткнул им в дверь. Швейцар величественно шагнул вперед, но смотрел он почему-то в сторону. Солдатов оглянулся: сзади приближалось к двери несколько человек.

Дородная ливрея распахнула дверь, склонила голову и пропустила высокого молодого человека с хорошей спортивной фигурой, двух дам и четвертого — очень прилично одетого, лет тридцати пяти мужчину, небольшого роста и довольно изящного. Ни на них, ни на швейцаре эти четверо не задержали внимания.

Ливрея снова загородила дорогу. На счастье, в это время две молодые пары легкомысленно решили покинуть недоступное для Солдатова и его гостей место. Швейцар с гостеприимным полупоклоном тут же отодвинулся в сторону, и Солдатов подумал: хорош бы он был, если бы солидному привратнику пытался сунуть измятую рублевку.

За стойкой было свободно, но туда не хотелось. Кто

знает, когда они увидятся еще — за столиком разговаривать удобнее. Оглядевшись, Солдатов нашел два свободных места и, усадив Галю, пошел за коктейлями.

Когда он принес фужеры, Глыбов уже разыскал и принес стул для него, и, наконец, уселись спокойно.

— Ты помнишь, в «Северном» был швейцар, — спросил его Толян. Глаза Толяна смотрели весело и беззаботно, как десяток лет назад.

— Это высокий, здоровенный такой старик, что ли? — подыгрывая ему, в тон ответил Солдатов.

— Ну, он самый. Умер недавно. Восемьдесят девять прожил. Жаль, конечно, деда. Из графской, говорят, семьи, — по-домашнему свободно откинувшись на стуле, продолжал Глыбов.

— Как из графской? — удивился Солдатов.

— Натурально. Из сосланных. Вот не понял только, в шестнадцатом или в двадцать пятом его в Якутск определили. Говорят, служил при дворе, в какой-то гвардии.

— Помню я его, Толик. Он нам в вестибюле прикуривать еще несколько раз давал. Спички зажигал с фокусом. Наших, помнишь, всех знал в лицо. Бывало, дверь приоткроет, посмотрит и молча кивнет: заходи, мол, голубь. А то и до зала проводит, когда в ресторане битком: глазами покажет, куда подсесть, где свои братья-геодезисты ужинают, — счастливо посмеиваясь, вспомнил Солдатов.

Глыбов закурил, протянул ему спичку и хитро подмигнул. Он взглянул на Галю, улыбнулся ей и снова повернулся к Солдатову.

— Готов. Никуда ты не денешься. Мучишься только. Давай-ка назад. Я говорил тебе? Мы с Галей квартиру получили. Двухкомнатную. Пока у нас поживешь. Зимой, в межсезонье-то. Работа для тебя есть. Да, чего есть — любая. И по твоему здоровью, если в поле не можешь, найдется. Вон, на базу на полевую завхозом. Мечта-а. Тайга, озеро, тишина. Даже сколько-то свободного времени будет. И порыбачишь, и... — посмотрел он на Солдато-ва, как бы спрашивая ответа.

И Солдатов понял, что мучает Глыбова, потому что был его другом, потому что думал над тем же и потому еще, что и в мыслях люди сходны, если шли они в жизни одними дорогами и тяжесть на их спинах была равной.

Еще не забрезжило, а Глыбовы уже разбудили Солдато-ва прощаться. Он было засобирался, да Толян остался ве-

рен себе — оказывается, он еще вчера договорился с таксистом, и тот заехал отвезти их в аэропорт. Все проводы ограничились подъездом дома.

С утра еще Солдатов клял Толяна за такой поворот, когда сложился неожиданно плотный рабочий день, вспоминал друга с благодарностью: все-таки и выпался, и на службу явился без спешки.

Но уже возвращаясь с работы домой, он опять ощутил пустоту, к которой, понял уже, привыкнуть не сможет.

Вечером он принял немного снотворного и заснул беспокойно и ненадолго. Невидимая жесткая рука больно сдавливала сердце.

Ночью он несколько раз просыпался, а под утро проснулся, наверное, от собственного вскрика или стона, потому что Дик сидел рядом, уши его были прижаты и он жалобно испуганно скулил. Солдатов тоже испугался — ему показалось, что у него остановилось сердце.

А за окном была странная зима. Ночью выпало немного снега. Реденькие сухие хлопья временами косо падали и сейчас. Белые сыпучие струи змеились под ветром по промерзшей сухой земле, приставали к ней, и сверху их припорошивала серая пыль. Солдатов усмехнулся: «Пестрая зима».

Задумав побриться, он отошел от окна, с сомнением посмотрел на себя в зеркало и заметил над правым виском седые волосы. Это было неожиданно и непонятно, как неожиданна и непонятна пестрая зима за окном.

Он еще раз посмотрелся в зеркало и покачал головой, а потом стал быстро одеваться — пора было на работу.

Надвигалась новая зима, и надо было ей сопротивляться.

СОДЕРЖАНИЕ

- 3 **Слово об авторе. Г. Бакланов.**
- 4 **Заповедь речки Дыбы**
Повесть
- 63 **Большая ночевка**
Рассказ
- 77 **Быстрая вода**
Рассказ
- 87 **Балласт**
Рассказ
- 99 **Пашка**
Рассказ
- 108 **Рабочий цикл**
Рассказ
- 122 **Предел**
Повесть
- 156 **Самый первый снег**
Повесть

**Юрий Александрович
Старостин**

ЗАПОВЕДЬ РЕЧКИ ДЫБЫ

Повести и рассказы

**Редактор В. Козаченко
Художник Н. Стасевич
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор Н. Ганина
Корректоры И. Рудакова, И. Попова**

ИБ № 4615

Сдано в набор 03.04.87. Подписано к печати 24.07.87. А07625. Формат 84x108 1/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кп.-журн. Усл. печ. л. 11,76. Усл. краск.-отт. 12,18. Уч.-изд. л. 12,71. Тираж 50 000 экз. Заказ 454. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

**Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30**

